
РИЧАРД
ДОКИНЗ
НЕУТОЛИМАЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
КАК
Я СТАЛ
УЧЕНЫМ
THE
FOR WONDER
AN APPETITE
DAWKINS
RICHARD
COR PVS


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Издание представляет собой первую часть автобиографии известного этолога, биолога и выдающегося популяризатора науки Ричарда Докинза. Книга включает в себя не только описание первой половины жизни (как пишет сам автор) ученого, но и чрезвычайно интересные факты семейной хроники нескольких поколений семьи Докинз. Прекрасная память автора, позволяющая ему поделиться с нами захватывающими дух событиями своей жизни, искрометное чувство юмора, откровенно переданная неподдельная любовь и благодарность близким доставят истинное удовольствие и принесут немало пользы поклонникам этого выдающегося человека.

- Ричард Докинз
  -
  -
  - Гены и пробковые шлемы
  - Вслед за армией в Кении
  - Страна Озера
  - Орел в горах
  - Прощание с Африкой
  - Под шпилем собора в Солсбери
  - “Малый срок отпущен лету”
  - Шпиль у реки Нин
  - “Дремлющие шпили” Оксфорда
  - Обучение ремеслу
  - Время мечты на Западном берегу
  - Дела компьютерные
  - Грамматика поведения
  - Бессмертный ген
  - Оглядываясь на пройденный путь
  - Благодарности
  - Источники цитат
  - Источники иллюстраций
  - Вкладка
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94

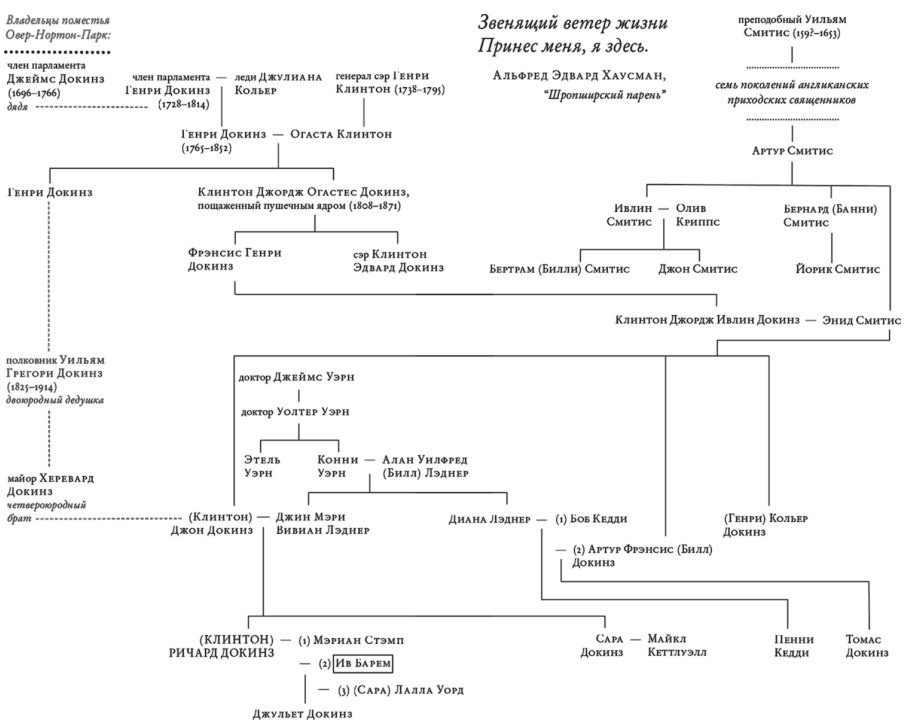
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125

Ричард Докинз
Неутолимая любознательность. Как я стал ученым

© Richard Dawkins, 2013
© П. Петров, перевод на русский язык, 2018
© А. Бондаренко, оформление, 2018
© ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®

* * *

Моим матери и сестре,
которые были со мной все эти годы,
и памяти моего отца,
которого нам всем так не хватает.


Владельцы поместья Овер-Нортон-Парк:
член парламента Джеймс Докинз (1696–1766) дядя
член парламента Генри Докинз (1728–1814)
леди Джулиана Кольер
генерал сэр Генри Клинтон (1738–1795)
Генри Докинз — Огаста Клинтон (1765–1852)
Генри Докинз
Клинтон Джордж Огастес Докинз, пощаженный пушечным ядром (1808–1871)
Фрэнсис Генри Докинз
сэр Клинтон Эдвард Докинз
полковник Уильям Грегори Докинз (1825–1914) двоюродный дедушка
майор Херевард Докинз четвероюродный брат
(Клинтон) Джон Докинз — Джин Мэри Вивиан Лэднер
(КЛИНТОН) РИЧАРД ДОКИНЗ — (1) Мэриан Стэмп
— (2) Ив Барем
— (3) (Сара) Лалла Уорд
Джульет Докинз
Звенящий ветер жизни
Принес меня, я здесь.
Альфред Эдвард Хаусман, “Шропширский парень”
преподобный Уильям Смитис (1592–1653)
семь поколений англиканских приходских священников
Артур Смитис
Ивлин Смитис — Олив Криппс
Бернард (Банни) Смитис
Бертрам (Билли) Смитис
Джон Смитис
Йорик Смитис
Клинтон Джордж Ивлин Докинз — Энид Смитис
доктор Джеймс Уэрн
доктор Уолтер Уэрн
Этель Уэрн
Конни Уэрн — Алан Уилфред (Билл) Лэднер
Диана Лэднер — (1) Боб Кедди
— (2) Артур Фрэнсис (Билл) Докинз
(Генри) Кольер Докинз
Сара Докинз — Майкл Кеттлуэлл
Пенни Кедди
Томас Докинз

Гены и пробковые шлемы

“Приятно познакомиться, Клинт!” Дружелюбный работник паспортного контроля не знал, что в двойных именах британцев первое имя может быть родовым, а называть человека станут по второму имени. Имелось в виду, что я буду зваться Ричард, подобно тому, как моего отца всегда называли Джон. О нашем первом имени, Клинтон, мы почти не вспоминали, как это и предполагалось нашими родителями. Я воспринимал его как досадную мелочь, без которой мне было бы легче жить (несмотря на то, что благодаря этому имени, как меня однажды осенило, мои инициалы совпадают с инициалами Чарльза Роберта Дарвина[1]). Но никто, увы, не предвидел неприятностей, связанных с требованиями министерства внутренней безопасности США. Для него оказалось недостаточным сканировать нашу обувь и нормировать объем ввозимой зубной пасты – оно предписало всем въезжающим в страну путешествовать под своим первым именем, точно так, как оно записано в паспорте. Поэтому, покупая билеты в Штаты, мне пришлось отказаться от своего привычного имени Ричард и выступить под псевдонимом Клинтон Р. Докинз. Этот псевдоним, разумеется, нужно было использовать и при заполнении некоторых важных анкет, как, к примеру, та, в которой от вас требуют однозначно опровергнуть, что вы приехали в США для вооруженного свержения конституционного строя. (Британский телеведущий Гилберт Хардинг в свое время написал: “Это единственная цель моего визита”, хотя в наши дни за такие шуточки можно угодить за решетку.)

Итак, в свидетельстве о рождении и паспорте я записан как Клинтон Ричард Докинз, а моего отца звали Клинтон Джон Докинз. Так случилось, что он был не единственным К. Докинзом, упомянутым в “Таймс” в связи с тем, что в марте 1947 года в частной больнице Эскотин в Найроби у него родился сын. Другим был преподобный Катберт Докинз, англиканский миссионер и нам не родственник. Моя мать была озадачена потоком поздравлений, которые стали приходить из Англии от епископов и других духовных лиц, ей незнакомых, но любезно призывавших Божье благословение на ее новорожденного сына. Не знаю, помогли ли мне благословения, направленные не по адресу и предназначавшиеся сыну Катберта, но он пошел по стопам своего отца и стал миссионером, а я пошел по стопам своего и стал биологом. Мама до сих пор шутит, что нас могли перепутать в роддоме. Меня радует, что далеко не только внешнее сходство с

отцом убеждает меня, что я все-таки его сын и не был предназначен для церковной стези.

Имя Клинтон впервые стало родовым именем Докинзов, когда мой прапрапрадед Генри Докинз (1765–1852) женился на Огасте, дочери сэра Генри Клинтона (1738–1795), генерала и главнокомандующего британских вооруженных сил в 1778–1782 годах, на котором лежит часть ответственности за поражение Великобритании в Войне за независимость США. Учитывая обстоятельства этой женитьбы, со стороны Докинзов казалось довольно дерзким присвоить себе имя Клинтона в качестве родового. Вот что записано о женитьбе в хрониках улицы Грейт-Портленд, на которой жил генерал Клинтон:

> В 1788 году его дочь сбежала с этой улицы в наемном экипаже с мистером Докинзом, который избавился от погони, послав полдюжины других наемных экипажей от разных углов улицы со стороны Портленд-плейс с указаниями ехать как можно быстрее в разных направлениях…[2]

Мне хотелось бы притязать на то, что это украшение нашего фамильного герба послужило источником вдохновения для Стивена Ликока, чей лорд Рональд “…бросился на своего коня и сумасшедшим галопом ускакал во все стороны”[3]. Мне также хотелось бы думать, что я унаследовал от Генри Докинза часть его находчивости, не говоря уже о его пылкости. Однако это маловероятно, поскольку мне досталась от него лишь 1/32 моего генома. От генерала Клинтона мне досталась 1/64, и никаких военных наклонностей я никогда не проявлял. “Тэсс из рода д’Эрбервиллей”, “Собака Баскервилей” и многие другие художественные произведения описывают наследственные “атавизмы”, доставшиеся от далеких предков, не учитывая, что доля общих с предком генов уменьшается вдвое с каждым поколением и, таким образом, снижается экспоненциально (точнее, снижалась бы экспоненциально, если бы не родственные браки, которых оказывается тем больше, чем более далеких родственников мы учитываем, так что все мы приходимся друг другу в той или иной степени родней).

Примечательно, что если бы мы отправились на машине времени в достаточно далекое прошлое, то все люди, которых мы бы там встретили, при условии, что у них вообще остались в наше время потомки, были бы предками всех живущих сегодня людей. В этом можно удостовериться, не вставая с места. Если двигаться назад во времени, настанет момент, когда любой человек будет предком либо всех, либо никого из людей, живущих в 2013

году[4]. Если воспользоваться методом доказательства от противного, который так любят математики, можно убедиться, что это же должно относиться и к тем девонским рыбам, от которых мы произошли (моя рыба-предок должна быть той же самой, что и ваша, потому что в противном случае получалось бы, что потомки моей рыбы целомудренно воздерживались от связей с потомками вашей и все же за 300 миллионов лет сохранили способность иметь от них детей). Вопрос только в том, как далеко нужно обратиться назад во времени, чтобы начало выполняться это условие. Ясно, что для этого не обязательно возвращаться к нашим девонским прародителям – так к кому же необходимо вернуться? Не буду утомлять вас подробными расчетами, но сообщу, что если королева Елизавета II – потомок Вильгельма Завоевателя, то и вы, вполне вероятно, его потомок (мне, например, если закрыть глаза на возможных незаконнорожденных предков, точно известно, что я его потомок, как известно это почти всем, кто знает свое генеалогическое древо).

Сын Генри и Огасты – Клинтон Джордж Огастес Докинз (1808–1871) – был одним из немногих Докинзов, действительно пользовавшихся именем Клинтон. Если он и унаследовал от своего отца что-то вроде его пылкости, то чуть не лишился ее в 1849 году в ходе артобстрела австрийскими войсками Венеции, где служил британским консулом. У меня хранится пушечное ядро, установленное на подставке с надписью на латунной табличке. Не знаю, кто автор выгравированных на ней слов и насколько они достоверны, но если уж зашла о них речь, то вот они в моем переводе (с французского, который был тогда языком дипломатии):

> Однажды ночью, когда он лежал в своей постели, его одеяло было пробито пушечным ядром, которое прошло у него между ног, но, по счастью, не нанесло серьезных травм. Поначалу я считал эту историю выдумкой, пока не убедился, что это чистая правда. Когда его швейцарский коллега встретился с ним впоследствии на похоронах американского консула и спросил об этом случае, тот со смехом подтвердил, что так и было, и сообщил, что именно поэтому теперь хромает.

Детородные органы моего предка едва не погибли от ядра задолго до того, как он применил их по назначению, и было бы забавно считать, что я обязан своим существованием лишь счастливой баллистической случайности: что, если бы ядро прошло на несколько дюймов ближе к развилке шекспировской редьки?[5] Но на самом деле своим существованием и я, и вы, и

кто угодно другой обязан куда более внушительной череде счастливых случайностей, связанных с точным временем и местом всех событий с момента возникновения Вселенной. Казус с пушечным ядром – лишь одно из ярких проявлений общей закономерности. В свое время я сформулировал это так: если бы второй динозавр слева от высокого саговника не чихнул и сумел поймать похожего на землеройку крошечного предка всех млекопитающих, никого из нас не было бы на свете. Мы все можем считать свое существование совершенно невероятным. И все же мы существуем, как некое ретроспективное чудо.

Сын Клинтона Джорджа Огастеса Докинза, пощаженного пушечным ядром, Клинтон (впоследствии – сэр Клинтон) Эдвард Докинз (1859–1905) был одним из многих Докинзов, учившихся в Баллиол-колледже Оксфордского университета. Именно в те годы преподаватели и студенты Баллиол-колледжа были увековечены в стихах, напечатанных в 1881 году на листе большого формата, озаглавленном “Маскарад в Баллиоле”. В весенний семестр того года семеро студентов колледжа сочинили и опубликовали серию язвительных эпиграмм на разных людей, связанных с Баллиолом. Самая знаменитая из них посвящена выдающемуся мастеру[6] колледжа Бенджамину Джауэтту и принадлежит перу Генри Чарльза Бичинга, ставшего впоследствии деканом Нориджского собора:

> Знаю я, хоть знаний нет:
> Я здесь главный, Джауэтт.
> Все мне ведомо заранее,
> Что не знаю, то не знания[7].

Клинтону Эдварду Докинзу посвящена не столь остроумная, но интригующая меня эпиграмма:

> Докинз – господин речистый,
> Как и все позитивисты.
> Бог им – прошлогодний снег,
> С большой буквы – Человек.

В викторианскую эпоху вольнодумцы встречались далеко не так часто, и мне жаль, что я не успел родиться при жизни своего двоюродного прадеда Клинтона (хотя ребенком я застал бывших уже в весьма почтенном возрасте двух его младших сестер, одна из которых называла своих служанок по фамилиям – Джонсон и Харрис, – что, помнится, меня удивляло). И в чем, интересно,

проявлялась его речистость?

Должно быть, именно сэр Клинтон впоследствии оплачивал обучение моего деда, а своего племянника Клинтона Джорджа Ивлина Докинза в Баллиоле, где тот занимался, кажется, преимущественно греблей. На одной из фотографий, замечательно передающей дух Оксфорда эдвардианской эпохи в разгар лета (см. вставку), запечатлен мой дед, готовящийся к началу соревнования по гребле. Сцена, которую мы видим, как будто сошла со страниц романа Макса Бирбома "Зулейка Добсон". Зрители в шляпах стоят на палубе баржи, принадлежащей колледжу и служащей плавучим навесом для лодок. Кое-кто еще помнит времена, когда в распоряжении гребцов каждого колледжа была такая баржа. Увы, теперь их заменили добротными кирпичными навесами на берегу. (Одна или две баржи еще остались на плаву – или хотя бы на мели – и теперь служат плавучими домами отдыха в речных заводях в окрестностях Оксфорда, среди камышниц и чомг.) Деда трудно не узнать, так похожи на него двое его сыновей: мой отец и мой дядя Кольер. Меня всегда увлекало семейное сходство, хотя оно и быстро исчезает с приходом новых поколений.

Мой дед был патриотом Баллиола и сумел задержаться там намного дольше обычного срока (подозреваю, что исключительно ради гребли). Когда я навещал его, уже сам будучи студентом, колледж был основной темой наших разговоров, и дед неоднократно спрашивал меня, по-прежнему ли у нас в ходу сленг эдвардианских времен (и я неоднократно вынужден был отвечать, что нет): *Mugger* вместо *Master, wagger pagger* вместо *wastepaper basket* ("корзина для бумаг"), *Maggers' Memogger* вместо *Martyrs' Memorial* (Мемориал мучеников – известный памятник в виде креста, установленный перед Баллиолом в честь трех англиканских епископов, сожженных заживо в Оксфорде в 1555 году за приверженность неправильной разновидности христианства).

Одно из моих последних воспоминаний о дедушке связано с ежегодным обедом выпускников Баллиола (на котором каждый раз чествуют выпуск определенного года), куда я сам его привел. Когда он оказался среди старых товарищей, передвигавшихся с помощью ходунков и увешанных слуховыми рожками и пенсне, один из них узнал его и воскликнул с нескрываемым сарказмом: "Привет, Докинз! Ты еще не завязал с греблей?" Мой дед выглядел немного потерянным, когда я оставил его в кругу этих древних старцев, в числе которых наверняка были и ветераны Англо-бурской войны, то есть именно те, кому Хилэр Беллок посвятил свое знаменитое стихотворение "Тем сынам Баллиола,

кто еще в Африке”:

В те годы, когда я был в Баллиоле,
Сыны Баллиола, и я в их числе,
Переплывали реки зимою,
Боролись в жару на горячей земле.
Мы носим его с той поры в своем сердце,
Когда он, еще не раскрывшийся нам,
Но всеми уже беззаветно любимый,
К себе призвал нас и выбрал сам.
Он был нам домом и дал оружье:
Скитальца сердце, ребенка взор,
Уменье смеяться в зубах мирозданья
И жажду смотреть на опасность в упор.

Я создан, я вскормлен, взращен Баллиолом,
И он нам, и мы ему были нужны.
Мы стали собою, пройдя его школу.
Бог помощь всем вам, Баллиола сыны!

Мне было непросто читать эти строки в 2011 году на похоронах своего отца и в 2012 году на Всемирном съезде атеистов в Мельбурне, где я выступал с речью памяти Кристофера Хитченса, еще одного сына Баллиола. Непросто потому, что даже в более радостных ситуациях, когда я читаю любимые стихи, у меня до обидного легко наворачиваются слезы на глаза, а это стихотворение Беллока для меня одно из самых слезоточивых.

Покинув Баллиол, мой дедушка, как и многие другие представители нашей семьи, сделал себе карьеру на службе в колониальной администрации. Он стал хранителем лесов одного из районов Бирмы, где провел немало времени в отдаленных уголках лесного массива, надзирая на лесозаготовках за тяжелой работой отлично выдрессированных слонов. Где-то в глуши тиковых деревьев он был и в 1921 году, когда получил известие (доставленное бегуном с расщепленной палкой – по крайней мере, в моем воображении это выглядит так) о рождении его младшего сына Кольера (названного в честь леди Джулианы Кольер, матери предприимчивого Генри, с которым сбежала Огаста Клинтон). Он был так взволнован, что не стал дожидаться транспорта и преодолел 50 миль, отделявших его от жены Энид, на велосипеде. Увидев новорожденного, он с гордостью заключил, что у мальчика “докинзовский нос”. Специалисты по эволюционной психологии давно заметили, что сходству с отцом уделяется больше внимания, чем сходству с матерью, очевидно в

связи с тем, что отцовство может вызывать куда больше сомнений, чем материнство.

Кольер был младшим, а Джон (мой отец) – старшим из трех братьев. Все они родились в Бирме и в детстве передвигались по джунглям в плетеных детских кроватках-корзинках, подвешенных к палкам, которые закреплялись на плечах верных носильщиков. Впоследствии все трое пошли по стопам отца и тоже стали работать в колониальной службе, но уже не в Бирме, а в трех разных частях Африки: Джон – в Ньясаленде (теперь Малави), средний брат Билл – в Сьерра-Леоне, а Кольер – в Уганде. Билл был крещен как Артур Фрэнсис – в честь обоих своих дедушек, но его всегда звали Биллом, поскольку в детстве он напоминал ящерку Билла из “Алисы в Стране чудес”. Джон и Кольер в молодости были так похожи, что Джона однажды остановили на улице и спросили: “Это вы или ваш брат?” (То был реальный случай, чего, по-видимому, нельзя сказать о знаменитой истории про Уильяма Арчибальда Спунера, единственного директора моего нынешнего оксфордского колледжа, чье имя удостоилось собственного “изма”[8]: рассказывают, будто, встретив во дворе колледжа одного молодого человека, Спунер спросил его: “Слушайте, я никак не запомню, кто из вас погиб на войне, вы или ваш брат?”) С возрастом, как мне кажется, больше походить друг на друга (и на своего отца) стали Билл и Кольер, а Джон все сильнее отличался от них. Я интересуюсь семейным сходством, в частности, и по этой причине: оно нередко возникает и пропадает с годами. Не стоит забывать, что действие генов можно наблюдать на протяжении всей жизни, а не только в ходе развития зародыша.

У трех братьев не было ни одной сестры, к огорчению моих бабушки и дедушки, которым хотелось назвать своего младшего ребенка Джулианой в честь леди Джулианы Кольер, – и в итоге пришлось дать младшему сыну имя по ее благородной фамилии. Все три брата оказались одаренными людьми. Самым успешным в учебе был Кольер, а самым спортивным – Билл: обучаясь впоследствии в той же школе, что и он, я с гордостью нашел его имя в списке лучших учеников, где Билл значился рекордсменом школы по бегу на сто ярдов. Способности бегуна на короткие дистанции пригодились ему впоследствии при игре в регби и в начале Второй мировой войны помогли заработать для армейской команды впечатляющий тачдаун в игре против британской национальной сборной. Мне не досталось ничего от спортивных способностей дяди Билла, но зато приятно думать, что научному мышлению я научился у отца, а умению доходчиво излагать научные данные – у дяди Кольера. Вернувшись в Англию из

Уганды, Кольер стал работать в Оксфорде, где преподавал статистику биологам и добился блестящих успехов в этом непростом деле. Он умер слишком рано, и одна из моих книг – “Река, текущая из рая” – открывается следующим посвящением:

> Памяти Генри Кольера Докинза (1921–1992), сотрудника Сент-Джонс-колледжа Оксфордского университета и большого мастера понятно объяснять.

Первым умер младший брат, а последним – старший. Мне очень не хватает их всех. Когда в 2009 году в возрасте 93 лет скончался мой дядя и крестный отец Билл, я произнес речь на его похоронах[9]. В этой речи я попытался донести до слушателей, что, хотя в службе британской колониальной администрации было много плохого, лучшее в ней было поистине очень хорошим и Билл, как и оба его брата, а также Дик Кеттлуэлл, о котором здесь еще пойдет речь[10], были представителями этого лучшего.

Выбрав работу в колониальной службе, трое братьев пошли по стопам не только отца, но и родни по материнской линии. Их дед со стороны матери, Артур Смитис, был главным хранителем лесов одного из районов Индии, а его сын Ивлин стал главным хранителем лесов Непала. Именно Ивлин, с которым мой дед подружился, когда они оба изучали лесоводство в Оксфорде, познакомил его со своей сестрой Энид, ставшей впоследствии женой деда. Ивлин Смитис был автором известной монографии “Лесные богатства Индии” (1925), а также нескольких классических трудов по филателии. Его жена Олив, как это ни грустно, любила охотиться на тигров и опубликовала книгу под названием “Тигриная леди”. На одной из фотографий она стоит в пробковом шлеме на трупе тигра, а ее муж с гордостью похлопывает супругу по плечу. Подпись гласит: “Молодец, женушка!” Не думаю, что мне понравилась бы эта дама.

Неразговорчивый двоюродный брат моего отца Бертрам (Билли) Смитис, старший сын Олив и Ивлина, тоже работал в лесном хозяйстве – в Бирме, а затем в Сараваке – и написал два классических труда по орнитологии: “Птицы Бирмы” и “Птицы Борнео”. Последняя книга стала чем-то вроде библии для писателя-путешественника Редмонда О’Хэнлона (который, напротив, вовсе не отличался неразговорчивостью) в ходе его совместного с поэтом Джеймсом Фентоном путешествия, с юмором описанного в издании “К сердцу Борнео”.

Младший брат Бертрама Джон Смитис отступил от семейной традиции и стал выдающимся исследователем в области нейронауки, специалистом по шизофрении и психоделическим препаратам. Живя в Калифорнии, именно он, как считается,

вдохновил в свое время Олдоса Хаксли на эксперименты с мескалином и прочищение “дверей восприятия”. Я недавно обратился к нему за советом, принимать ли любезное предложение одного моего друга попробовать под его присмотром ЛСД, и получил совет не делать этого. Другой двоюродный брат моего отца – Йорик Смитис – был преданным учеником философа Витгенштейна, записавшим многое с его слов[11]. Питер Конради утверждает в биографии писательницы Айрис Мёрдок, что именно Йорик послужил прототипом “доморощенного философа” Хьюго Белфаундера, персонажа ее романа “Под сетью”, но я должен сказать, что найти сходство между Йориком и Хьюго не так уж просто.

> Йорик хотел стать кондуктором в автобусе, но, как отмечает писательница, оказался единственным человеком в истории автобусной компании, не сумевшим сдать даже теорию. ‹…› Инструктор отказался продолжать первый и единственный для Йорика урок вождения и вышел из машины, увидев, как тот раз за разом заезжает на тротуар.

Не сумев выучиться на кондуктора и отказавшись по совету Витгенштейна (как и большинство других его учеников) от профессиональных занятий философией, Йорик устроился библиотекарем на отделение лесоводства Оксфордского университета. Этим, вероятно, и ограничилась его связь с семейной традицией. Он был эксцентричным человеком, пристрастился к нюхательному табаку и католицизму и впоследствии трагически погиб.

Артур Смитис, дед двоюродных братьев Докинзов и Смитисов, стал, по-видимому, первым представителем нашей семьи, работавшим в Британской империи на государственной службе. Все его предки по отцовской линии, начиная с прапрапрапрапрадеда, преподобного Уильяма Смитиса, родившегося в 1635 году, в течение шести поколений были англиканскими священниками. Вполне вероятно, что, живи я в те времена, я тоже мог бы стать священником. Меня всегда интересовали те глубинные вопросы бытия, на которые религия пытается дать ответ (хотя и безуспешно), но, по счастью, я живу в век, когда на такие вопросы даются научные ответы, не отсылающие к сверхъестественному. Сам мой интерес к биологии связан преимущественно с увлечением проблемами происхождения и природы жизни, а не с любовью к естествознанию, как у большинства молодых биологов, которых мне доводилось учить. В каком-то смысле я даже предал

семейную традицию посвящать жизнь полевой работе и непосредственному изучению природы. В кратких воспоминаниях, опубликованных в свое время в антологии автобиографических очерков этологов, я писал:

> Я должен был стать юным натуралистом. У меня были для этого все основания: не только идеальная первозданная среда тропической Африки, но предположительно и гены, идеально подходящие для ее увлеченного изучения. Загорелые ноги Докинзов нескольких поколений шагали в шортах цвета хаки по джунглям Британской империи. Подобно своему отцу и двум его младшим братьям, я чуть ли не родился с пробковым шлемом на голове[12].

Надо сказать, что, когда дядя Кольер впервые увидел меня в шортах (сам он регулярно ходил в таких же штанах, но поддерживаемых двумя ремнями), он воскликнул: “Боже, да у тебя настоящие докинзовские коленки!” Как я писал в тех же воспоминаниях про дядю Кольера, худшее, что он мог сказать про молодого человека, было:

> “За всю жизнь ни разу не побывал на молодежной турбазе”. Вынужден признать, что эти слова осуждения по-прежнему относятся и ко мне. Можно сказать, что я с юных лет предал традиции своей семьи.
>
> Родители всячески поощряли мой интерес к живой природе. Они знали все цветы, которые можно найти и на обрывистых берегах Корнуолла, и на альпийских лугах, а отец дополнительно развлекал нас с сестрой, называя эти растения по-латыни (дети обожают звучание слов, даже если не понимают их смысла). Вскоре после переезда в Англию я испытал настоящее унижение, когда мой дед, высокий, красивый джентльмен, к тому времени вышедший на пенсию и вернувшийся из лесов Бирмы, указал мне на синицу-лазоревку за окном и спросил, знаю ли я, кто это. Я не знал и позорно пробормотал: “Зяблик?” Дед был возмущен. В семье Докинзов такое невежество было равносильно незнанию, кто такой Шекспир. “Боже мой, Джон, – я никогда не забуду ни этих слов деда, ни слов оправдания, тут же сказанных моим отцом, – неужели это *возможно*?”

Справедливости ради нужно заметить, что тогда я только-только впервые ступил на землю Англии и что ни лазоревки, ни

зяблики не встречаются в Восточной Африке. Но так или иначе, я поздно увлекся наблюдением за животными в природе и никогда не стал таким же любителем полей, как мои отец и дед. Вот что произошло вместо этого:

> Я стал тайным читателем. Приезжая на каникулы из интерната, я тайком пробирался к себе в спальню с книжкой, постыдно игнорируя подобающие мне прогулки на свежем воздухе, в полях. И когда я всерьез стал изучать биологию в школе, меня привлекал к ней все тот же книжный интерес. Я задавался вопросами, которые взрослые назвали бы философскими. В чем смысл жизни? Откуда мы взялись? С чего все началось?

Семья моей матери родом из Корнуолла. Моя бабушка по материнской линии, Конни Уэрн, родилась в семье потомственных врачей: ее отец, дед и прадед принимали пациентов в городе Хелстоне (в детстве я представлял себе их всех как доктора Ливси из “Острова сокровищ”). Она была убежденной патриоткой Корнуолла, называла англичан иностранцами и жалела, что родилась слишком поздно, чтобы говорить на ныне вымершем корнском языке, но рассказывала мне, что в годы ее детства старые рыбаки из Маллиона могли понимать бретонских рыбаков, “приплывавших таскать наших крабов”. Бриттские языки – валлийский (живой), бретонский (вымирающий) и корнский (мертвый) – представляют собой сестринские виды на эволюционном древе языков. Некоторые корнские слова сохранились в корнуолльском диалекте английского, например *quilkin* вместо *frog* (“лягушка”). Бабушка неплохо владела этим диалектом, и мы, ее внуки, регулярно уговаривали ее читать нам наизусть восхитительный корнуолльский стишок про мальчика, проглотившего сливовую косточку. Однажды я даже записал ее декламацию на магнитофон, но запись впоследствии куда-то потерялась, о чем я горько сожалею. Через много лет Гугл помог мне найти это стихотворение[13], и, читая его, я живо вспоминаю, как бабушка произносила его строфы своим скрипучим голосом.

> Такой поднялся шум и гам, что и представить тяжко,
> Когда сын Бена Трембы взял и проглотил костяшку[14].
> Добро бы вовсе проглотил, со многими бывало:
> Костяшка в горло не прошла и в глубине застряла.
> Парнишка выпучил глаза, затопал во всю мочь,
> Сбежались люди, но никто не знает, чем помочь.

Тут Мэлли Джендалл раньше всех на выручку поспела,
Как Джимми Иллис меж котов[15], всех лучше знает дело.
Покуда бедный паренек выплясывал чечетку,
Она его за челку хвать и влезла пальцем в глотку.
Да только он захлопнул рот и палец сжал зубами!
Завыла бедная, как зверь, не передать словами.

Никто не знал, что делать с ним, все струсили отменно.
Один сказал: “Тут кувырок помог бы непременно”,
Другой за зельем побежал, а тот, жуя петрушку,
Рассказ о мальчике повел, что проглотил лягушку.
А кто-то головой качал и говорил в печали:
“Добром не кончит мальчуган, давно мы это знали.
Он птичьи гнезда разорял, любил играть в орлянку
И как-то кошке привязал к хвосту пустую банку”.

Но тут Большой явился Джим и говорит: “Эх вы!
Всему-то надо вас учить, ни рук, ни головы!”
Дал подзатыльник пареньку, не тратя слов на спор,
Костяшка вылетела вон, и кончен разговор.
Везуч был этот мальчуган и проживет сто лет,
Везуч – коль у него во рту другой костяшки нет!

Меня давно увлекает эволюция языков и дивергенция местных форм языка, которые постепенно превращаются в диалекты, такие как корнуолльский и джорди, а затем незаметно расходятся все дальше и становятся отдельными языками, как, к примеру, немецкий и голландский, каждый из которых, несмотря на явное родство, непонятен носителям другого. Здесь напрашивается аналогия с генетической эволюцией, которая о многом говорит, но при этом способна ввести в заблуждение. Когда две популяции дивергируют, становясь разными видами, точкой их разделения на два вида считается момент, когда они теряют способность скрещиваться друг с другом. Я предлагаю считать точкой разделения двух диалектов на два языка тот аналогичный переломный момент, когда попытка носителя одного из них говорить на другом начинает восприниматься как комплимент, а не как оскорбление. Если бы я пришел в паб в Пензансе и попытался говорить на корнуолльском диалекте английского, это могло бы для меня плохо закончиться, поскольку корнцы подумали бы, что я их передразниваю. Но если я поеду в Германию и попытаюсь там говорить по-немецки, немцы только обрадуются. Немецкий и английский дивергировали

достаточно долго. Если мое предположение верно, то где-то (быть может, в Скандинавии?) должны быть примеры диалектов, находящихся на грани превращения в разные языки. Я ездил недавно с лекциями в Стокгольм, где меня пригласили на ток-шоу, которое показывали по телевизору как в Швеции, так и в Норвегии. Ведущий и некоторые из гостей были норвежцами, и мне сказали, что телезрители обеих стран без труда понимают и шведский, и норвежский. Что же касается датского, то его большинство шведов понимает с трудом. В соответствии с моей теорией можно ожидать, что шведу, приехавшему в Норвегию, скорее всего, не стоит пытаться говорить по-норвежски, чтобы ненароком никого не оскорбить, но шведа, приехавшего в Данию и пытающегося говорить по-датски, примут там на ура[16].

Когда умер мой прапрадед доктор Уолтер Уэрн, его вдова переехала из Хелстона на полуостров Лизард, где построила дом на западном берегу с видом на бухту Маллион. Этот дом по-прежнему принадлежит нашей семье. От бухты Маллион по очаровательной дороге, проложенной над обрывом среди цветущих армерий, можно дойти до мыса Полдью, откуда Гульельмо Маркони в 1901 году впервые осуществил радиосвязь через Атлантику, передав азбукой Морзе многократно повторенную букву S. Неужели же по столь знаменательному поводу нельзя было сказать ничего более интересного, чем “s s s s s s”?

Мой дедушка по материнской линии, Алан Уилфред (Билл) Лэднер, тоже был корнцем и работал в компании Маркони радиоинженером. Он устроился на эту работу слишком поздно, чтобы принять участие в вышеупомянутом сеансе трансатлантической связи в 1901 году, но примерно в 1913 году, незадолго до Первой мировой, его направили на ту самую радиостанцию на мысе Полдью. В 1933 году, когда радиостанция была демонтирована, старшая сестра моей бабушки, Этель (которую моя мама называла просто “тетя”, хотя у нее были и другие тети), смогла забрать оттуда часть больших сланцевых плит, использовавшихся в качестве основы приборных панелей. О способе применения плит напоминают просверленные в них отверстия – ископаемые остатки былых технологий. Теперь этими плитами вымощены дорожки в саду нашего семейного дома в Маллионе (см. вставку). В детстве они вызывали у меня восхищение почетной профессией моего дедушки – профессией инженера, чтимой в Британии меньше, чем во многих других странах. Возможно, с этим отчасти связан прискорбный упадок моей страны, некогда великой промышленной державы, сделавшейся жалким поставщиком “финансовых услуг” (к тому

же часто ненадежных, что мы с грустью вынуждены констатировать).

До того как Маркони провел свой исторический сеанс связи, считалось, что расстояние, на которое можно передавать радиосигналы, ограничено кривизной поверхности Земли. Разве можно поймать за горизонтом волны, распространяющиеся по прямой? Однако выяснилось, что радиоволны могут отражаться от слоя Хевисайда – одного из верхних слоев атмосферы (современные радиосигналы отражаются прежде всего от искусственных спутников). Я горжусь тем, что книга моего дедушки “Коротковолновая радиосвязь” неоднократно переиздавалась с 1930-х до начала 1950-х годов и служила основным учебником по этому предмету до тех пор, пока на смену электронным лампам не пришли транзисторы.

В нашей семье издавна считалось, что ничего понять в этой книге невозможно, но я только что прочитал первые две страницы и убедился, что написана она весьма доходчиво.

> Идеальный передатчик производил бы электрический сигнал, который был бы точной копией вводимого сигнала, и передавал бы его на соединительное звено в абсолютно неизменном виде, не вызывая при этом никаких помех на других каналах. Идеальное соединительное звено позволяло бы передавать по нему или через него электрические импульсы без каких-либо искажений и без затухания и не собирало бы в ходе такой передачи “шумы”, связанные с внешними электрическими возмущениями какого-либо рода. Идеальный приемник улавливал бы нужные электрические импульсы, посылаемые по соединительному звену передатчиком, и абсолютно точно преобразовывал бы их в нужную для зрительного или слухового восприятия форму. ‹…› Поскольку крайне маловероятно, что идеальные средства связи будут когда-либо разработаны, необходимо разобраться в том, чем лучше жертвовать в поисках компромиссных решений.

Прости меня, дедушка, прости, что у меня отбили желание читать твою книгу в те времена, когда ты еще был с нами и с тобой можно было о ней поговорить, а я был уже достаточно взрослым, чтобы в ней разобраться, но не стал и пытаться. Тебя самого отношение родных к твоей работе убедило, что незачем с нами делиться обширными знаниями, которые наверняка по-прежнему хранились в твоей умной голове. Стоило кому-то

заговорить с тобой о радио, ты отвечал: “Нет, про радио я ничего не знаю” и продолжал насвистывать под нос нескончаемые мелодии из оперетт. Как бы мне хотелось поговорить с тобой теперь о Клоде Шенноне и теории информации, показать тебе, как те же принципы связи управляют коммуникацией пчел, птиц и даже нейронов у нас в мозгу. Как бы мне хотелось, чтобы ты рассказал мне о преобразованиях Фурье и вспомнил что-нибудь о профессоре Сильванусе Томпсоне, авторе книги “Математический анализ в доступном изложении” (“Что может один дурак, может и другой”). Сколько упущенных возможностей, упущенных безвозвратно! Как недальновидно, как глупо с моей стороны! Прости меня, тень радиоинженера Алана Уилфреда Лэднера, моего дорогого дедушки!

И при этом конструировать в юности радиоприемники меня научил не дедушка-радиоинженер, а дядя Кольер. Он подарил мне книгу Фредерика Джеймса Кэмма, с помощью которой я вначале изготовил детекторный приемник (работавший очень хило), а затем однотранзисторный, с большим ярко-красным транзистором, работавший немного лучше, но все же требовавший наушников, а не репродуктора. Сделан он был невероятно плохо. Я не только не пытался аккуратно провести провода, прикрепляя их к деревянной панели скобами, но даже радовался тому, что, как бы неаккуратно они ни располагались, это не имело значения, если каждый из них заканчивался там, где надо. Не то чтобы я специально проводил каждый провод как можно неаккуратнее, но меня по-настоящему увлекало несоответствие между топологией проводов, от которой все зависело, и их непосредственным расположением, от которого не зависело ничего. Плод моих трудов был полной противоположностью современным интегральным микросхемам. Много лет спустя, когда я читал в Королевском институте рождественские лекции для детей примерно того самого возраста, в котором я изготовил свой однотранзисторный приемник, я продемонстрировал им сильно увеличенный чертеж интегральной микросхемы, позаимствованный у современной компьютерной фирмы. Надеюсь, этот чертеж поразил и немного озадачил моих юных слушателей. Эксперименты эмбриологов показали, что растущие нервные клетки могут “вынюхивать” органы, до которых они должны дотянуться, и часто прокладывают к ним дорогу примерно так, как были проложены провода в моем приемнике, а не в соответствии со строгим планом, как в интегральной микросхеме.

Но вернемся в Корнуолл перед Первой мировой войной. Моя прабабушка завела обычай приглашать к себе в Маллион на чай

одиноких молодых инженеров с радиостанции на мысу. Именно так познакомились мои дедушка и бабушка. Они были уже помолвлены, когда разразилась война. Радиоинженеры были востребованы на фронте, и бравого молодого офицера Билла Лэднера направили на южную оконечность тогдашнего Цейлона строить радиостанцию на этом стратегически важном перевалочном пункте морских путей Британской империи.

Конни последовала за ним в 1915 году и остановилась в доме местного священника, который их и обвенчал. Моя мать, Джин Мэри Вивиан Лэднер, родилась в Коломбо в 1916 году.

В 1919 году, когда война закончилась, Билл Лэднер привез свою семью обратно в Англию, но не в Корнуолл на самом западе страны, а в Эссекс на востоке, где в городе Челмсфорде располагалась штаб-квартира компании Маркони. В Челмсфорде дедушка занимался обучением будущих инженеров в колледже Маркони, который он впоследствии возглавил. Он считался очень хорошим преподавателем. Поначалу семья жила в самом Челмсфорде, но вскоре переехала на окраину обширной деревни Литтл-Бэддоу в окрестностях Челмсфорда, в очаровательный длинный дом XVI века под названием Уотер-Холл.

В Литтл-Бэддоу с моим дедушкой произошел один случай, который, по-моему, проливает свет на некоторые особенности человеческой природы. Случилось это намного позже, во время Второй мировой войны. Дедушка ехал на велосипеде и увидел, как над его головой пролетел немецкий бомбардировщик и сбросил бомбу (экипажи бомбардировщиков обеих воевавших сторон, если им не удавалось найти заданную цель в городе, иногда сбрасывали бомбы в сельской местности, чтобы не возвращаться на базу со снарядами на борту). Дедушка неправильно определил, где упала бомба, и поначалу в отчаянии подумал, что она попала в Уотер-Холл и убила его жену и дочь. Судя по всему, паника вызвала у него атавистическую реакцию перехода к более древней форме поведения: он спрыгнул с велосипеда, сбросил его в канаву и бежал до самого дома. Думаю, что в подобной экстремальной ситуации я и сам мог бы так поступить.

Именно в Литтл-Бэддоу, в большом доме, который назывался Хоппет (Корзинка), поселились мои дедушка и бабушка по отцовской линии, когда дедушка вышел в отставку и его семья переехала из Бирмы в Англию. Моя мать и ее младшая сестра Диана впервые услышали о юных Докинзах от подруги, которая, как в романе Джейн Остин, прибежала и поспешила сообщить о появлении в окрестностях потенциально интересных молодых людей. “В Хоппете поселились трое братьев! Младший еще

маленький, средний очень неплох, а старший полный псих, все время ходит по болоту, бросает там обручи, а потом ложится на живот и смотрит на них".

Казавшееся эксцентричным поведение моего отца на самом деле было вполне рациональным – далеко не первый и далеко не последний случай, когда в действиях ученого, не понимая их смысла, подозревали неладное. В то время он учился в магистратуре на отделении ботаники Оксфордского университета и занимался изучением статистического распределения кочек на прибрежных болотах. Для этого нужно было определять и считать растения в пределах ограниченных рамкой пробных участков болота, и стандартный метод подобных исследований предполагал бросание "обручей" (рамок) случайным образом. Интерес моего отца к ботанике был одной из его черт, оказавшихся привлекательными для моей матери, когда она с ним познакомилась.

Увлечение ботаникой началось у Джона рано, во время каких-то школьных каникул, которые в тот раз Джон и Билл проводили у своих дедушки и бабушки Смитисов. В те времена родители, жившие в колониях, нередко отправляли своих детей, особенно сыновей, в школы-интернаты в Британии; и Джон с Биллом, когда им было семь и шесть лет соответственно, тоже были отправлены в такую школу – Чейфин-Гроув в городе Солсбери, где впоследствии учился и я. Их родители оставались в Бирме еще десять с лишним лет, и, поскольку воздушного сообщения в те годы не было, в большинстве случаев они не видели своих сыновей даже на каникулах. В итоге оба мальчика проводили каникулы в других местах: иногда в специальных пансионатах для детей сотрудников колониальной службы, а иногда в девонширской деревне Долтон у дедушки и бабушки Смитисов, часто в компании своих двоюродных братьев.

В наши дни считается, что отделять детей от родителей на столь долгий срок просто ужасно, но тогда это была довольно обычная практика, которая воспринималась как неизбежное следствие колониальной службы, а также дипломатической работы, учитывая, что поездки в дальние страны занимали много времени и стоили дорого. Детские психологи, вероятно, подозревают, что эта практика приводила к серьезным психологическим травмам. Так сложилось, что и Джон, и Билл выросли уравновешенными и приятными людьми, но вполне вероятно, что другим детям было намного сложнее справиться с тяготами жизни без родителей. Двоюродный брат Джона и Билла Йорик, как я уже говорил, был эксцентричным и, возможно, несчастным человеком. С другой стороны, он учился в Хэрроу[17],

и одним этим (не говоря уже о взаимодействии со столь непростым человеком, как Витгенштейн) можно, по-видимому, объяснить все его странности.

Однажды во время таких каникул дедушка Смитис устроил для внуков конкурс: кто соберет лучшую коллекцию дикорастущих цветов, тот получит приз. Победил Джон, и его детская коллекция легла в основу его личного гербария, положив начало становлению мальчика как профессионального ботаника. Как я уже сказал, любовь к дикорастущим цветам была одной из тех черт, которые объединяли его с Джин, моей матерью. Им обоим была свойственна также любовь к удаленным безлюдным местам и нелюбовь к шумным сборищам. Брат Джона Билл и сестра Джин Диана, напротив, были любителями вечеринок (и впоследствии тоже поженились).

В возрасте 13 лет Джона, а затем и Билла перевели из Чейфин-Гроув в колледж Мальборо в Уилтшире – одну из самых известных “публичных” (то есть частных) школ в Англии, основанную как школа для детей священников. Режим в Мальборо был спартанский. Джон Бетчеман в стихотворной автобиографии назвал его жестоким, но Джон и Билл Докинзы, в отличие от поэта, по-видимому, не особенно страдали от этого режима: им он даже нравился. Но когда шесть лет спустя настала очередь Кольера, родители, вероятно неслучайно, решили отправить его в менее строгую школу Грешема в графстве Норфолк. Насколько я могу судить, Джону школа Грешема, скорее всего, тоже подошла бы больше, если не считать того, что в Мальборо работал легендарный учитель биологии Эшли Гордон (Табби) Лаундс, благодаря которому мой отец, быть может, и стал биологом. Несколько учеников Лаундса стали выдающимися учеными, в том числе зоологи Джон Янг и Питер Медавар и по меньшей мере семь членов Лондонского королевского общества. Медавар учился в Мальборо одновременно с моим отцом, и впоследствии они вместе поступили в Оксфорд: Медавар в Магдален-колледж, где специализировался в зоологии, а мой отец в Баллиол, где специализировался в ботанике. В онлайновом приложении к этой книге я воспроизвожу исторический документ – монолог Лаундса, записанный дословно моим отцом. Медавар, находившийся в той же классной комнате, наверняка тоже слышал этот монолог, интересный тем, что он отчасти предвосхищает главную идею концепции “эгоистичного гена” (хотя сам я обнаружил этот текст в тетради своего отца лишь через много лет после публикации моей книги “Эгоистичный ген”).

Получив диплом бакалавра, отец остался в Оксфорде в

магистратуре, где работал над уже упомянутым исследованием болотных кочек. Для дальнейшей карьеры он остановил выбор на сельскохозяйственном отделении колониальной службы. Чтобы специализироваться в области сельского хозяйства тропических широт, ему потребовалось продолжить обучение в Кембридже (где он снимал квартиру у домовладелицы с запоминающейся фамилией – миссис Спэрроухок[18]). Позже, уже после помолвки с Джин, он учился в Имперском колледже тропической агрикультуры на Тринидаде, а в 1939 году его направили в Ньясаленд (теперешнюю Малави) в должности младшего сельскохозяйственного чиновника.

Вслед за армией в Кении

Отправка Джона в Африку ускорила планы моих родителей, и 27 сентября 1939 года они обвенчались в церкви Литтл-Бэддоу. Затем Джон отправился на корабле в Кейптаун и прибыл оттуда в Ньясаленд на поезде, а Джин последовала за ним в мае 1940 года на гидросамолете "Кассиопея". Ее путешествие не обошлось без приключений и заняло около недели: самолету требовалось совершить немало посадок для дозаправки. Одна из таких остановок оказалась в Риме, и это было страшновато, потому что Муссолини в то время колебался, вступать ли ему в войну на стороне Германии, и случись такое как раз тогда, все пассажиры "Кассиопеи" были бы арестованы и интернированы до конца войны.

Когда Джин наконец добралась до Джона, он вынужден был сообщить ей, что призван в полк Королевских африканских стрелков, базировавшийся в Кении. В распоряжении молодоженов был всего месяц совместной жизни в Ньясаленде (в течение этого месяца, судя по расчетам, я и был зачат), после чего Джону предстояло отправляться в Кению. Для прохождения подготовки Ньясалендский батальон направился туда колонной автотранспорта. Джону каким-то образом удалось получить разрешение добраться до пункта назначения на автомобиле отдельно от колонны, но разрешения взять с собой жену у него вовсе даже не было. Женам сотрудников колониальной службы в Ньясаленде было строго предписано оставаться там или ехать в Англию или Южную Африку, а не сопровождать мужей, отправленных на север, на войну. Насколько известно моей маме, она была единственной, кто не подчинился этому предписанию. Мои замечательные родители провезли ее в Кению контрабандой, из-за чего у них впоследствии возникли проблемы, о которых я еще расскажу.

Джон и Джин в компании слуги Али, преданно сопровождавшего их и впоследствии сыгравшего немалую роль в моей детской жизни, выехали в Кению 6 июля 1940 года на своем драндулете под названием "Люси Локетт" – старом "форде-универсале". По ходу путешествия они вели общий дневник, из которого я приведу здесь несколько цитат. Родители специально выехали до выступления колонны, чтобы получить помощь в случае серьезной поломки. Это было мудрое решение, учитывая, что на первой же странице дневника упоминается, как автомобиль толкала орава мальчишек, без помощи которых он вообще не желал заводиться. Вот описание четвертого дня – после

успешной покупки нескольких тыкв, из-за которых пришлось поторговаться:

> По этому поводу мы все сильно развеселились, особенно оттого, что победа и тыквы остались за нами, и Джон на радостях поехал, когда Али еще не успел сесть в машину, и лишился дверцы, которая зацепилась за дерево, и ее оторвало. Было очень досадно.

Но даже досадная потеря дверцы не могла всерьез огорчить молодых людей, и все трое в приподнятом настроении продолжили свой путь на север среди страусов и смотревших свысока жирафов. По ночам они спали в машине, разводя на каждой стоянке костер, чтобы отпугивать львов и готовить вкусные рагу и пироги на самодельной печке – одном из тех остроумных устройств, которые отец любил создавать на протяжении всей своей жизни. Время от времени они встречались с колонной. Во время одной из таких встреч командир колонны,

> громадный военный ‹…› в красной фуражке с золотым галуном, нырнул в индийскую лавку, приказав нам подождать, и вернулся оттуда с большой плиткой шоколада, которую вручил мне со словами: “Подарок маленькой девочке, поехавшей в большое путешествие!” Этот шоколад потом съел Джон.

Интересно, не хотел ли добродушный командир тем самым дать понять, что ему известно о нелегальности участия Джин в этой поездке?

Приближалась граница Кении.

> Мы были готовы, как только увидим границу, спрятать меня под спальными мешками и посадить сверху Али. Но никаких признаков границы мы так и не заметили и по окончании этого совершенно чудесного и удивительного путешествия поняли, что въезжаем в Найроби и нам все сошло с рук. Джон поселил меня в гостинице “Норфолк” и поехал в свою часть – вместе с Али, который вскоре стащил где-то униформу аскари и объявил себя солдатом[19]. Впоследствии он показал лучшие для аскари результаты на курсах вождения и тем самым привлек к себе внимание, из-за чего Джон попал в очень неловкое положение.

Несмотря на это достижение, официально Али так и не стал

солдатом, но играл при моем отце роль денщика и сопровождал его по всем лагерям подготовки, куда его направляли. Один из таких лагерей располагался в Ньери, где Джон и Али застали похороны лорда Баден-Пауэлла, основателя скаутского движения. Джона, как бывшего скаута, сделали участником похоронной процессии: он маршировал рядом с лафетом, на котором везли гроб. У меня есть фотография, на которой запечатлен этот эпизод (см. вставку), и я должен сказать, что отец смотрится очень браво в униформе Королевских африканских стрелков: шортах цвета хаки, гольфах и форменной шляпе, остатки которой, постепенно приобретавшие все более жалкий вид, он носил до конца своих дней. Кстати, высокий офицер, рядом с которым он здесь марширует (не в ногу), – это лорд Эрролл из "Счастливой долины"[20], который вскоре был убит (история этого знаменитого убийства, официально по-прежнему считающегося нераскрытым, легла в основу фильма "Белое зло").

Следующие три года стали для Джин временем почти постоянных переездов вслед за Джоном и жизни при армии в тех местах, куда его направляли, причем не только в Кении, но и в Уганде. Много лет спустя в своих написанных для членов семьи мемуарах она вспоминала:

> В ходе своей подготовки к службе в Королевских африканских стрелках Джон очень умело находил для меня временные пристанища неподалеку от мест, куда его посылали. Я выполняла разную мелкую работу (присматривала за чьими-нибудь детьми, учительствовала в паре приготовительных школ), а иногда просто жила в съемных комнатах. Однажды, когда командир Джона получил приказ выдвигаться на штурм Аддис-Абебы, он пошутил, что им нужно поторопиться, не то Джин Докинз прибудет туда первой!

Среди множества добрых хозяев, у которых Джин жила в тот период, были доктор Макклейн и его жена. В их доме в угандском городе Джинджа Джин работала няней у их маленькой дочери, которую называли Сниппет (Лоскуток).

> Макклейны из Джинджи были очень добры ко мне. Я ходила за Сниппет и время от времени помогала им по дому. Дома в Джинджe стояли вокруг поля для гольфа, расположенного на берегу озера, и по ночам на траве резвились бегемоты, иногда совершавшие набеги на сады. А еще те края кишели крокодилами, нежившимися в воде и гревшимися на солнце на мелководьях под

самым водопадом, где я по глупости плавала на байдарке. Эти крокодилы забавно держали пасти широко раскрытыми, чтобы их маленьким друзьям-птичкам было проще чистить им зубы!

Симбиотические отношения такого рода теперь подробно описаны у рыб, живущих на коралловых рифах. В “Эгоистичном гене” я писал об этом явлении и об интересной теории, объясняющей его возникновение в ходе эволюции, но я не осознавал, пока не прочитал (намного позже) мамины воспоминания, что очень похожее поведение свойственно также крокодилам и птицам. Подозреваю, что и эволюционное объяснение здесь должно быть таким же, лучше всего описываемым математическим языком теории игр.

В тот период, когда моя мать жила у Макклейнов, у нее случился первый из многих перенесенных ей приступов малярии, которые то и дело повторялись на протяжении всех девяти лет ее жизни в Африке и стали одной из причин решения вернуться в Англию, принятого в итоге моими родителями. Мама отчетливо помнит, как однажды, уже снова в Ньясаленде после войны, когда у нее случился очередной приступ, она услышала, лежа в горячечном бреду, настойчивый голос доктора Глинна, главного врача больницы города Лилонгве: “Если срочно не позвать Джона Докинза, может оказаться слишком поздно”. Свое выздоровление она впоследствии приписывала (возможно, ошибочно) именно тому, что случайно услышала эти слова доктора, опасавшегося, что она умирает, и решила во что бы то ни стало доказать ему, что он не прав.

Однако один из первых случившихся еще у Макклейнов приступов, в котором заподозрили малярию, был в итоге объяснен совсем другим диагнозом:

> В один прекрасный день доктор, человек жизнерадостный и общительный, сказал мне: “Вы, наверное, уже догадываетесь, что с вами?” Я ответила: “Малярия?” А он сказал: “Вы беременны, моя милая!” Это известие потрясло нас, но мы были рады. Теперь, вспоминая те времена, я, разумеется, понимаю, как неправильно это было с нашей стороны, учитывая наше непредсказуемое и бесприютное существование. И все же, если бы мы проявляли разумность и предусмотрительность и принимали меры предосторожности, у нас бы не было Ричарда! Как бы там ни было, мы стали готовиться к рождению ребенка, я начала шить для него одежду, и, конечно, нам повезло,

все обошлось хорошо. Нам все время везло. Хотя сейчас-то я осознаю, что Ричарду, скорее всего, было трудно таскаться вместе с нами по свету и наши постоянные переезды могли его нервировать. Мы составили список всех случаев, когда нам приходилось паковать его чемоданчик в первые несколько лет его жизни. Он провел не одну ночь в поездах на железных дорогах Кении и Уганды. В раннем детстве его постоянно окружали новые лица, и он наверняка страдал от ощущения непрочности нашей жизни.

Я нашел этот список, где перечислены все мои скитания 1941–1942 годов. Он записан в тетрадке, “синей тетради”, теперь изрядно потрепанной, в которой мама записывала также некоторые мои детские высказывания, а впоследствии еще и высказывания моей сестры Сары. Я помню только одно из мест, упомянутых в списке: дом Грейзбрукс в поселке Мбагати в окрестностях Найроби. Наверное, это оттого, что впоследствии я побывал там снова. Хозяевами дома, где мы жили, были миссис Уолтер, ее невестка Руби, муж которой погиб на войне, и маленькие внуки.

Мама пишет в своих воспоминаниях:

> Кения, Уганда и Танганьика запомнились мне многим и принесли немало счастья и радости. Но не обошлось там и без горестей, страхов, тревог и одиночества, когда Джон надолго уезжал и от него не было известий. Письма шли очень долго и приходили очень редко, обычно сразу пачками. Мне часто бывало страшно и одиноко и всегда было тревожно, но нас окружало много хороших, добрых друзей, и с ними мне сильно повезло. Среди них нужно особо отметить Уолтеров из Мбагати, которые просто приняли нас с Ричардом в свою семью.
>
> Я была с ними, когда пришла телеграмма о гибели Джона [21], который совсем недавно приезжал домой на побывку. Миссис Уолтер уже пережила подобное в Первую мировую, на которой погиб ее муж, когда Джон был еще младенцем. Это было очень, очень тяжело.
>
> Так что мы сосредоточили все внимание на маленьком Уильяме Уолтере, а также на родившемся вскоре Джонни. Для Ричарда они довольно долго были как братья, а миссис Уолтер – как бабушка. Она была замечательная старушка, просто великолепная, никогда не сидевшая без дела и не падавшая духом. Она

сконцентрировалась на заботах о приезжавших на побывку военных и неоднократно посылала меня в Найроби – отвозить туда и привозить оттуда группы солдат, матросов и летчиков. Я возила их на машине, которая называлась “Юлиана” и была довольно непредсказуемым транспортным средством. У нее было два топливных бака: заводилась она на бензине, а затем, если повезет, переключалась на керосин. Однажды, одолевая 20 с лишним миль дороги до дома, мне едва удалось остаться живой. Я везла из гостиницы “Нью-Стэнли” огромного, необычайно толстого кока, служившего на военном корабле. Как я вскоре поняла, он был к тому же сильно пьян и уснул поперек сиденья, так сильно навалившись на меня, что мне стоило неимоверных усилий продолжать вести машину, а сдвинуть его с места я не могла. Мне пришлось очень туго.

Я думаю, что этим военным действительно очень нравилось у Уолтеров. Они играли с детьми и делали всевозможную мужскую работу по дому для миссис Уолтер, которая относилась к ним как к мальчишкам и кормила удивительно вкусной едой. Ее дом стал родным для всех нас.

Мы с Ричардом построили в Мбагати еще одну глиняную хижину – великолепный двойной домик из двух рондавелей [22], соединенных прямой перемычкой. Это было очаровательное жилище.

На постройку этих двух хижин с общей крышей ушло около недели. Если не ошибаюсь, именно к ним относится мое самое раннее воспоминание.

Миссис Уолтер к тому времени купила небольшой участок земли. Однажды, когда она очищала его от кустов вместе с работником-африканцем, раздался страшный взрыв, и несчастному начисто снесло одну из пяток (мы решили, что это была мина, оставшаяся с Первой мировой). Миссис Уолтер была очень высокой и сильной и смогла погрузить работника в кузов своей колымаги и привезти домой. Мы оказали ему первую помощь, и миссис Уолтер отвезла его в Найроби. Все это время он ничуть не унывал и болтал без умолку. Трудно было поверить, что у человека может быть столько мужества!

Мы редко вспоминаем о том, что Первая мировая война затронула и значительную часть Африканского континента к югу от Сахары. Танганьика (вместе с Руандой и Бурунди) входила тогда в состав Германской Восточной Африки, и в тех краях шли бои, в том числе даже на воде – на озере Танганьика, между немецкими кораблями с одной стороны и британскими и бельгийскими – с другой (восточный берег озера принадлежал Бельгийскому Конго). Писательница Элспет Хаксли в своем поистине великом романе-эпопее о жизни народа кикуйю “Краснокожие пришельцы” описывает Первую мировую глазами этого народа – как непостижимое безумство белых людей, в которое африканцы, к своему ужасу, оказались втянуты. Война была не только чудовищной, но и совершенно бессмысленной, потому что победители в итоге не угнали себе ни коров, ни коз побежденных.

Но не все потрясения того времени были связаны с войнами, текущей или прошедшей.

> Иногда меня отправляли на соседнюю ферму Леннокс-Браунов, до которой я добиралась на принадлежавшей Руби лошади по имени Бонни. Когда я приехала туда впервые, слуга провел меня в большую гостиную и пошел позвать “мемсаиб”. В комнате было темно из-за задернутых ситцевых штор, не пропускавших яркий солнечный свет. Внезапно я поняла, что в гостиной я не одна: на диване, во всю его длину, растянулась огромная львица, зевавшая мне в лицо! Меня просто парализовало. Когда пришла миссис Леннокс-Браун, она шлепком согнала львицу с дивана. Я передала свое послание и поспешила удалиться.

Этот эпизод был недавно зарисован моей мамой по памяти.

> Впоследствии, уже на другой ферме, Ричард и Уильям Уолтер играли с двумя ручными львятами. Размерами и весом они были с крупного взрослого лабрадора (но с короткими лапами). Это были сильные и довольно грубые звери, но Ричарду и Уильяму нравилось с ними играть. Время от времени мы ездили на пикник на холмы Нгонг, по бездорожью, среди невысокой горной травы. Там, наверху, нас ждали прохлада и исключительное великолепие. Но это было очень глупо с нашей стороны, потому что через холмы проходили огромные стада буйволов.

Два следующих моих воспоминания связаны с уколами: первый мне сделал доктор Трим в Кении, а второй (более болезненный) я получил от скорпиона, уже в Ньясаленде. У доктора Трима оказалась подходящая фамилия: по-видимому, именно по его милости мне сделали обрезание[23]. Моего согласия, разумеется, никто не спрашивал, но и моих родителей, похоже, тоже не спросили! Отец был тогда в отъезде, на войне, и ничего не знал об этом, а маме медсестра просто – как об обычной процедуре – сообщила, что мне пора сделать обрезание, вот и все. Судя по всему, в лечебнице доктора Трима эту процедуру производили по умолчанию, как, вероятно, во многих британских больницах того времени. Когда я учился в различных школах-интернатах, обрезанных учеников там было примерно столько же, сколько необрезанных, и мне не удалось найти никакой явной связи этой практики с религией, социальным положением или чем-либо еще. В современной Британии дела обстоят иначе, и Америка, насколько я понимаю, начинает двигаться в том же направлении. В Германии один суд вынес недавно историческое решение, согласно которому обрезание младенцев, даже из религиозных соображений, нарушает права малышей, которые еще не в состоянии давать на это согласие. Это решение, вероятно, будет отменено из-за бурных протестов тех, кто утверждает, что запрещать родителям делать ребенку обрезание значит нарушать их право исповедовать свою религию. Характерно, что права ребенка при этом даже не упоминаются. Религия пользуется в нашем обществе поразительными привилегиями, в которых отказано едва ли не всем другим группам особых интересов – и уж конечно, отказано индивидуумам.

Что до скорпиона, его укол был болезненным упреком мне как юному натуралисту. Я увидел, как он ползет по полу, и ошибочно определил его как ящерицу. Как я мог так ошибиться! Теперь-то я понимаю, что ящерицы и скорпионы нисколько не похожи друг на друга. Я подумал, что будет забавно почувствовать, как “ящерица” пробежит по моей босой ноге, и поставил ногу на пути животного. Следующим, что я помню, была жгучая боль. Я поднял такой крик, что стены задрожали, а потом, кажется, потерял сознание. Мама рассказывает, что на мои крики тут же прибежали трое африканцев. Увидев, что случилось, они по очереди попытались высосать яд у меня из ноги. Этот метод считается действенным против змеиных укусов. Не знаю, помогает ли он тем, кого ужалил скорпион, но я нахожу трогательной эту попытку мне помочь. С тех пор я ужасно боюсь скорпионов: я не взял бы в руки скорпиона даже с отрезанным

жалом. Страшно представить, какие эмоции у меня могли бы вызвать эвриптериды – гигантские морские скорпионы, жившие в палеозойскую эру и достигавшие двух метров в длину.

Меня часто спрашивают, поспособствовало ли проведенное в Африке детство тому, чтобы я стал биологом. Случай со скорпионом – лишь один из фактов, указывающих на то, что правильный ответ – “нет”. Об этом же свидетельствует и еще один случай, о котором мне даже стыдно рассказывать. Однажды львиный прайд завалил добычу неподалеку от дома миссис Уолтер, и кто-то из соседей предложил свозить туда всех обитателей ее дома, чтобы посмотреть, как львы разделывают жертву. Мы подъехали на автомобиле для сафари на расстояние менее десяти метров до того места, где одни львы обгладывали труп, а другие, которые, похоже, уже наелись, просто лежали рядом. Взрослые, сидевшие в машине, были заворожены этим впечатляющим зрелищем. Но мы с Уильямом Уолтером, по рассказам мамы, как ни в чем не бывало расположились на полу автомобиля, полностью поглощенные своими игрушечными машинками, которые мы возили по полу, изображая рев моторов. Несмотря на неоднократные попытки взрослых привлечь наше внимание к удивительному зрелищу, мы нисколько им не заинтересовались.

Судя по всему, я компенсировал недостаток интереса к животному миру избытком общительности. Мама вспоминает, что я отличался исключительным дружелюбием и ничуть не боялся незнакомых людей. Я рано начал говорить и полюбил слова. Кроме того, несмотря на то что я был плохим юным натуралистом, похоже, уже в раннем детстве я проявлял себя как скептик. Когда в 1942 году в доме миссис Уолтер отмечали Рождество, на детский праздник пришел человек по имени Сэм, переодетый Санта-Клаусом, и ему, по-видимому, удалось провести всех остальных детей. Наконец он нас покинул, приговаривая “Хо-хо-хо!”, и все радостно махали ему на прощание. Но как только за ним закрылась дверь, я посмотрел на окружающих и преспокойно заявил, ко всеобщему замешательству: “Вот Сэм и ушел!”

Мой отец вернулся с войны живым и невредимым. Думаю, ему повезло, что пришлось сражаться не с немцами или японцами, а итальянцами, которые к тому времени, возможно, поняли, чего стоит их дуче с его смехотворным тщеславием, и оказались достаточно разумны, чтобы потерять интерес к победе. Джон служил младшим офицером и командовал экипажем броневика в ходе абиссинской и сомалилендской кампаний, а затем, после разгрома итальянцев, для очередной подготовки был

направлен с Восточноафриканским бронеавтомобильным полком на Мадагаскар, откуда ожидал отправки в Бирму. На Мадагаскаре он встретил своего младшего брата Билла, который к тому времени стал майором в полку Сьерра-Леоне и сражался с намного более страшным врагом – японцами. Впоследствии его имя упоминалось в официальных донесениях с фронта. Однако Джона так и не отправили в Бирму: в 1943 году правительство сочло, что специалисты по сельскому хозяйству важнее в тылу, чем на фронте, и мой отец был демобилизован вместе с сотрудниками департамента сельского хозяйства Ньясаленда.

Прочитав радостное известие о папиной демобилизации, Джин пришла в такой восторг, что чуть не попала под машину, перебегая улицу со мной на руках. Она, как обычно, получала письма до востребования в одном из почтовых отделений Найроби. В письме, которое пришло от Джона на этот раз, якобы описывался матч по крикету. Но Джин нисколько не интересовалась крикетом, и Джон это прекрасно знал и никогда не стал бы писать о подобном матче в письмах, – а значит, фрагмент о крикете был зашифрованным посланием. Мои родители договорились использовать в переписке шифр, и отец уже несколько раз прибегал к нему, потому что письма из армии в военное время вскрывались и проверялись цензурой. Шифр был прост: следовало читать только первое слово каждой строчки, не обращая внимания на остальные. И в этом письме первыми словами трех строчек, посвященных крикету, были “*bowler hat soon*” (“шляпа-котелок, скоро”). Письмо, к сожалению, не сохранилось, но содержание зашифрованного фрагмента нетрудно вообразить. Слово *bowler*, по-видимому, относилось к игроку-боулеру, слово *hat* (“шляпа”) отец каким-то образом приплел (возможно, имелась в виду панама арбитра), а слово *soon* (“скоро”) было, вероятно, вставлено в какое-то правдоподобное замечание по поводу матча. Что же это означало? Шляпа-котелок считалась главным атрибутом гражданской одежды – униформы дембеля или штатского. Фраза “шляпа-котелок, скоро” могла означать только одно, и Джин не пришлось долго думать над разгадкой этой шарады: Джона собирались демобилизовать. Это известие, как я уже сказал, привело мою мать в такой восторг, что чуть не стоило нам обоим жизни.

Однако вернуться в Ньясаленд оказалось не так-то просто. Нелегальное прибытие Джин в Кению теперь вышло ей боком. Дандриджи[24] из колониального правительства не могли дать ей визу на выезд из Кении, потому что по официальным данным она никогда туда не въезжала. Вернуться вместе с мужем тем же путем, каким они в свое время прибыли в Кению, она не могла,

потому что на сей раз Джон получил четкий приказ возвращаться вместе с армией: он не считался демобилизованным до прибытия в штаб Ньясалендского батальона на его “родине”. Поэтому моим родителям нужно было уезжать из Кении по отдельности, а Джин не могла уехать из Кении, потому что ее там как бы и не было. Ей пришлось прибегнуть к помощи миссис Уолтер и доктора Трима, чтобы подтвердить факт своего и моего существования соответственно (поскольку кто, как не доктор Трим, который помог мне появиться на свет, мог ручаться, что я действительно существую). В конце концов дело спасло мое свидетельство о рождении, и дандриджи крайне неохотно, но все же завизировали бумаги, разрешавшие Джин выехать из Кении. Мне было два года, когда мы с ней вылетели на маленьком самолете вроде тех, что теперь называют “прыгунами через лужи”[25]. Лужи, через которые мы прыгали, впечатляли: они кишели крокодилами, бегемотами, фламинго и купающимися слонами. Весь наш багаж потеряли, когда мы пересаживались на другой самолет в Северной Родезии (теперешней Замбии), но мои родители вскоре утешились, поскольку наконец получили в Ньясаленде свои вещи, отправленные морем из Англии еще в начале войны и только теперь доставленные по назначению, вероятно, под военным конвоем. Мама с радостью вспоминает об этом событии:

> Все наши полузабытые свадебные подарки – и мои новые платья! Это было потрясающе. К тому же теперь с нами был Ричард, помогавший исследовать содержимое коробок.

Страна Озера

В Ньясаленде наша семья жила такой же кочевой жизнью, как в Кении. Джона и других вернувшихся из армии специалистов по сельскому хозяйству активно использовали для замены местных кадров, работавших без отпусков с начала войны и теперь получивших возможность отдохнуть некоторое время в цветущей и гостеприимной Южной Африке. В итоге моего отца каждые несколько месяцев направляли на новую работу в той или иной части страны. Впрочем, как пишет мама, “нам было весело, а для Джона это был еще и ценный опыт; мы многое повидали в Ньясаленде и пожили во многих интересных домах”.

Из этих домов я лучше всего помню тот, в котором мы жили в поселке Маквапала под горой Мпупу у озера Чилва. Мой отец руководил там сельскохозяйственным колледжем и фермой при тюрьме. Заключенные, работавшие на ферме, судя по всему, пользовались некоторой свободой. Я вспоминаю, что наблюдал за тем, как они играют в футбол своими огрубевшими босыми ногами. В тот же период в больнице города Зомбы родилась моя сестра Сара, и мама вспоминает, что заключенные из Маквапалы, в числе которых были и убийцы, “выстраивались в очередь за разрешением покатать ее в коляске после чая”.

Когда мы только приехали в Маквапалу, нашей семье пришлось некоторое время делить предоставляемое сельскохозяйственному чиновнику служебное жилье с семьей папиного предшественника в этой должности, чей отъезд в Англию задержался на несколько недель. У него было двое сыновей, старший из которых, Дэвид, имел дурную привычку кусать других детей. Мои руки покрылись следами его зубов. Однажды, когда мы пили чай на лужайке возле дома, мой отец застал Дэвида за этим занятием и попытался остановить его, аккуратно поставив ногу между Дэвидом и мной. Мать Дэвида была в ярости. Она прижала своего ребенка к груди и набросилась на моего бедного отца с упреками: “Вы что, совсем ничего не знаете о детской психологии? Всем ведь известно, что, если ребенок кусается, нет ничего хуже, чем прерывать его во время укуса!”

Маквапала была местом жарким и влажным и кишела комарами и змеями. Она располагалась в такой глуши, что туда не было регулярной доставки почты, и у поселка был свой собственный “посыльный”, которого звали Саиди. Его работа состояла в том, чтобы каждый день ездить в Зомбу на велосипеде и привозить оттуда почту. Однажды Саиди уехал и не вернулся.

Как нам стало известно,

> из-за небывалого дождя над горой Зомбой по ущельям на ее крутых склонах хлынули ревущие потоки, толкая перед собой большие куски земли и каменные глыбы. В городе Зомбе не осталось ни улиц, ни мостов, люди оказались заперты в своих домах и машинах, а дорогу на Маквапалу, разумеется, смыло.

Саиди не пострадал, но я всё равно грустил, поскольку погиб один славный человек, некто мистер Ингрэм, разрешавший мне водить его машину, сидя у него на коленях. Его машину смыло потоком в тот самый момент, когда он переезжал через мост. Моя мама писала: “Позже мы узнали от местных жителей, что нечто подобное уже случалось раньше, хотя и не на памяти нынешнего поколения. Такие бедствия вызывает огромное змееподобное существо по имени Ньяполос, которое приползает в долины и рушит все на своем пути”.

Но от самого дождя я был в полном восторге. Я думаю, что мне передалось чувство облегчения, испытываемое жителями засушливых стран “в тот день, когда хлынул дождь”[26]. Мама пишет, что в день вызванного Ньяполосом дождя, который я “по большей части пропустил”, я “скинул с себя одежду и бросился под дождь, крича от радости и прыгая как сумасшедший”. Сильный дождь и по сей день вызывает у меня теплые чувства, но мне больше не нравится мокнуть под ним, – возможно, оттого, что в Англии дожди холоднее.

Именно к периоду жизни в Маквапале относятся мои первые связные воспоминания, а также многие слова и случаи из жизни, записанные моими родителями. Вот две из множества сделанных ими записей:

> Мама, иди посмотри. Я нашел, куда ночь ложится спать, когда светит солнце [27].
>
> Я померил ванну Салли своей линейкой, и получилось семь шиллингов девять пенсов, так что она сильно опоздала принимать ванну.

Как и все маленькие дети, я был поглощен возможностью изображать из себя кого-то или что-то другое.

> Нет, я думаю, я буду педаль газа.
>
> Теперь перестань быть морской мамой.
>
> Я буду ангелом, а ты, мама, – мистером Наем. Ты говори: “Доброе утро, ангел”. Но ангелы не говорят, они

только хрюкают. Теперь ангел будет спать. Они всегда засыпают с головой под ногами.

Мне нравилось также метапритворство второго порядка, когда я изображал кого-то, кто изображает еще кого-то или что-то.

Мама, давай я буду мальчик, который делает вид, что он Ричард.

Мама, я сова, которая водяное колесо.

Недалеко от нашего дома было водяное колесо, которое не давало мне покоя. В три года я попытался объяснить, как сделать водяное колесо:

Привязать немного веревки вокруг палок, и чтобы рядом была канава и в ней очень быстрая вода. Потом взять немного дерева и надеть на него немного жестянки как ручку, и чтобы через нее текла вода. Потом взять кирпичей, чтобы вода побежала вниз, и немного дерева и сделать его круглым, и сделать, чтобы из него много всего торчало, а потом надеть его на длинную палку, и получится водяное колесо, и оно крутится в воде и громко делает ПЛЮХ-ПЛЮХ-ПЛЮХ.

А вот порядок притворства, наверное, нулевой, потому что и моей маме, и мне нужно было изображать самих себя:

Теперь давай ты будешь мама, а я буду Ричард, и мы поедем в Лондон на этом гарримоторе[28].

В феврале 1945 года, когда мне было почти четыре, мои родители записали, что я “ни разу не нарисовал ничего узнаваемого”. Это наверняка огорчало мою художественно одаренную маму, которая в 16 лет проиллюстрировала книгу, а впоследствии училась в художественной школе. Я так и остался исключительно бездарным во всем, что касается изобразительного искусства, и даже ценить его не умею. Совсем другое дело – музыка, а также поэзия. Стихи нередко доводят меня до слез, музыка – тоже (хотя и немного реже), например медленная часть струнного квинтета Шуберта и некоторые песни Джуди Коллинз и Джоан Баэз. Судя по записям родителей, я рано увлекся ритмикой речи. Например, они подслушали, как однажды в Маквапале, вместо того чтобы спать после обеда, я лежал и декламировал:

Ветер летит,
Ветер летит,
Дождик идет,
Холод приходит,
Дождик, дождик
Идет каждый день,
Потому что листва,
Дождик листвы…

Похоже, я постоянно говорил сам с собой или напевал сам себе, часто какую-нибудь ритмичную бессмыслицу.

Черный кораблик по морю летел,
Черный кораблик по ветру летел,
Где-то по морю внизу,
Черный кораблик на поле внизу,
Черный на поле кораблик внизу,
Поле на море внизу,
Поле на море, и море внизу,
Черный кораблик, поле внизу,
Поле на море, море внизу…

По-видимому, многие маленькие дети произносят подобные монологи и экспериментируют с размерами и перестановкой порой не вполне понятных слов. В автобиографии Бертрана Рассела приведен очень похожий пример. Однажды он подслушал, как его двухлетняя дочь говорит сама с собой:

Северный ветер на Северный полюс.
Ромашки упали в траву.
Ветер сдул колокольчик.
Северный ветер дует на южный.

Следующий мой монолог – искаженная аллюзия на Эзру Паунда, которого мои родители, должно быть, читали вслух[29]:

Аскари упал со страуса
Под дождем.
Пойте: “Черт с восьми!”
И что же было страусу?
Пойте: “Черт с восьми!”

Согласно записям родителей, я знал наизусть много песен и исполнял их, изображая из себя граммофон. Я никогда не перевирал мелодию, но иногда добавлял от себя “шуточки”, например изображал заедающую пластинку, раз за разом повторяя одно и тоже слово, пока “иглу” (мой палец) не сталкивали с поврежденной канавки. У нас был заводной переносной граммофон, в точности такой же, что увековечен Фландерсом и Сванном в “Песне о воспроизведении”:

Был граммофончик у меня,
Я ручку в нем вертел,
Скрипел он остренькой иглой
И очень мило пел.
Потом усилили его,
И он погромче стал,
Теперь из дерева игла,
Чтоб слишком не орал.

Что характерно, мой отец не покупал деревянные иглы, а делал их сам из шипиков, которыми заканчиваются листья сизалевой агавы.

Некоторые из исполняемых мною песен я выучивал, слушая пластинки, некоторые, вроде процитированной выше, были моими собственными невразумительными импровизациями, а некоторые я узнавал от родителей. Моим родителям, особенно отцу, нравилось учить меня абсурдным песенкам, многие из которых он узнал от собственного отца, и мы провели не один вечер, распевая такие шедевры, как “У Мэри был козел Вильям”, “Хай-хо, Катусалима, краса Ерусалима” или “Хоки-поки-винки-фам” – песенку, которую, как мне рассказывали, мой прадедушка Смитис напевал каждый раз, когда завязывал шнурки – и только тогда. Однажды я потерялся на пляже на берегу озера Ньяса, и родители довольно скоро обнаружили меня сидящим между двумя старушками, отдыхавшими в пляжных креслах, и развлекающим их песней про Гордули[30] – любимой кричалкой моих отца и деда, которую студенты Баллиола распевают с 1896 года как издевательскую серенаду под стенами соседнего Тринити-колледжа:

Горду-у-у-ули!
Лицо его как зад –
Боб Джонсон[31] нам сказал,
А он-то точно знал!
Чертов Тринити! Чертов Тринити!

Да будь я сам из Тринити,
Тогда, тогда
Пошел бы я в уборную,
Пошел, пошел,
Нажал на смыв и смылся бы!
Вот так! Вот так!
Чертов Тринити! Чертов Тринити!

Поэзии тут не много, и обычно эту песню не поют трезвыми, но мне интересно было бы узнать, что о ней подумали старушки. Моя мама говорит, что, хотя они и были миссионерками, похоже, песня им понравилась. Кстати, когда в 1959 году я сам поступил в Баллиол, то обнаружил, что мелодия этой песни изменилась к худшему, потеряв одну тонкость в результате разрушительной меметической мутации, случившейся за те 22 года, что прошли после окончания колледжа моим отцом.

Я регулярно пользовался своим умением изображать граммофон, когда пытался хитрить, чтобы подольше не ложиться спать: у граммофона кончался завод, песня звучала все медленнее (а мой голос делался низким и скрипучим), и меня требовалось “подзавести”. Электричества у нас в доме не было, и нам действительно приходилось подзаводить граммофон через определенные промежутки времени, когда мы слушали пластинки из коллекции моего отца. В основном это были записи Поля Робсона, которого я обожаю и по сей день, а также другого великого баса, Федора Шаляпина, исполнявшего на немецком песню “Том-рифмач” (мне бы очень хотелось снова раздобыть эту запись, но iTunes меня пока подводит), и разная оркестровая музыка, в том числе “Симфонические вариации” Сезара Франка, которые я называл “Капли воды”, – видимо, мне их напоминала партия фортепиано.

Электричества не было во многих домах, где мы жили, поэтому они освещались калильными лампами. Вначале такую лампу нужно было разжигать денатуратом, чтобы разогреть кожух, а затем накачивать парами керосина, после чего она могла гореть весь вечер, приятно шипя. Ватерклозета в большинстве наших пристанищ в Ньясаленде тоже не было, и туалеты в основном были засыпные, а иногда классические “удобства во дворе” – домик с дыркой в земле. Но в остальном мы жили просто шикарно. У нас всегда был повар, садовник и несколько других слуг (причем слуг мы называли словом “бой” – мне стыдно в этом признаться), среди которых главным был Али, ставший моим постоянным спутником и другом. Чай мы пили в саду на лужайке.

У нас был красивый набор серебряной посуды: заварочный чайник, кувшин для горячей воды и молочник, который накрывали изящной муслиновой салфеткой, утяжеленной пришитыми по краям раковинами береговых улиток. Чаевничали мы с шотландскими оладьями, которые и по сей день вызывают у меня наплыв радостных воспоминаний, как мадленки у Пруста[32].

Когда отец брал отпуск, мы ездили отдыхать на песчаные пляжи озера Ньяса. Это озеро так велико, что кажется морем: другой его берег теряется за горизонтом. Мы останавливались в приятной гостинице, где роль номеров играли пляжные домики. Один из отпусков отца мы провели в съемном домике, стоявшем высоко на горе Зомбе. Там со мной произошел один случай, показывающий, что тогда я был слишком легковерен (хотя история с Санта-Клаусом как будто свидетельствует об обратном). Я играл в прятки с одним дружелюбным африканцем. Не обнаружив его в одной хижине, через некоторое время я снова заглянул в нее, и на этот раз он был там, хотя я был уверен, что в прошлый раз хорошо ее осмотрел. Он поклялся, что все время сидел в этой хижине, но на время сделался невидимым, и я ему поверил. Как ни очевидно мне теперь, что он говорил неправду, тогда это объяснение показалось мне самым правдоподобным. Я невольно задаюсь вопросом, есть ли педагогические оправдания тому, что детей пичкают сказками, в которых полно чудес и волшебства, в том числе людей-невидимок. Но стоит мне высказать эту мысль, как на меня набрасываются с обвинениями, что я пытаюсь отнять у детей волшебство детства. Кажется, я не рассказал своим родителям об этом случае на горе Зомбе, но, думаю, мне бы понравилось, если бы они изложили мне суть того, что писал о чудесах шотландский философ Дэвид Юм, и спросили, что больше похоже на чудо – возможность обмана взрослым человеком легковерного ребенка с целью удивить того или возможность действительно сделаться невидимым. Как ты теперь думаешь, малыш, что на самом деле случилось в той хижине на горе Зомбе, одиноко возвышающейся над равниной?

Вот еще один пример моей детской легковерности: чтобы я меньше расстраивался по поводу смерти домашних животных, кто-то сказал мне, что когда они умирают, то попадают в свой собственный рай – “страну счастливой охоты”, и я поверил, даже не задумавшись о том, рай ли это и для жертв, на которых там охотятся. Однажды в Маллионе я увидел собаку и спросил кого-то, чья она. В ответ мне послышалось что-то вроде: “Собака миссис Лэднер вернулась”. Я знал, что у моей бабушки была собака по кличке Сэффрон, которая умерла задолго до моего

рождения, и сразу решил (удивившись, но не настолько, чтобы попытаться разобраться), что это действительно Сэффрон, на какое-то время вернувшаяся из “страны счастливой охоты”.

Почему родители считают своим долгом поддерживать в детях легковерие? Так ли уж плохо задать ребенку, верящему в Санта-Клауса, несколько интересных наводящих вопросов? Сколько каминных труб ему пришлось бы облететь, чтобы разнести подарки всем детям на свете? С какой скоростью пришлось бы летать его оленям, чтобы он справился с этой задачей за одну ночь? Незачем говорить детям открытым текстом, что Санта-Клауса не существует. Можно просто поощрять в них похвальную привычку сомневаться и задавать вопросы.

В военное время, за тысячи миль от родственников и больших магазинов, я не так уж много мог получать подарков на Рождество и дни рождения, но мои родители компенсировали их немногочисленность оригинальностью. Мама как-то сшила потрясающего плюшевого мишку размером с меня самого, а отец находил применение своей изобретательности, изготавливая для меня различные игрушки. Однажды это был грузовик, у которого под капотом имелась одна, зато настоящая свеча зажигания (огромная для игрушечной машины, но это несоответствие меня только радовало). Когда мне было года четыре, я был от этого грузовика без ума. В записях родителей отмечено, что я любил делать вид, будто “машина сломалась”, после чего производил ремонт, объявляя, что именно я делаю:

Заделываю прокол.
Стираю воду с брамтлёра (трамблёра).
Чиню аккумулятор.
Заливаю воду в радиатор.
Подправляю карбюратор.
Вытягиваю подсос.
Пытаюсь включить по-другому.
Чиню зажигание.
Правильно вставляю запасные аккумуляторы.
Подливаю масла в двигатель.
Проверяю, в порядке ли рулевое управление.
Заправляю машину.
Даю двигателю остыть.
Переворачиваю и смотрю снизу.
Проверяю щелчки, коротя концы [33].
Меняю рессору.
Чиню тормоза.
И т. д.

> Каждая из этих операций сопровождается соответствующими движениями и звуками, после чего раздается звук стартера, и двигатель может завестись (но обычно не заводится).

В 1946 году, на следующий год после окончания войны, мы смогли съездить в отпуск “домой”, то есть в Англию (Англия всегда была для меня “домом”, хотя я ни разу там не был; мне доводилось встречать новозеландцев во втором поколении, которые тоже следовали этой ностальгической традиции). Мы поехали в Кейптаун поездом, чтобы сесть на корабль “Владычица Шотландии” (а я думал, что “Владычиста”) и добраться на нем до Ливерпуля. У южноафриканских поездов между вагонами были открытые мостки с перилами, как на корабле, через которые можно было перегнуться и смотреть на проносящийся мимо мир, ловя хлопья пепла, летящие из трубы жутко дымившего паровоза. Однако эти перила, в отличие от перил на корабле, были устроены так, чтобы телескопически удлиняться или укорачиваться на поворотах. Эта система была просто создана для несчастного случая, и он действительно произошел. Я перекинул левую руку через перила и не заметил, что поезд начал поворачивать. Кожа моей руки оказалась зажата между трубками перил, одна из которых углубилась в другую, а родители ничего не могли сделать и вынуждены были в ужасе ждать, пока долгий поворот закончится и перила снова выпрямятся. На следующей станции, в Мафекинге, поезд задержали, чтобы доставить меня в больницу и зашить рану на руке. Надеюсь, что другие пассажиры не злились на меня из-за этой задержки. Шрам от той раны остался у меня по сей день.

Когда мы наконец добрались до Кейптауна, оказалось, что “Владычица Шотландии” – корабль очень мрачный. Его переделали в пассажирское судно из средства для перевозки солдат. Вместо кают там были похожие на темницы общие спальни с тремя рядами коек. Одни спальни были для мужчин, другие – для женщин и детей. Места было так мало, что даже переодеваться приходилось по очереди. В женской спальне, как записано в дневнике моей мамы…

> …было много маленьких детей и царил настоящий бедлам. Мы одевали их и передавали у двери отцам, которые выстраивались в длинную очередь, чтобы забрать собственного ребенка, после чего шли занимать очередь на завтрак. Ричарду приходилось регулярно ходить к корабельному врачу на перевязку, и, конечно, на середине нашего трехнедельного путешествия у меня

начался приступ малярии. Нас с Сарой пришлось перевести в корабельный лазарет, а бедный Ричард остался один в нашей кошмарной спальне, и ни мне, ни Джону не разрешили его забрать. Это было жестоко.

По-моему, мы не до конца понимали, каким тяжелым испытанием это путешествие было для Ричарда. И как долго могли ощущаться последствия того ужасного опыта, из-за которого он должен был лишиться чувства защищенности. К тому времени, как мы добрались до Англии, он превратился в очень грустного маленького мальчика и утратил всю свою живость. Когда мы смотрели с корабля сквозь завесу дождя на ливерпульскую гавань и ждали возможности сойти на берег, он с удивлением спросил: “Так это и есть Англия?” И тут же добавил: “Когда мы поедем обратно?”

Мы поехали к моим дедушке и бабушке по отцовской линии в их дом Хоппет в графстве Эссекс, где…

…в феврале был жуткий холод и спартанские условия. Ричард совсем потерял уверенность в себе и начал заикаться. Бóльшую часть жизни ему приходилось носить очень мало одежды, и теперь пуговицы и шнурки ставили его в тупик, а дедушка и бабушка считали его отсталым ребенком: “Он что, еще не умеет сам одеваться?” Ни у нас, ни у них не было книг по детской психологии, и, когда они попытались приучить Ричарда к какой-никакой дисциплине, он сделался очень замкнутым и немного заторможенным. В Хоппете было заведено, что, когда ребенок спускается к завтраку, он должен говорить “доброе утро”, и если он забывал это сказать, его заставляли выйти и снова войти, до тех пор пока он не сделает все как надо. В итоге его заикание только усилилось, и нам всем было невесело. Теперь мне стыдно, что мы позволяли дедушке и бабушке вести себя подобным образом.

С дедушкой и бабушкой по материнской линии, жившими в Корнуолле, дела обстояли не намного лучше. Почти вся еда мне не нравилась, и, когда дедушка с бабушкой заставляли меня ее есть, я устраивал истерики, доводившие меня до рвоты. Хуже всего были отвратительные водянистые кабачки, от которых меня действительно рвало прямо за столом. Думаю, все вздохнули с облегчением, когда нам пришла пора уезжать в Саутгемптон, чтобы на корабле “Замок Карнарвон” отплыть в Кейптаун, откуда

мы вернулись в Ньясаленд – но не в Маквапалу в южной части страны, а в район города Лилонгве в центральной ее части. Там мой отец работал вначале на сельскохозяйственной научно-исследовательской станции в поселке Ликуни, а затем в самом Лилонгве. Теперь Лилонгве – столица Малави, тогда же это был небольшой провинциальный городок.

И с Ликуни, и с Лилонгве у меня связаны счастливые воспоминания. К шести годам я сильно увлекся естественными науками: помню, как в Ликуни донимал свою бедную сестренку в нашей общей спальне рассказами о Марсе, Венере и других планетах, расстоянии от каждой из них до Земли и вероятностях того, что на них есть жизнь. Ликунский воздух был абсолютно прозрачным, и я, когда стемнеет, обожал смотреть на звезды. Вечера были для меня временем волшебного чувства покоя и защищенности и ассоциировались с церковным гимном Бэринга-Гулда:

> Вот и день окончен,
> Подступает ночь.
> Солнце закатилось
> И уходит прочь.
> Робко смотрят звезды
> С темной высоты.
> Засыпают птицы,
> Звери и цветы.

Не знаю, откуда я мог узнать церковный гимн: в Африке мы никогда не ходили в церковь (хотя в Англии, когда жили у дедушек и бабушек, все же ходили). Наверное, меня научили этому гимну родители. Вероятно, от них же я узнал и другой гимн: “Есть друг у малых деток в небесной вышине…”

Именно в Ликуни я впервые заметил и заинтересовался тем, как на закате удлиняются тени, в то время не вызывавшие у меня никаких зловещих предчувствий, в отличие от Элиота, писавшего про “тень твою, тебя встречающую на закате”[34]. Когда я слышу ноктюрны Шопена, я всякий раз живо вспоминаю Ликуни и уютное чувство полной безопасности, возникавшее у меня вечерами, когда “робко смотрят звезды”.

На ночь отец рассказывал нам с Сарой замечательные сказки, которые сам придумывал. Во многих из них фигурировал “бронкозавр”, который высоким фальцетом говорил “тили-тили-бом” и жил далеко-далеко в стране под названием Гонвонки (на что была эта аллюзия, я понял только в колледже, когда узнал про Гондвану – южный суперконтинент, распавшийся на Африку,

Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, Антарктиду, Индию и Мадагаскар). Нам очень нравилось смотреть в темноте на светящийся циферблат наручных часов отца, а он рисовал нам на запястьях часы перьевой авторучкой, якобы чтобы мы могли следить за временем ночью, лежа в своих уютных постелях под противокомариными сетками.

С Лилонгве у меня тоже связаны драгоценные воспоминания детства. Служебный дом районного сельскохозяйственного чиновника утопал в густых зарослях бугенвиллеи. В саду во множестве росли настурции, и я обожал есть их листья. Их неповторимый островатый вкус, который теперь иногда встречается мне в салатах, – еще один мой личный аналог мадленок Пруста.

В точно таком же соседнем доме жила семья врача. У доктора и миссис Глинн был сын Дэвид, мой ровесник, с которым мы играли каждый день – или у него дома, или у меня, или где-то в окрестности. Мы находили в песке синевато-черные гранулы, видимо, железные, потому что собирали их магнитом, который таскали по песку за веревочку. Мы строили на веранде из ковриков, циновок и одеял, уложенных на перевернутые стулья и столы, “домики” с комнатами и коридорами и даже проводили в эти “домики” водопровод, трубы которого делали из соединенных полых стеблей дерева, росшего в саду. Возможно, это была цекропия, но мы называли ее “ревень”, – вероятно, потому, что любили распевать песенку (на мотив “Коричневого кувшинчика”[35]):

> Ха-ха-ха, вот те на,
> В ревене гнездо слона.

Мы ловили бабочек, в основном черно-желтых парусников. Теперь я понимаю, что это были, по-видимому, разные виды рода *Papilio,* но мы с Дэвидом не умели их различать и называли всех “рождественский папа”. Дэвид утверждал, что они на самом деле так называются, хотя это было и нелогично, учитывая их черно-желтую окраску.

Отец поощрял мое увлечение бабочками и сделал для меня коробку, в которую можно было помещать наколотых бабочек. Дно этой коробки было из сизаля, а не из пробки, которую предпочитают профессионалы. Коробки с пробковым дном использовал и мой дедушка Докинз, тоже коллекционер бабочек. Дедушка и бабушка однажды приехали к нам в гости. Они решили совершить большой тур по всей Восточной Африке и навестить своих сыновей одного за другим. Вначале заехали в

Уганду к Кольеру, а затем отправились к нам в Ньясаленд, через Танганьику. Моя мама вспоминает, что они ехали…

> …на нескольких чудовищно некомфортабельных местных автобусах, куда набивались толпы африканцев, перевозивших несчастных кур со связанными ногами и огромные тюки всевозможных товаров. Но дальше Мбеи [36] никакой транспорт не ходил. Некий молодой человек, у которого был небольшой легкий самолет, предложил довезти их до Ньясаленда. Они вылетели из Мбеи, но погода испортилась, и пришлось вернуться. Все это время мы не получали от путешественников никаких известий. Когда погода наладилась, была предпринята еще одна попытка. Самолет летел так низко, что Тони [37] мог, высовываясь наружу, разбираться по старой карте, над какими реками и дорогами они пролетали, и давать указания пилоту.

У дедушки была склонность к авантюризму, и здесь он оказался в своей стихии. К тому же он страстно любил карты, а также расписания поездов, которые знал наизусть. В глубокой старости он не читал ничего, кроме них.

> Когда в Лилонгве прилетал самолет, все узнавали об этом минут за десять до его прибытия. Дело в том, что одна местная семья держала у себя в саду венценосных журавлей, которые слышали шум приближающегося самолета задолго до того, как его могли расслышать люди, и принимались громко кричать. Никто не знал, кричат ли они от страха или от радости! Однажды журавли подняли крик в тот день, когда прибытие еженедельно прилетавшего самолета не ожидалось, и мы подумали, что это могут быть дедушка и бабушка. Мы отправились на летное поле вместе с Ричардом и Дэвидом, которые поехали на своих трехколесных велосипедах. Когда мы добрались до летного поля, то как раз увидели прибытие крошечного самолета, который дважды облетел вокруг города, после чего приземлился, сильно подпрыгивая, и из него вылезли бабушка и дедушка.

Никаких авиадиспетчеров, только венценосные журавли!

> В Лилонгве в нас как-то раз попала молния. Однажды вечером пришла сильная гроза. Было очень

> темно. Дети ужинали под противокомариными сетками в своих деревянных кроватках, а я читала, сидя на полу и прислонившись к нашему так называемому дивану (сделанному из старой металлической кровати). Внезапно я почувствовала, будто меня ударили кувалдой по голове, и распласталась по полу. То был мощный прицельный удар. Мы увидели, что загорелись радиоантенна и одна из занавесок, и бросились в детскую проверить, все ли в порядке с детьми. Они ничуть не пострадали и продолжали со скучающим видом грызть кукурузные початки!

История умалчивает, потушили мои родители занавеску до или после того, как бросились в нашу с сестрой комнату, чтобы проверить, не случилось ли чего с нами. Далее мама пишет в своих воспоминаниях:

> У меня был длинный красный ожог на том боку, которым я прислонялась к металлической кровати. Позже мы обнаружили и другие странные вещи. Такие, например, как кусок бетонного пола, вырванный из него и заброшенный на крышу гаража! У повара нож сам вылетел из руки и подкосились ноги, веревка для сушки белья расплавилась, стекла в гостиной оказались забрызганы расплавленным металлом радиоантенны, которая просто исчезла, и т. д. Мы уже не всё помним, но последствия были впечатляющими.

Мои воспоминания об этом событии довольно смутные, но мне интересно, действительно ли нож сам вылетел из руки повара, или же это повар отбросил его в страхе (как сделал бы я на его месте). Я помню разноцветные пятна, оставленные на окнах какими-то брызгами, и помню сам момент удара молнии, когда вместо обычных раскатов грома (которые по большей части состоят из эха) раздался один необычайно громкий хлопок. Он должен был сопровождаться очень яркой вспышкой, но я этого не помню.

> К счастью, мы не начали бояться грозы после этого случая и не раз за годы жизни в Африке наслаждались зрелищами великолепных гроз. Это было очень красиво: черные силуэты гор на фоне сверкающего неба под звуки большого оперного оркестра из раскатов грома, порой почти непрерывных.

В Лилонгве мы купили нашу первую совсем новую машину, джип-универсал “виллис” под названием “Ползучая Дженни”, сменившую наш старый “Стандард-12” по имени “Бетти Тернер”. Я с ностальгическим чувством вспоминаю восхитительный запах новой машины, исходивший от “Ползучей Дженни”. Отец объяснил нам с Сарой, в чем преимущества этой машины перед другими. Мне особенно запомнились плоские крылья над передними колесами: папа сказал нам, что они сделаны специально для того, чтобы использовать их в качестве столиков на пикниках.

Когда мне было пять лет, меня отдали в маленький детский сад нашей соседки миссис Милн, состоявший всего из одной комнаты. Миссис Милн не могла ничему меня научить, потому что все остальные дети еще только учились читать, а я уже умел благодаря маме, поэтому миссис Милн сажала меня отдельно и давала мне “взрослую” книгу, которую я должен был штудировать. Эта книга была для меня слишком взрослой, и, хотя я честно заставлял себя просматривать каждое слово, бóльшую часть я не понимал. Я помню, как спрашивал миссис Милн, что значит “пытливый”, но когда она была занята другими детьми, то не могла часто отвечать на мои вопросы. Так что в итоге я…

> …стал учиться вместе с Дэвидом Глинном, сыном доктора, которому давала уроки его мать. Оба мальчика были умны и сообразительны и, вероятно, многому научились. Потом они с Дэвидом оба пошли в школу Орла.

Орел в горах

Школа Орла была совсем недавно основанной школой-интернатом. Она располагалась в хвойном лесу высоко в горах Вумба неподалеку от границы с Мозамбиком в Южной Родезии (теперь это Зимбабве, страна с отвратительным диктаторским режимом). Я пишу об этой школе в прошедшем времени, потому что ее закрыли в ходе конфликтов, обрушившихся с тех пор на несчастную страну. Основал интернат Фрэнк (Танк) Кэри, бывший заведующий пансионом школы Дракона в Оксфорде – кажется, самой большой и, возможно, лучшей приготовительной школы в Англии, отличающейся замечательным духом любви к приключениям и могущей похвастаться впечатляющим списком выдающихся выпускников. Танк решил поехать за удачей в Африку и основал школу, ставшую достойной продолжательницей традиций школы Дракона. У нашего интерната были тот же девиз ("*Arduus ad solem*" – цитата из Вергилия) и тот же гимн, исполнявшийся на мелодию Артура Салливана к церковному гимну "Вперед, Христово воинство": "*Arduus ad solem* – стремленье к солнцу ввысь…" Танк посетил нашу семью в Лилонгве в ходе своей поездки в Ньясаленд, целью которой было убедить родителей отдать детей в его школу. Моим родителям он понравился, и они решили, что школа Орла мне подходит. То же самое решили доктор и миссис Глинн про Дэвида, и нас с ним вместе отправили туда учиться.

Я помню школу Орла смутно. Кажется, я проучился там всего два семестра, первый из которых был вторым семестром в истории школы. Среди моих воспоминаний – присутствие на ее официальном открытии, так называемом Дне открытия, о котором до этого много говорили. Меня удивляло название этого мероприятия, потому что я думал, будто это аллюзия на гимн "Наш Бог – прибежище в веках…"[38]

> Исчезнут времени сыны,
> Поток его кляня,
> И все забудутся, как сны
> Умрут с *открытьем дня.*

Когда я учился в школе Орла, церковные гимны вообще производили на меня большое впечатление, даже "Борись за правые дела…"[39], исполнявшийся на невообразимо тоскливый мотив, больше подходящий, чтобы дремать, нежели бороться.

Всем родителям было велено снабдить своих сыновей Библией. Мои родители почему-то выдали мне “Детскую Библию”, а это было совсем не то, и я чувствовал себя немного изгоем, “не таким, как все”. В частности, она не была разделена на главы и стихи, и я воспринимал это как ужасную неполноценность. Меня так увлек библейский способ разделения прозаического текста для удобства ссылок, что я прошелся и по нескольким своим обычным книжкам, разделив их на пронумерованные “стихи”. Мне недавно довелось ознакомиться с “Книгой Мормона”, сфабрикованной в XIX веке шарлатаном по фамилии Смит, и я полагаю, что его, должно быть, подобным же образом увлекла “Библия короля Якова”, так что он не только разделил свою книгу на стихи, но и имитировал при ее написании стилистику английского языка XVI века. Кстати, для меня загадка, почему из-за одного этого факта его книгу сразу не разоблачили как подделку. Или его современники думали, будто Библия была исходно написана английским языком Тиндейла и Кранмера?[40] Как язвительно заметил Марк Твен, если убрать из “Книги Мормона” все повторения фразы “И случилось так”, от нее остался бы просто памфлет.

Моей любимой книгой в ту пору была “История доктора Дулиттла” Хью Лофтинга, которую я обнаружил в школьной библиотеке. Теперь ее нередко исключают из библиотек за расизм, и нетрудно понять почему. Принц Бампо из племени Джоллиджинки, с головой ушедший в мир сказок, страстно желает стать таким принцем, в каких превращаются заколдованные лягушки или какие влюбляются в Золушек. Опасаясь, что его черное лицо испугает любую Спящую красавицу, которую ему доведется пробудить своим поцелуем, он упрашивает доктора Дулиттла отбелить ему физиономию. Легко понять, что эта книга, ничем не примечательная и ничуть не скандальная для 1920 года, когда она была опубликована, пришла в противоречие с меняющимся духом времени конца XX века. И все же, если говорить о моральных уроках, которые можно извлечь из замечательных книг Лофтинга о докторе Дулиттле, лучшей из которых я считаю “Почту доктора Дулиттла”, встречающийся в них налет расизма с лихвой искупается намного более выраженным антиспециесизмом[41].

Помимо гимна и девиза школа Орла переняла у школы Дракона обычай называть учителей по прозвищу или имени. Директора мы все называли Танк, даже когда он нас наказывал. В то время я думал, что имелся в виду *water tank* – бак с водой на крыше дома, но теперь понимаю, что на самом деле это прозвище наверняка означало бронемашину, способную безостановочно

ехать, не разбирая дороги. По-видимому, в годы работы в школе Дракона мистер Кэри приобрел репутацию человека настойчивого и упорного, движущегося к цели напролом, невзирая на преграды. Другими учителями были Клод (тоже работавший ранее в школе Дракона), Дик (в чьи обязанности входила почетная миссия раздачи драгоценных порций шоколада во время нашего дневного отдыха по средам) и Пол – склонный к черному юмору венгр, преподававший французский. Миссис Уотсон, которая учила самых маленьких мальчиков, называлась Уотти, а заведующая хозяйством мисс Копплстоун – Копперс.

Я не могу сказать, что это была счастливая пора моей жизни, но, вероятно, я был счастлив ровно настолько, насколько это возможно для семилетнего мальчика, вынужденного три месяца жить вдали от дома. Мучительнее всего была фантазия, приходившая мне в голову чуть ли не каждое утро, когда Копперс тихо обходила спальни еще до подъема: я воображал, что она каким-то волшебным образом превратится в мою маму. Я постоянно молился, чтобы это случилось. У Копперс были темные вьющиеся волосы, как у моей мамы, и по своей детской наивности я думал, что превращение одной в другую будет не таким уж большим чудом. И я был уверен, что другим мальчикам моя мама понравится не меньше, чем нам всем нравилась Копперс.

Копперс была добра и заботилась о нас по-матерински. Мне приятно думать, что характеристика, которую она дала мне по окончании первого семестра, была написана не без теплоты. Копперс писала, что у меня “только три скорости: медленно, очень медленно и стоп”. Однажды она меня сильно напугала, совершенно непреднамеренно. Дело в том, что когда-то я увидел африканца с невидящими белыми глазами, похожими на белки крутых яиц, и с тех пор панически боялся ослепнуть. Меня тревожила мысль, что я сам могу в один прекрасный день полностью лишиться зрения или слуха. После долгих мучительных раздумий я решил, что это почти одинаково страшно, но все же нет ничего хуже, чем ослепнуть. Школа Орла была настолько современной, что там был даже электрический свет от своего собственного генератора. Как-то вечером, когда Копперс разговаривала с нами в спальне, этот генератор, судя по всему, заглох. Свет постепенно сошел на нет, стало совсем темно, и я спросил дрожащим голосом: “Это что, свет погас?” “О нет, – ответила Копперс с легким сарказмом, – это, наверное, ты ослеп”. Бедная Копперс, конечно, и не думала, какое впечатление на меня произведут ее слова.

Еще я панически боялся привидений, которых представлял себе в виде совершенно целых гремящих костями скелетов с

зияющими глазницами, с огромной скоростью бегущих мне навстречу по длинным коридорам и вооруженных мотыгами, которыми они ударяют меня с потрясающей точностью в большой палец ноги. Были у меня и другие странные фантазии, например о том, как меня жарят и едят. Понятия не имею, откуда я брал эти жуткие образы. Определенно не из книг, которые читал, и уж тем более не из рассказов родителей. Возможно, их истоком были страшные истории, которые другие мальчики рассказывали перед сном. В моей следующей школе точно были любители подобных рассказов.

Именно в школе Орла я впервые наблюдал безграничную детскую жестокость. Меня самого, к счастью, не унижали, но с нами учился мальчик, которого называли Тетушка Пегги и беспощадно травили, кажется, только за то, что у него было это нелепое прозвище. Эти издевательства выглядели как сцены из "Повелителя мух"[42]: вокруг него водили хороводы десятки мальчишек, монотонно напевавших на мотив из какой-то игры: "Тетушка Пегги, Тетушка Пегги, Тетушка Пегги…" Бедного ребенка это приводило в бешенство, и он отчаянно бросался на своих мучителей с кулаками. Однажды у него была серьезная и долгая драка с мальчиком по имени Роджер, перед которым мы все трепетали, потому что ему было уже двенадцать. А мы все стояли, окружив катающихся по земле драчунов, и смотрели. Симпатии толпы были на стороне задиры, парня красивого и спортивного, а вовсе не на стороне жертвы. Мне стыдно вспоминать этот случай, хотя подобные стычки весьма часто происходят между школьниками. В конце концов, но отнюдь не сразу, Танк положил конец этой массовой травле и однажды утром на общем сборе вынес нам строгое предупреждение.

Перед сном мы должны были вставать на колени в своих кроватях, расположенных изголовьями к стене, и один из нас (в зависимости от того, на кого выпадала очередь) произносил вечернюю молитву:

> Молим тебя, о Господи, даруй нам свет во тьме и своею великой милостью защити нас от всех угроз и опасностей этой ночи. Аминь.

Мы никогда не видели этот текст написанным и плохо понимали его смысл. Каждый вечер мы повторяли его друг за другом, как попугаи, и в результате слова молитвы постепенно эволюционировали, превращаясь в невнятную бессмыслицу. Это могло бы стать основой интересного эксперимента из области теории мемов (если вам вообще интересны подобные вещи; в противном случае можете просто перейти к следующему

абзацу). Понимай мы слова этой молитвы, мы бы их не искажали, потому что их смысл имел бы “нормализующий” эффект, похожий на репарацию ошибочно спаренных нуклеотидов при копировании генетической информации. Именно подобная нормализация и позволяет мемам сохраняться на протяжении многих “поколений” (если развивать аналогию с генами). Но, поскольку многие слова молитвы были нам плохо знакомы, мы могли только воспроизводить их звучание на слух, в результате чего при передаче “из поколения в поколение” (от одного мальчика к другому) с очень высокой частотой происходили “мутации”. Я думаю, что было бы интересно изучить этот эффект экспериментально, но пока еще не собрался это сделать.

Часто случалось, что один из учителей, обычно Танк или Дик, запевал, а мы подхватывали хором. Мы пели, в частности, “Кэмптаунские скачки”[43], а также вот такую песенку:

> Вот шесть пенсов, славные шесть пенсов,
> Столько навеки хватит мне,
> Два я в долг дам, два потрачу,
> Два же отнесу домой жене.

А в песенке, приведенной ниже, нас учили произносить букву *R* в слове *birds* (“птицы”); в то время я не понимал, зачем это надо, но дело было, наверное, в том, что песенка считалась американской[44]:

> Сидим мы все, как птицы на деревьях,
> Сидим как птицы,
> Сидим как птицы,
> Сидим мы все, как птицы на деревьях,
> Где-то в Демераре…

Школа Орла отчасти унаследовала у школы Дракона ее знаменитый дух любви к приключениям. Я помню один потрясающий день, когда учителя организовали для всей школы массовую игру в “матабеле и машона” (по названиям двух основных племен Родезии – местную разновидность “ковбоев и индейцев”[45]), в ходе которой мы носились по лесам и лугам гор Вумба (что означает “туманные горы” на языке племени машона). Одному небу известно, как нам всем удалось не заблудиться и не потеряться в чаще. Хотя у нашей школы не было бассейна (он был построен, но позже, когда я там уже не учился), мы имели возможность купаться (голышом) – в очаровательном озерке под

водопадом, что было намного веселее. Какому мальчишке нужен бассейн, если у него есть настоящий водопад?

Однажды меня отправили в школу Орла на самолете – настоящее приключение для семилетнего мальчика, путешествующего без родителей. Я летел на биплане “Быстрый дракон” из Лилонгве в Солсбери (нынешний Хараре), откуда должен был продолжать путь до Умтали (нынешнего Мутаре). Предполагалось, что родители моего соученика по школе Орла, жившие в Солсбери, встретят меня в аэропорту и отправят дальше, но их почему-то не было. Мне казалось, что я провел чуть ли не целый день (теперь я понимаю, что на самом деле все-таки не так долго), слоняясь вокруг аэропорта Солсбери. Люди были добры ко мне: кто-то накормил обедом, а кто-то пустил меня в ангары посмотреть на самолеты. Как ни странно, этот день я вспоминаю с большим удовольствием, и мне ничуть не было страшно – ни от одиночества, ни от неизвестности. Наконец появились те, кто должен был меня встретить, и с их помощью я добрался до Умтали, где, если не ошибаюсь, меня уже ждал Танк на своем джипе “виллис”, который мне нравился, потому что был похож на “Ползучую Дженни” и напоминал о доме. Я описал этот случай так, как сам его помню. Дэвид Глинн помнит его иначе, но я полагаю, что у меня было два подобных путешествия – одно с ним, а другое без него.

Прощание с Африкой

В 1949 году, через три года после описанного выше длительного отпуска, мой отец взял подобный отпуск, и мы снова отправились в Англию из Кейптауна, на сей раз на очень приятном кораблике под названием “Умтали”, о котором я мало что помню, кроме чудесной полированной деревянной обшивки и светильников, выполненных, как я теперь думаю, в стиле ар-деко. Команда была слишком маленькой, чтобы иметь в своем составе еще и массовика-затейника, поэтому на эту роль выбрали некоего мистера Кимбера, из тех людей, которых называют душой компании. В частности, когда мы пересекали экватор, он организовал по этому поводу праздничную церемонию, включавшую в себя появление Нептуна с бородой из морских водорослей и трезубцем. В другой раз он устроил маскарад, на котором меня нарядили пиратом. Я завидовал другому мальчику, одетому ковбоем, но мои родители объяснили, что его костюм, который был, надо признать, качественнее моего, просто купили в магазине, а мой создали сами, а значит, на самом деле он был лучше. Теперь я могу это понять, но тогда не мог. Один маленький мальчик изображал Купидона: он был совершенно голый и держал стрелу и лук, которым кидался в окружающих. Моя мама преобразилась в одного из индийцев-официантов (мужчину), для чего она покрасила кожу марганцовкой, не смывавшейся еще много дней, и одолжила форменную одежду с характерным кушаком и тюрбаном. Другие официанты ей подыграли, и никто из ужинавших ее не узнал: даже я, даже капитан, которому она нарочно принесла мороженое вместо супа.

В тот день, когда мне исполнилось восемь лет, я научился плавать в крошечном корабельном бассейне, сделанном из парусины, натянутой между закрепленными на палубе столбиками. Я был так рад своему новому умению, что хотел поскорее применить его в море. Поэтому во время стоянки в порту Лас-Пальмас на Канарских островах, в ходе которой корабль должен был принять на борт большой груз помидоров и всех пассажиров высадили на весь день на берег, мы отправились на пляж, где я гордо плавал в море под бдительным надзором мамы, остававшейся на берегу. Вдруг она увидела, что на мою крошечную плывущую по-собачьи фигурку грозит обрушиться выдающихся размеров волна. Мама, как была в одежде, самоотверженно бросилась в воду, чтобы меня спасти, и тогда волна, бережно приподняв меня, со всей силы обрушилась на нее, промочив с головы до пят. Пассажиров пустили обратно на

корабль только вечером, поэтому мама провела остаток дня в мокрой и пропитанной солью одежде. К сожалению, ее неблагодарный сын забыл этот пример материнского самопожертвования, и я рассказываю о нем с ее слов.

Помидоры, должно быть, загрузили плохо, потому что груз вскоре заметно сместился, и корабль так угрожающе накренился на правый борт, что иллюминатор нашей каюты оказался полностью под водой, в связи с чем моя маленькая сестра Сара решила, что “теперь мы *правда* затонули, мама”. В печально известном Бискайском заливе, где “Умтали” попал в мощный шторм, крен стал еще хуже – так что даже стоять было трудно. Я же в восторге побежал в нашу каюту и стянул со своей койки простыню, которую хотел использовать в качестве паруса, чтобы ветер гнал меня по палубе, как яхту. Мама пришла в ярость: она сказала, что меня может сдуть за борт (возможно, она была права). Любимое детское одеялко Сары действительно сдуло за борт, и это была бы настоящая трагедия, не догадайся мама заранее разрезать его надвое, чтобы приберечь про запас половину, которая сохранит правильный запах. Пахучие детские одеяла интересуют меня как явление, хотя у самого такого никогда не было. Обычно дети держат одеялко так, что ощущают его запах, когда сосут палец. Подозреваю, что это как-то связано с результатами экспериментов Гарри Харлоу с тряпичной “искусственной матерью” для детенышей макак-резусов.

В конце концов мы добрались до Лондонского порта и поехали в Эссекс, где остановились в очаровательном старом фермерском доме в стиле Тюдоров под названием Кукуз (Кукушки), расположенном напротив Хоппета. Мои дедушка и бабушка купили этот дом, чтобы предотвратить застройку земли. Вместе с нами в нем жили мамина сестра Диана, ее дочь Пенни и ее второй муж – брат моего отца Билл, приехавший в отпуск из Сьерра-Леоне. Пенни родилась после того, как ее отец, Боб Кедди, погиб на войне, унесшей также жизни обоих его доблестных братьев. Это была ужасная трагедия для пожилых мистера и миссис Кедди, которые после этого сосредоточили все свое внимание на маленькой Пенни, что вполне понятно, ведь она оказалась их единственным оставшимся потомком. Они также были очень добры к нам с Сарой – двоюродным брату и сестре их внучки, – обращались с нами как с почетными внуками, регулярно дарили нам дорогущие рождественские подарки и каждый год возили нас в Лондон на какую-нибудь пьесу или пантомиму. Они были богаты (семья владела “Универсальным магазином Кедди” в Саутенде) и жили в большом доме, во дворе которого располагались бассейн и теннисный корт, а в самом

доме был чудесный детский рояль фирмы “Бродвуд” и телевизор, которые к тому времени только-только появились. Мы, дети, еще никогда не видели телевизора и как зачарованные следили за размытым черно-белым изображением ослика Мафина на крошечном экране, находящемся посередине большого корпуса из полированного дерева.

О тех нескольких месяцах, когда все мы жили одной семьей в Кукушках, у нас с сестрой остались волшебные воспоминания. Подобные возможны только в детстве. Наш любимый дядя Билл смешил нас, обзывая “штанами из патоки” (мне теперь известно из Гугла, что это австралийское жаргонное выражение, соответствующее английскому “штаны на полмачты”[46]), и пел две свои песенки, которые мы часто просили исполнить. Вот первая:

> Зачем корове столько ног? Узнать бы, право слово.
> Не знаю я, не знаешь ты, не знает и корова.

А вот вторая, на мотив матросского танца хорнпайп:

> Старичок, не зевай, чайник нам доставай,
> Не достанешь, ну что ж, хоть кастрюльку давай.

Томас, единоутробный брат Пенни, родился в Кукушках как раз во время нашего там пребывания. Томас Докинз приходится мне дважды двоюродным братом – редкая степень родства. У нас общие все дедушки и бабушки, а значит, и все предки, кроме родителей. Процент общих генов у нас такой же, как у родных братьев, хотя мы и не похожи друг на друга. Новорожденному Томасу наняли няню, но она продержалась у нас недолго – пока не увидела, как дорогой дядя Билл готовит завтрак на обе семьи. Он расставлял тарелки вокруг себя на каменном полу и кидал в них по очереди яичницу и бекон, как будто сдавал карты. В то время люди еще не помешались на гигиене и технике безопасности, но все же это было слишком для брезгливой няни, которая тут же покинула наш дом и больше не возвращалась.

Мы с Сарой и Пенни учились в то время в школе Св. Анны в Челмсфорде, той самой школе, где в том же возрасте учились Джин и Диана, причем директором школы была все та же мисс Мартин. Я мало что помню об этой школе: только запах сладкой начинки для пирожков в школьной столовой, мальчика по имени Джайлс, утверждавшего, что его отец однажды лег на железнодорожное полотно между рельсами и над ним проехал

поезд, а также имя учителя музыки – мистер Харп[47]. Мы пели на его уроках песню “Красотка с Ричмонд-Хилл”[48]: “Я б корону отверг, чтобы стала моей…”, но я понимал это не как “Я отверг бы корону, чтобы стала моей…”, а считал, что “коронуотверг” – это один глагол, который, исходя из контекста, означает “очень хотел”. Подобную ошибку я делал и в интерпретации церковного гимна “Наутро новая любовь / Дарует пробужденье вновь”. Я не знал, что такое “пробужденииновь”, но полагал, что эту вещь, очевидно, неплохо получить в подарок. У школы Св. Анны был вполне достойный девиз: “Я могу, мне следует, я должен, я сделаю” (может быть, не в таком порядке, но звучал он примерно так). Взрослым, жившим в Кукушках, это напоминало песню верблюдов из “Парадного марша войсковых зверей” Киплинга, которую они так здорово читали, что я никогда ее не забуду:

> Не пойду! Никуда! Ни за что! Никогда!
> Мы идем по тропе войны![49]

В школе Св. Анны меня травили несколько более старших девочек – в действительности не так уж жестоко, но достаточно жестоко, чтобы я воображал, что если буду достаточно усердно молиться, то смогу призвать на их головы заслуженную кару сверхъестественных сил. Я представлял, как мне на помощь, прочертив небо над спортивной площадкой, придет черно-фиолетовая туча, похожая на нахмуренный профиль человеческого лица. Для этого нужно было только по-настоящему *поверить*, что это произойдет; и это не происходило, видимо, лишь потому, что я молился недостаточно усердно – как когда-то в школе Орла, где я молил превратить мисс Коппплстоун в мою мать. Такова наивность детских представлений о молитвах. Разумеется, некоторые взрослые их так и не перерастают и молятся Богу о том, чтобы он придержал для них парковочное место или даровал им победу в теннисном матче.

Предполагалось, что, проучившись один семестр в школе Св. Анны, я вернусь в школу Орла, но, пока мы были в Англии, планы нашей семьи кардинально изменились, и я уже больше никогда не видел ни школы Орла, ни Копперс, ни Танка. Тремя годами раньше мой отец получил из Англии телеграмму, что он унаследовал от одного очень дальнего родственника семейные владения Докинзов в Оксфордшире, в том числе усадьбу Овер-Нортон-Хаус, поместье Овер-Нортон-Парк и несколько коттеджей в деревне Овер-Нортон. В 1726 году, когда оксфордширские владения купил член парламента Джеймс Докинз (1696–1766) и они впервые стали собственностью семьи Докинз, их площадь

была намного больше. Он оставил их в наследство своему племяннику, моему прапрапрапрадеду, тоже члену парламента Генри Докинзу (1728–1814), отцу того Генри Докинза, который похитил невесту при помощи четырех двухколесных экипажей, помчавшихся в разных направлениях. Впоследствии этой недвижимостью владели многие поколения Докинзов, в том числе печально известный полковник Уильям Грегори Докинз (1825–1914), вспыльчивый ветеран Крымской войны, который, как утверждают, угрожал арендаторам изгнанием, если они не будут голосовать за ту же партию, что и он, причем, как ни странно, это была Либеральная партия. Полковник Уильям был человеком крайне обидчивым и к тому же сутяжником и истратил бóльшую часть своего наследства на иски против старших офицеров, которых он обвинял в оскорблениях. Все это тянулось долго и бессмысленно и не принесло выгоды никому, кроме (как обычно) юристов. Судя по всему, полковник был буйным параноиком. Он публично оскорбил королеву Викторию, набросился на своего командира лорда Рукби на лондонской улице и подал в суд на Верховного главнокомандующего, герцога Кембриджского. Еще прискорбнее было то, что он снес прекрасную усадьбу в георгианском стиле Овер-Нортон-Хаус, решив, что она населена привидениями, а в 1874 году построил на ее месте новое, викторианское здание. Из-за нескончаемых судебных исков он по уши погряз в долгах, вынужден был заложить все свои владения и умер в нищете в одном брайтонском пансионе, где жил на выдаваемые ему кредиторами два фунта в неделю. В конце концов – уже в XX веке – заклад был выплачен его горемычными наследниками, но для этого им пришлось продать бóльшую часть земли, от которой в конечном итоге остался лишь небольшой клочок; его-то и унаследовал мой отец.

В 1945 году владельцем этих остатков был внучатый племянник полковника Уильяма майор Херевард Докинз, живший в Лондоне и редко бывавший в тех местах. Херевард, как и Уильям, был холостяком и не имел близких родственников по фамилии Докинз. Судя по всему, когда он готовил завещание, он изучил свое генеалогическое древо и нашел там моего дедушку, на тот момент старшего из живых Докинзов. По-видимому, его адвокат посоветовал ему пропустить старшее поколение, и в итоге выбор пал на моего отца, который приходился майору четвероюродным братом и был намного моложе. Так папа стал наследником Хереварда Докинза, и, как выяснилось, это был блестящий выбор, хотя в то время майор Хереварда и предполагать не мог, что мой отец – именно тот человек, который сумеет не только сохранить оставшееся наследство, но и сделать его

прибыльным: они никогда не встречались, и, пока отец не получил в Африке нежданную телеграмму, он, по-моему, даже не знал о существовании Хереварда Докинза.

В 1899 году некая миссис Дейли получила в качестве свадебного подарка договор о длительной аренде усадьбы Овер-Нортон-Хаус. Арендная плата, разумеется, исчезала в бездонной яме долгов полковника Уильяма. Миссис Дейли жила в усадьбе на широкую ногу со своей семьей, бывшей одним из столпов местного дворянства и неизменно участвовавшей в Хейтропской охоте на лис. Мои родители не ожидали, что наследство Хереварда изменит их жизнь, – отец собирался делать карьеру в департаменте сельского хозяйства Ньясаленда вплоть до выхода на пенсию (хотя на самом деле он смог бы работать там лишь до той поры, пока Ньясаленд не стал независимым государством Малави).

Однако в 1949 году, прибыв в Англию на “Умтали”, родители получили неожиданное известие о смерти старой миссис Дейли. Их первой мыслью было начать поиски другого арендатора. Но потом они задумались о возможности уехать из Африки и заняться фермерским хозяйством, и эта перспектива постепенно стала казаться им все более заманчивой. Одной из причин была подверженность Джин опасной форме малярии, но помимо этого родителей, вероятно, привлекала и возможность отдать нас с Сарой в английские школы. Наши дедушки и бабушки советовали им остаться в Африке, да и адвокат моих родителей был того же мнения. Родители Джона считали его долгом продолжать служить Британской империи в Ньясаленде, а мать Джин была полна мрачных предчувствий, что с фермерским хозяйством у нашей семьи ничего не выйдет, как это обычно и бывает. И все же Джон и Джин решили не следовать ничьим советам, не возвращаться в Африку, а поселиться в Овер-Нортоне и превратить имение в действующую ферму – впервые за два с лишним столетия, в течение которых оно использовалось лишь как парк для праздного дворянства. Джон подал в отставку из колониальной службы, тем самым лишившись пенсии, и, чтобы освоить навыки, которые должны были понадобиться ему в его новом деле, прошел обучение у нескольких английских фермеров. Папа с мамой решили не жить в усадьбе, а разделить ее на съемные квартиры в надежде на то, что ее содержание начнет окупаться (адвокаты советовали им снести здание, чтобы сократить убытки). Сами они задумали поселиться в коттедже, расположенном в начале подъездной аллеи, ведущей к усадьбе, но перед этим его нужно было основательно отремонтировать. И пока шел ремонт, мы все же некоторое время жили (пожалуй, лучше было бы

сказать “квартировались”) в одном из закутков Овер-Нортон-Хауса.

Я по-прежнему был захвачен доктором Дулиттлом и в непродолжительный период нашего обитания в Овер-Нортон-Хаусе фантазировал в основном о том, чтобы научиться, как он, разговаривать с животными. Но я рассчитывал делать это даже лучше, чем доктор Дулиттл: посредством телепатии. В своих мыслях, молитвах и желаниях я призывал всех окрестных животных собираться в Овер-Нортон-Парке вокруг меня лично, чтобы я мог о них заботиться. Свои желания я выражал так часто именно в виде молитв, вероятно, под влиянием проповедников, от которых слышал, что, если достаточно сильно чего-либо захотеть, это случится и для этого не требуется ничего, кроме силы воли или силы молитвы. Я не сомневался, что, если верить достаточно сильно, можно двигать горы. Должно быть, я услышал это от какого-то проповедника, который, как это слишком часто с ними бывает, забыл объяснить легковерному ребенку разницу между метафорой и реальностью. Я порой задумываюсь о том, понимают ли они сами эту разницу. Многие из них, похоже, думают, что это не так уж важно.

Мои детские игры того периода были пронизаны научно-фантастическими образами. Мы с моей подружкой Джилл Джексон играли в Овер-Нортон-Хаусе в космические корабли. Каждая кровать была таким кораблем, и мы часами с наслаждением фантазировали на эту тему. Интересно, как двое детей могут вместе выдумывать связные сюжеты, даже не обсуждая их заранее? Один ребенок ни с того ни с сего говорит: “Берегитесь, капитан! С левого фланга приближаются трунские ракеты!” – и другой тут же пытается от них уклониться, а затем, со своей стороны, объявляет о дальнейшем развитии событий.

К тому времени мои родители официально выписали меня из школы Орла и занялись поисками подходящей школы в Англии. Они, вероятно, хотели отдать меня в расположенную поблизости, в Оксфорде, школу Дракона, чтобы я мог продолжить обучение в заведении, проникнутом духом любви к приключениям. Но места в школе Дракона пользовались таким спросом, что ребенка нужно было записывать в нее с рождения. Поэтому меня отправили в школу Чейфин-Гроув в Солсбери (английском Солсбери, в честь которого был назван Солсбери в Родезии), где когда-то учились мой отец и оба его брата. Это тоже была по-своему неплохая школа.

Я должен объяснить читателям, не посвященным в тонкости британской терминологии, что Чейфин-Гроув и школа Орла были так называемыми подготовительными школами. К чему же они

нас “подготавливали”? Ответ вносит еще больше путаницы: к *публичным школам*, называемым так потому, что на самом деле они как раз не публичные, а частные и учиться там могут только те дети, чьи родители в состоянии оплатить их обучение. Неподалеку от моего дома в Оксфорде расположена Вичвудская школа, у ворот которой в течение нескольких лет висела восхитительная табличка:

> Вичвудская школа для девочек (подготовительная для мальчиков).

Итак, школа Чейфин-Гроув была подготовительной школой, в которой я учился с 8 до 13 лет, готовясь там к обучению с 13 до 18 лет в публичной школе. Кстати, я думаю, что моим родителям даже не приходило в голову отдать меня в какую-либо другую школу, не похожую на те школы-интернаты, где обычно учились Докинзы. Они, вероятно, считали, что хоть это и дорого, но стоит того.

Под шпилем собора в Солсбери

Начало учебы в новой школе всегда сопряжено с трудностями. В свой самый первый день в Чейфин-Гроув я убедился, что мне предстоит выучить некоторые новые слова. Меня озадачило слово *puce* (“красно-коричневый”). Я видел его написанным на стене и ошибочно полагал, что оно должно произноситься как *pucky*. В конце концов я догадался, что это ругательство, синонимичное слову *wet* (“мокрый”), тоже популярному в Чейфин-Гроув, в значении “ничтожный”. Антонимом к этим ругательствам было слово *muscle* (“мускульный”): “Я родился в мускульной Индии, а не в ничтожной красно-коричневой Африке” (в ту пору многие дети, учившиеся в таких школах, были уроженцами той или иной британской колонии, окрашенной на картах розовым цветом). Слово *wig* (“парик”) на диалекте Чейфин-Гроув означало “пенис”. “Ты круглоголовый или кавалер?[50] Ну, твой парик, он как гриб или как шнурок?” Такие анатомические подробности, как обрезанный или необрезанный пенис, все равно не были секретом, потому что каждое утро мы выстраивались голыми, чтобы принять холодную ванну. Как только раздавался сигнал подъема, мы должны были тут же вскакивать с постелей, снимать пижамы, брать полотенца и плестись в ванную, где одна из трех ванн была заполнена холодной водой. Мы ныряли в нее и как можно быстрее выпрыгивали из воды под надзором директора школы, мистера Гэллоуэя. Время от времени тот же сигнал поднимал нас среди ночи на учебную пожарную тревогу. Во время одной такой тревоги я был настолько сонным, что машинально проделал утреннюю процедуру – снял пижаму, взял полотенце и спустился вниз по пожарной лестнице совершенно голым. Лишь спустившись, я понял свою ошибку – все остальные были в пижамах, халатах и тапочках. К счастью, дело было летом. Мы, разумеется, принимали не только холодные ванны. По вечерам (не помню, сколько раз в неделю) ванны для нас наполнялись теплой водой, и в них мы стояли, пока нас мыла заведующая хозяйством или ее заместительница, что нам особенно нравилось, потому что она была симпатичная.

Это было время строгой экономии: война закончилась не так давно, и многие товары по-прежнему нормировались. Еда, как я теперь понимаю, была просто ужасной. Сладости тоже нормировались государством, и это имело парадоксальный эффект (вероятно, плохо сказывавшийся на наших зубах): мы ели

даже больше конфет, чем если бы их количество не ограничивалось, потому что после чая каждому из нас исправно выдавали положенную порцию сладостей. Свою порцию я по большей части раздавал. Теперь мне интересно, почему в военное время вообще выдавали сладости? Неужели тому небольшому количеству сахара, которое удавалось провезти, несмотря на атаки немецких подводных лодок, нельзя было найти лучшее применение?

У меня часто мерзли ноги, и я то и дело обмораживал пальцы ног, отчего ужасно страдал. Как известно, знакомые запахи вызывают связанные с ними воспоминания, и эвкалиптовый запах мази от обморожений, которую мне дала с собой мама, неизменно ассоциируется у меня с Чейфин-Гроув и мучительным зудом обмороженных пальцев. Мы часто зябли по ночам и пытались согреться, укрываясь халатами поверх одеял. Под кроватью у каждого из нас стоял ночной горшок, чтобы нам не нужно было ходить по ночам по коридору. Жаль, что я не знал в то время слово, которым этот предмет называли в Северной Англии: *gazunder* (потому что он “ставится вниз” – *goes under*).

К тому времени в Чейфин-Гроув остался только один учитель, работавший здесь еще в годы учебы моего отца. Это был мистер Летчворт, добрый старик, похожий на мистера Чипса[51], сражавшийся в Первой мировой и когда-то занимавший пост одного из двух директоров школы. Мы называли его Слаш (Жижа), но только за глаза, потому что в Чейфин-Гроув, в отличие от школ Дракона и Орла, не было принято называть учителей по прозвищам. Исключение делалось только для ежегодного скаутского сбора: во время его проведения мистеру Летчворту нравилось, когда его называли Чиппи – прозвищем более старым, полученным, наверное, еще в те времена, когда он был лично знаком с основателем скаутского движения Баден-Пауэллом. Прозвище Слаш ему не нравилось. Как-то на уроке латыни мы читали отрывок из Тита Ливия, и нам нужно было заучить новые слова, среди которых было слово *tabes*. Мистер Летчворт специально решил нас испытать, и, когда настала очередь одного из учеников перевести это слово (означавшее в том контексте как раз жижу), мы все захихикали. Учитель с грустью сообщил нам, что его прозвище происходит именно из этого отрывка (“Столько лет назад… это самое предложение… столько лет назад…”), хотя так и не объяснил нам, как оно к нему приклеилось.

Директор Малькольм Гэллоуэй был человеком грозным (быть может, директора школ становятся грозными в силу занимаемой должности?). Мы называли его Гэллоуз (Виселица). В соответствии со своим прозвищем он без колебаний прибегал к

высшей мере наказания, которой в Чейфин-Гроув были палки. В отличие от наказания, принятого в школе Орла, где учеников били “по окороку” ребром линейки, наказание палкой от Гэллоуза было действительно болезненным. Говорили, что у него две палки, Тощий Джим и Большой Бен, и провинившийся получал от трех до шести ударов в зависимости от серьезности проступка. К счастью, меня ни разу не били Большим Беном, но полученные мною три удара Тощим Джимом были весьма ощутимыми, и после них остались синяки. Мы относились к таким синякам как к шрамам, полученным на войне, и с гордостью демонстрировали их друг другу в спальнях. Они не исчезали по нескольку недель, становясь из фиолетовых вначале синими, а потом желтыми. Мальчишки шутили, что можно себя обезопасить, засунув в штаны тетрадь, которая смягчит удары, но Гэллоуз бы ее несомненно заметил, и я уверен, что никто и не пытался применить этот трюк.

Теперь телесные наказания в Англии запрещены законом, а учителей, которые их когда-то применяли, подозревают в садизме или жестокости. Я убежден, что Гэллоуз не был ни садистом, ни жестоким человеком. Мы наблюдаем здесь пример того, как быстро могут меняться обычаи и ценности. Это одна из сторон явления, которое в книге “Бог как иллюзия” я назвал “перемены морального духа времени”. Стивен Пинкер в книге “Лучшие ангелы нашей природы”[52]массой фактов подтверждает существование этого явления (которое он называет иначе) на протяжении многих веков человеческой истории.

Гэллоуз был способен и на неподдельную доброту. Перед отбоем он обходил спальни и старался нас развеселить. В это время (и только в это; в течение учебного дня – никогда) он называл нас по именам и вел себя с нами как родной дядюшка. Однажды в “моей” спальне он заметил на одной из полок сборник рассказов П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере и спросил, знает ли кто-нибудь из нас этого автора. Никто не знал. Тогда Гэллоуз присел на одну из кроватей и начал читать нам рассказ из этой книги. Это был “Большой гандикап проповедников”. Кажется, Гэллоуз читал его в течение нескольких вечеров, и мы были в полном восторге. Этот рассказ стал одним из моих любимых в цикле о Дживсе и Вустере, а Вудхауз – одним из любимых авторов, которого я читаю, перечитываю и даже иногда пародирую.

По вечерам в воскресенье миссис Гэллоуэй читала нам вслух в их с Гэллоузом личной гостиной. Мы оставляли обувь снаружи и рассаживались на полу по-турецки, ощущая легкий запах потных носков. Миссис Гэллоуэй прочитывала нам по главе в

неделю, и чтение одной книги занимало целый семестр. Обычно это были волнующие приключенческие повести, такие как “Мунфлит” Джона Мида Фолкнера, “Скала Мэддона” Хэммонда Иннеса и “Жестокое море” Николаса Монсаррата (“издание для курсантов”, без эротических сцен). В одно из воскресений миссис Гэллоуэй была в отъезде, и Гэллоуз читал нам вместо нее. Мы дошли до того места в “Копях царя Соломона”, где доблестные герои в пробковых шлемах выходят к горам-близнецам, которые называются Грудью царицы Савской (интересно, что это название не фигурирует в фильме со Стюартом Грейнджером – вольной экранизации, в которой, как это ни странно, в экспедиции участвует женщина). Гэллоуз прервал чтение и объяснил, что имеются в виду холмы Нгонг в Кении. (*“Знаете, ребята, это полная чушь. Гэллоуз просто хвастается, что был в Кении. Но «Копи царя Соломона» вовсе не про Кению. Бежим наверх, в спальню!”*)

Однажды ночью разразилась сильная гроза, и Гэллоуз пришел в спальню самых младших учеников, включил свет и постарался успокоить малышей (таких маленьких, что им даже разрешали спать с плюшевыми мишками), которым могло быть страшно. В середине каждого семестра в Чейфин-Гроув устраивали “выходное воскресенье”, когда к ученикам приезжали родители и забирали их из школы на один день. Всегда получалось так, что к одному или двум мальчикам никто не приезжал, вероятно потому, что их родители были за границей или болели. Однажды и я оказался в числе таких учеников. Мистер и миссис Гэллоуэй повезли нас вместе со своими собственными детьми на пикник на большой открытой машине тридцатых годов, называвшейся “Серая Гусыня”, и на маленьком автомобиле “Моррис-8”, называвшемся “Джеймс”. Это был замечательный пикник на берегу пруда, и у меня чуть ли не слезы наворачиваются на глаза, когда я вспоминаю, как добры были к нам мистер и миссис Гэллоуэй, особенно если принять во внимание, что они вполне могли бы провести тот день лишь со своими собственными детьми.

Но как учитель Гэллоуз был страшен. Он орал на нас в полную силу своего мощного голоса, и его зычные гневные восклицания были отчетливо слышны по всей школе. Ученики и другие учителя, заслышав эти крики, заговорщицки улыбались друг другу. “Что нужно делать, когда после *ut* идет сослагательное наклонение?.. НЕ СПЕШИ И ПОДУМАЙ!” (Хотя, если задуматься, подлинные принципы работы языка имеют мало общего с подобными правилами.) Мистер Миллс, который тоже преподавал латынь, был еще страшнее: его так боялись, что у него

даже не было прозвища. Он имел грозный вид и требовал полной аккуратности и безупречного почерка. Стоило допустить хоть одну ошибку, и он заставлял заново переписывать весь отрывок. Его однофамилица, полноватая, приятная и по-матерински заботливая мисс Миллс, носившая косички, сплетенные вокруг затылка наподобие нимба, преподавала у малышей и называла каждого из нас “милый”. У мистера Даусона, жизнерадостного учителя математики, носившего очки и говорившего с легким северным акцентом, было прозвище Эрни Дау. Никто из нас не знал, откуда взялось Эрни, пока однажды он не прочитал нам стихотворение и не назвал в конце имя автора, которым, разумеется, оказался Эрнест Даусон. Не помню, что это было за стихотворение, возможно, *Vitae summa brevis…*[53]

Мы, конечно, все равно его не оценили. Эрни Дау был хорошим учителем, и именно он научил меня большей части того, что мне суждено было узнать о математическом анализе. У мистера Шоу прозвища не было, но его дочь-подростка называли Красотка Шоу – просто потому, что стоило кому-то сказать: “Я почти уверен…”, как тут же звучала ребяческая шутка, напрашивающаяся по созвучию с ее фамилией.[54]

. У нас преподавали и молодые учителя, которые постоянно сменялись. Среди них, вероятно, были те, кто готовился поступать в университет, и те, кто недавно его окончил. Практически все они нам нравились, вероятно, по той причине, что были молоды. Одним из них был мистер Хауард – Энтони Хауард, который впоследствии стал известным журналистом и главным редактором журнала “Нью стейтсмен”.

В первом семестре второго класса (в самом начале моего обучения в Чейфин-Гроув) моей учительницей была мисс Лонг – худая, угловатая дама средних лет с прямыми волосами и в очках без оправы, очень добрая, как и большинство учителей в этой школе. Она была не только учительницей начальных классов, но преподавала и другие предметы – преимущественно игру на фортепиано. Именно она дала мне первые уроки музыки, о чем я хвастался родителям, сильно преувеличивая свои успехи. Зачем было хвастаться, ведь рано или поздно правда все равно всплыла бы? Я и сам не знаю.

Вскоре стало ясно, что если мои родители сомневались в качестве образования, которое я получал в школе Орла в Южной Родезии, то делали они это напрасно. В школе Орла мои успехи были средними на фоне сверстников, а в Чейфин-Гроув я сразу оказался одним из первых учеников и сам был этому не рад, потому что слишком способных недолюбливали. Я даже делал вид, что знаю меньше, чем знал на самом деле. Например, когда у

меня спрашивали значение того или иного латинского или французского слова, я притворялся, что точно не помню, и невнятно мычал вместо того, чтобы сразу ответить правильно, рискуя уронить себя в глазах одноклассников. Эта склонность дошла у меня практически до абсурда в третьем классе, когда я по глупости решил, что раз мускулистые парни, успешные в спорте, обычно не отличались успехами в учебе, значит, я смогу стать спортивным, только если буду плохо учиться. Как мне теперь думается, я, очевидно, и не заслуживал серьезных успехов в учебе, раз был так глуп, что рассуждал подобным образом.

Судя по всему, у меня были самые превратные представления о том, с чем связаны спортивные успехи. В Чейфин-Гроув учились три брата, Сэмпсон-ма, Сэмпсон-ми и Сэмпсон-мин (от латинских major, minor и minimus), все трое очень спортивные, особенно Сэмпсон-мин, который блестяще играл во все игры и однажды “пронес свою биту” от начала матча и до тех пор, пока у него не закончились партнеры, после чего волшебным образом поймал мяч в положении “силли-мид он”[55]

. Мне пришла в голову нелепая мысль, что сходство фамилии Сэмпсон с именем знаменитого библейского громилы не может быть случайным. Я по наивности предположил, что Сэмпсоны наверняка унаследовали свою спортивность если не от самого Самсона, то от какого-нибудь средневекового силача, который заслужил это прозвище точно так же, как предки тех, кто носит фамилии Смит (Кузнец) или Миллер (Мельник) – или, если уж на то пошло, Армстронг (Сильная Рука). Многие фамилии действительно происходят от прозвищ, но кое в чем я заблуждался – в частности, полагая, что наследуемые черты могут сохраняться дольше, чем на протяжении пары поколений. Эта же ошибка содержится в “Тэсс из рода д’Эрбервиллей”, как я уже упоминал в первой главе.

Отец Сэмпсонов, у которого был только один глаз (другой, как нас уверяли, выклевала цапля, хотя поверить в это трудно), владел в Хэмпшире фермой, где во время ежегодного сбора располагался лагерь скаутского отряда школы Чейфин-Гроув. За эти сборы отвечал Слаш; ему помогали Гэллоуз и приглашаемый специально для данного мероприятия внушительных размеров господин, которого называли Дамбо (Тупица). Скаутский сбор был для меня главным событием года. Мы ставили палатки, копали ямы для туалетов и обустраивали очаг для костра, на котором готовили бесподобные пресные лепешки, печеные в золе, и “завитки” (кусочки теста, опаленные в огне). Нас научили связывать палки изящными петлями сизалевой веревки, и мы сами делали всевозможную полевую мебель, от “деревьев” для

кружек до сушилок для одежды. Собравшись у костра, мы пели песни – особые скаутские песни, к примеру “Как теннисный мячик его голова…”. Этим песням нас учил Слаш, он же Чиппи. Выучить их было несложно, потому что в основном они были очень короткими, скажем, как эта:

С веселой песней ослик на наш лужок пришел.
Кто знает, в чем тут дело? Да в том, что он осел!
Иа! Иа! Иа-иа-иа!

У некоторых из этих песен вообще не было мелодии, и они были скорее кличами, выражавшими наше единство, чем песнями:

Ни мухи не сядет на нас!
Ни мухи не сядет на нас!
Они могут сесть
На кого-то из вас!
Но ни мухи не сядет на нас!

Гвоздем программы была эпическая сага о тухлом яйце, которую пел Чиппи. Я привел ее в онлайновом приложении к этой книге в сентиментальной надежде на то, что кто-то из моих читателей захочет исполнять у костра эту теперь забытую песню, почтив тем самым память Генри Марри Летчворта, магистра искусств Оксфордского университета, сражавшегося в полку Королевских дублинских стрелков, по прозвищу Слаш, по прозвищу Чиппи, доброго и задумчиво-печального, похожего на мистера Чипса патриарха школы Чейфин-Гроув. В 2005 году, к празднованию девяностолетия моего отца в доме главы Баллиол-колледжа, я добросовестно записал песню о яйце, и ее блестяще исполнила очаровательная сопрано Энн Маккей под аккомпанемент фортепиано, а мой отец живо подпевал ей – хотя и не очень в такт.

На скаутском сборе нас награждали значками за достижения в разных областях, например рубке дров, вязании узлов и владении флажковой азбукой и азбукой Морзе. Мне хорошо давалась азбука Морзе, которую я освоил по методу, усовершенствованному моим отцом во время войны в

Сомалиленде, где он обеспечивал радиосвязь своего броневика. Для каждой буквы нужно было выучить фразу, которая начинается с этой буквы и в которой односложные слова соответствуют точкам, а более длинные – тире. Например, букву *G* можно запомнить с помощью фразы “*Gordon Highlanders go*” (“Гордонские горцы идут”): тире, тире, точка. Мне не удалось придумать аналогичных мнемонических правил для флажковой азбуки, и, быть может, поэтому в ней я не так преуспел. А может быть, так вышло оттого, что у меня слабо развито пространственное мышление: когда я прохожу тесты на коэффициент интеллекта (*IQ*), то хорошо справляюсь с заданиями, пока не добираюсь до идущих в конце вопросов на вращение фигур в пространстве, – они сильно ухудшают мой результат.

Другим важным ежегодным событием была постановка школьного спектакля. Это всегда была оперетта, и ставил ее всегда Слаш, по традиции, сложившейся по меньшей мере с того времени, когда в Чейфин-Гроув учился мой отец. Дядя Билл впоследствии рассказывал мне, что отец “пробовался на роль лампочки, но был сочтен непригодным”. Главные роли доставались ученикам, умевшим петь, и я был одним из них. Характерным примером такого спектакля может служить поставленная в последний год моего обучения в школе оперетта “Тарелка с ивовым узором”[56]

, в которой я играл главную женскую роль. На заднике был изображен знаменитый синий узор фарфоровых тарелок. Пагода была дворцом принцессы, которая правила страной и умерла, а три человечка на мосту были заговорщиками, уже долгое время скрывавшими ее смерть, чтобы избежать смены монархии республикой. Заговор оказался под угрозой, когда прекрасный принц Татарии прислал известие, что спешит к принцессе просить ее руки. Тут выходил я, одетый деревенской девушкой, и пел свою арию, в которой, указывая подчеркнуто театральными жестами на декорации, описывал синий[57]керамический мир, в котором мы все жили:

Синеет высь над бедной головой,
Синеет луг вокруг усталых ног,
Деревьев синь склонилась над тропой,
Бросая тень из темной синевы,
Одет весь мир в одежды синевы,
И море бурное такое же, увы.

Последняя строчка довольно остроумна (хотя мы, школьники, ее, конечно же, не оценили), и мне хотелось бы думать, что она рассмешила кого-то из взрослых зрителей, которыми почти исключительно были родители, склонные не замечать недостатков исполнения, а также корреспондент “Солсбери кроникл” (очень, кстати, меня хваливший – хотя и незаслуженно).

Мячи футбольные на дереве растут,
Принцессы пагода на солнышке блестит.
(Куплетов несколько еще звучало тут,
Но память бедная моя их не хранит.)

Три человечка на мосту воспользовались случаем и затолкали меня в пагоду, где я должен был изображать умершую принцессу, и как раз вовремя, потому что на сцену, размахивая саблей, выскочил принц Татарии с нарисованными черными усами. Не помню, как именно наступил хеппи-энд, но сохранилось воспоминание, что в конце концов принц перекинул меня через плечо на манер пожарного и увез к себе в Татарию.

В моей памяти задержались некоторые крайне неловкие моменты, буквально вызывающие у меня стон, когда я их вспоминаю. В Чейфин-Гроув было принято каждый день устраивать чаепитие с бутербродами. Время от времени случалось, что, когда мы выстраивались в очередь, чтобы проследовать в столовую, дежурный учитель зачитывал список имен, составленный мальчиком, у которого был день рождения. Перечисленные приглашенные выходили из очереди и садились за особый стол в дальнем конце столовой, на котором стояли праздничный торт, желе и другие вкусности, присланные любящей матерью. Я понимал, как это делается, и понимал, что нужно передать список имен своих друзей дежурному учителю. С этим все было ясно. Но от моего внимания ускользнула одна мелочь: следовало заранее договориться с мамой, чтобы она прислала торт и желе. В свой день рождения (наверное, мне исполнилось девять) я составил список друзей и дал его дежурному учителю, который зачитал имена вслух. Мои избранные друзья радостно вошли в столовую, обнаружили пустой стол и… Прошло столько лет, но мне до сих пор так неловко, что я не в силах описывать эту сцену дальше. У меня по-прежнему не укладывается в голове, как же я не задумался о том, откуда в таких случаях берется торт. Наверное, я смутно

воображал, что его должен предоставить школьный повар. Но даже если так, почему я не подумал о том, откуда повару знать, что у меня день рождения? Возможно, я полагал, что торт должен материализоваться сверхъестественным образом, по волшебству, – подобно монеткам, которые появляются под подушкой, если положить туда выпавший зуб. Как и история с игрой в прятки на горе Зомбе, этот случай показывает, что в детские годы мне, к сожалению, абсолютно не было свойственно критическое или скептическое мышление. Хотя я и нахожу эти случаи неловкими, я считаю, что неспособность продумать, насколько правдоподобны те или иные вещи, встречается у людей столь часто, что может быть интересной темой для изучения. Я еще вернусь к этому вопросу.

В первые годы учебы в Чейфин-Гроув я был исключительно неряшливым и неаккуратным мальчиком. В первых письменных отзывах учителей обо мне настойчиво повторяется тема чернил.

Директор школы: Порой выполнял хорошую работу и вполне заслуживает поощрения. Но в настоящее время у него все в чернилах, и это может портить его работу.

Учитель математики: Работает очень хорошо, но я не всегда могу разобрать то, что он пишет. Ему нужно усвоить, что чернила существуют, чтобы ими писать, а не умываться.

Учитель латыни: Уверенно делает успехи, но, когда пишет чернилами, его письменные работы выходят очень неряшливыми.

Мисс Бенсон, пожилой учительнице французского, удалось пропустить лейтмотив чернил, но и в ее отзыве не обошлось без шпильки в конце.

Учительница французского: Большие способности, хорошее произношение и замечательное умение отлынивать от работы.

Что я могу сказать о чернилах? А чего можно ждать от детей, если на каждой парте стоит открытая чернильница и у каждого есть перьевая ручка, которая как будто создана для того, чтобы забрызгивать чернилами всю комнату или, по крайней мере, покрывать страницу за страницей большими блестящими каплями, которые потом можно размазывать по краям, рисуя пауков, или превращать в кляксы Роршаха, складывая бумагу вдвое? Не удивительно, что все умывальники были усыпаны пемзой (мы думали, что она называется не *pumice*, а *pummy*), которую использовали, чтобы счищать с пальцев чернильные пятна. Должен признаться, что я портил вездесущими чернилами не только свои тетрадки, но и учебники. Я говорю даже не о том, что превращал название учебника Бенджамина Холла Кеннеди “Краткий курс латыни для начинающих” (*Shorter Latin Primer*) в “Поедание песочного печенья для начинающих” (*Shortbread Eating*

Primer). Это разумелось само собой, все так делали. В своем личном увлечении чернилами я заходил намного дальше. Все мои школьные учебники были сплошь покрыты моими каракулями. Я не только приписывал буквы, но и рисовал в правом верхнем углу страниц картинки, которые двигались, если быстро пролистывать книгу. Наши учебники нам не принадлежали: мы должны были сдавать их в конце каждого семестра, после чего их выдавали тем, кто учился на класс младше. И я знал, что, когда придет время расставаться с моими изукрашенными чернилами учебниками, у меня будут неприятности. Я так волновался по этому поводу, что не спал ночами и терял аппетит (надо признать, что кормили нас довольно скверно), и тем не менее продолжал это делать. Я понимаю, что тот портивший книги ребенок и библиофил, каким я ныне стал, – в некотором смысле один и тот же человек, но то мое детское поведение теперь остается за пределами моего понимания. То же самое я чувствую по поводу своего тогдашнего отношения к травле других учеников и подозреваю, что эти чувства разделяют едва ли не все мои сверстники.

Многое из того, что могло показаться травлей, было просто бахвальством – пустыми угрозами, пустоту которых подтверждали отсылки на неопределенное будущее. Угроза “Ну всё! Ты сам напросился. Вношу тебя в список тех, кого нужно поколотить” была примерно такой же туманной, как и угроза “Когда ты умрешь, то попадешь в ад” (хотя, увы, далеко не все считают последнее такой уж туманной угрозой). Но была и настоящая травля, особенно той жестокой разновидности, при которой вокруг предводителя объединяется команда прихвостней, старающихся снискать его одобрение, издеваясь над выбранной жертвой.

В Чейфин-Гроув тоже был мальчик, к которому относились, как к “Тетушке Пегги” из школы Орла, и травили его еще хуже. Он был не по годам развит интеллектуально, блестяще учился, но был нескладным и неуклюжим, у него был скрипучий голос, который рано начал ломаться; с ним мало кто дружил. Я не стану называть его имени из опасения, что он прочтет здесь о себе, а ему, возможно, по-прежнему тяжело вспоминать о том, как над ним издевались в то время. Он был плохо приспособлен к жизни – как гадкий утенок, которому несомненно предстояло стать лебедем и который должен был вызывать сочувствие. Он и вызывал бы его в любой нормальной человеческой среде, но только не в голдинговских джунглях спортивной площадки. Целая команда травивших этого мальчика учеников носила его имя – “Анти… команда”, ее единственной задачей было делать его жизнь адом, хотя вина его заключалась лишь в том, что был

некрасив и неловок, не умел поймать мяч, а бегал медленно и вразвалочку и при этом был очень, очень способным.

Он был приходящим учеником, то есть каждый вечер мог укрыться у себя дома (в отличие от нынешних школьников, мучители которых преследуют их и за воротами школы – в Фейсбуке или Твиттере). Но в течение одного из семестров он по какой-то причине (возможно, его родители уехали за границу) вынужден был жить в Чейфин-Гроув. Тут-то и началось настоящее веселье. Его мучения усугублялись тем, что он не переносил холодных ванн. Не знаю, связано ли это было с боязнью холодной воды или с тем, что он стеснялся своей наготы, но то, что все мы проделывали не моргнув глазом, для него было невообразимым ужасом, и он весь трясся и рыдал, судорожно прижимая к себе полотенце, которое ни в какую не хотел отпускать. Холодная ванна была для него как оруэлловская комната 101[58]

. Наконец Гэллоуз сжалился над ним и разрешил ему не ходить на прием холодных ванн по утрам. Что, разумеется, оказало особое влияние на его популярность среди сверстников, и без того запредельно низкую.

Теперь я просто не представляю себе, как люди могут быть такими жестокими, но именно такими, в большей или меньшей степени, были мы все – хотя бы потому, что никто из нас не остановил этой травли. Почему у нас не нашлось ни капли сострадания? В романе Олдоса Хаксли “Слепец в Газе” есть сцена, где герои со стыдом и недоумением вспоминают, как издевались над подобным гадким утенком в спальне своей школы-интерната. Чувство вины, которое испытываю я и которое, по-видимому, испытывают и все мои друзья из Чейфин-Гроув, не забывшие эту историю, возможно, позволяет хоть немного приблизиться к пониманию того, как тюремщики в концлагерях могли делать то, что делали. Не была ли деятельность гестапо следствием патологического сохранения у взрослых людей черт нормальной детской психологии? Вероятно, это слишком простое объяснение, но ныне, будучи взрослым, я мучительно размышляю об этом. И ведь нельзя сказать, чтобы я был лишен сострадания. Доктор Дулиттл научил меня сострадать другим существам так сильно, что большинству людей это показалось бы чрезмерным. Когда мне было лет девять, мы с бабушкой удили рыбу с лодки в гавани Маллиона, и я, на беду, поймал скумбрию. Мне тут же стало ее жалко до слез, и я захотел отпустить рыбку. Мне не разрешили, и я расплакался. Бабушка была доброй и постаралась меня утешить, но все же не настолько доброй, чтобы разрешить мне отпустить бедную тварь.

Я также (возможно, тоже чрезмерно) сострадал школьным

товарищам, которым грозило наказание. Я прилагал все мыслимые и немыслимые усилия (вплоть до безрассудства), пытаясь доказать их невиновность, и, пожалуй, расцениваю это как проявления сострадания. И все же я и пальцем не пошевелил, чтобы остановить отвратительные издевательства, о которых только что рассказал. Думаю, это было отчасти связано с желанием не уронить себя в глазах тех, кто пользовался успехом в нашей среде. У успешных мучителей всегда есть ватага верных приспешников. Эта характерная особенность ярко проявляется в жестокости словесной травли, настоящей эпидемией которой охвачены онлайновые форумы, где к тому же травле способствует безнаказанность, предоставляемая анонимностью. Но я не припомню, чтобы даже тайком жалел жертву издевательств в Чейфин-Гроув. Как такое возможно? Эти противоречия терзают меня и по сей день, наряду с сильным чувством стыда за свое тогдашнее поведение.

Аналогично ситуации с чернилами мне трудно разобраться в том, как “совместить” ребенка с тем взрослым, в которого он превратился. Подозреваю, что подобные трудности испытывает большинство людей. Противоречие, с которым мы здесь сталкиваемся, вероятно, связано с нашим убеждением, что ребенок – это тот же индивидуум, что и взрослый: “Кто есть Дитя? Отец Мужчины…”[59]

Это убеждение вполне естественно, потому что в нашей памяти дни за днями, а значит, и десятилетия за десятилетиями следуют друг за другом непрерывно, хотя и утверждается, что в нашем теле не остается ни одной из тех молекул, что составляли его десятки лет назад. Поскольку я никогда не вел дневника, я смог написать эту книгу только благодаря такой непрерывности. Но некоторые из самых глубоких наших философов (например, Дерек Парфит в книге “Причины и личности”[54], а также другие мыслители, которых он цитирует) показали путем остроумных мысленных экспериментов, что наше представление о себе как о том же человеке, кем мы были много лет назад, далеко не очевидно. Психологи, скажем Брюс Худ, подходили к этой проблеме с других сторон. Здесь не место подробным философским рассуждениям, поэтому я ограничусь лишь одним наблюдением: непрерывность памяти дает мне *ощущение* того, что на протяжении всей жизни я оставался одним и тем же человеком, хотя в то же время мне и трудно поверить, что я – тот самый человек, который в юности уродовал книги и не сострадал жертвам издевательств.

Мои собственные успехи в спортивных играх были тоже не на высоте, но у нас в школе был корт для игры в сквош, и я просто

помешался на этой игре. Мне не доставляло особого удовольствия пытаться выиграть у противника, но нравилось самому отбивать отскакивающий от стенки мяч, да еще и как можно больше раз. На каникулах у меня начиналась настоящая ломка, я скучал по резиновому запаху мяча и отдающимся эхом звукам его ударов о стену и мечтал устроить корт для игры в сквош где-нибудь на нашей ферме, например в заброшенном свинарнике.

Возвращаясь после каникул в Чейфин-Гроув, я имел обыкновение следить с галерки за игрой в сквош, ожидая ее окончания, чтобы самому пробираться на корт и продолжать практиковаться. Однажды (мне было, вероятно, лет одиннадцать) вместе со мной на галерке оказался один из учителей, который усадил меня к себе на колено и засунул руку мне в трусы. Он только слегка ощупал меня, но это было неожиданно и крайне неприятно (кремастерный рефлекс вызывает не боль, а пугающее ощущение мурашек по коже, которое едва ли не хуже, чем боль). Вырвавшись из его рук, я тут же побежал рассказывать об этом своим друзьям, со многими из которых, как выяснилось, этот учитель проделывал то же самое. Не думаю, что он нанес кому-либо из нас серьезную травму, но пару лет спустя он покончил с собой. В день, когда это стало известно, во время утреннего богослужения в воздухе висело мрачное предчувствие, и по его окончании Гэллоуз объявил нам о случившемся. Одна из учительниц заплакала. Много лет спустя в столовой Нового колледжа в Оксфорде со мной за столом сидел один важный епископ. Я узнал его по имени: когда-то (будучи намного стройнее) он служил вторым священником в церкви Св. Марка, куда учеников Чейфин-Гроув каждое воскресенье водили, построив парами, к заутрене. Епископ был, очевидно, в курсе тогдашних слухов и рассказал мне, что та учительница была безнадежно влюблена в покончившего с собой учителя-педофила. Никто из нас об этом не догадывался.

По воскресеньям мы ходили, как уже было сказано, к заутрене в церковь Св. Марка, а по будним дням и по вечерам богослужение проводилось в нашей школьной церкви. Гэллоуз был крайне религиозен, причем всерьез, а не для вида: он действительно во все это верил, в отличие от многих педагогов (и даже священников), которые притворяются, потому что им так положено, и политиков, которые притворяются, потому что, по их впечатлениям (преувеличенным, как я подозреваю), это помогает завоевывать голоса избирателей. Бога Гэллоуз обычно называл *king* (“царь, король”), причем произносил это слово как *keeng*, что было странно, поскольку в остальном его произношение было общепринято-нормативным. По-моему, в детстве меня это

несколько сбивало с толку. Я, должно быть, осознавал, что король Георг VI не был Богом, но в моей голове сложилось некое ощущение связи королевского и божественного, почти как при синестезии. Это ощущение сохранилось и после смерти Георга VI – во время коронации его дочери, когда Гэллоуз внушил нам глубокое почтение к бессмысленным обрядам вроде помазания на царство. Отголоски этого почтения просыпаются во мне и теперь, когда я вижу посвященную коронации сувенирную кружку 1953 года или слышу потрясающий гимн Генделя “Садок-священник” (или марш Уолтона “Держава и скипетр”, или “Торжественные и церемониальные марши” Элгара).

Каждый воскресный вечер мы слушали проповедь, которую читал либо Гэллоуз, либо Слаш, по очереди: Гэллоуз – в мантии магистра Кембриджского университета, с белым капюшоном, а Слаш – в мантии магистра Оксфордского университета, с красным капюшоном. В моей памяти засела одна необычная проповедь. Не помню, кто ее читал, но кто бы это ни был, он рассказал нам историю про группу солдат, проходивших строевую подготовку возле железной дороги. Что-то отвлекло внимание сержанта-инструктора, и он вовремя не скомандовал “кругом!”, так что солдаты, маршируя, вышли на рельсы – и попали прямо под колеса проходящего поезда. История, разумеется, выдуманная, и теперь я полагаю, что сам додумал ту мораль, которая мне запомнилась: что мы должны были восхищаться этими солдатами и их беспрекословным повиновением командиру. Вероятно, здесь память меня подводит. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Элизабет Лофтус и ряд других психологов показали, что ложные воспоминания могут быть неотличимы от истинных. Это относится даже к случаям, когда недобросовестный психотерапевт специально убеждает в чем-то своих пациентов, например в том, что в детстве они были жертвами домогательств со стороны взрослых.

Однажды воскресную проповедь нам прочитал один из младших учителей, приятный молодой человек, которого звали Том Стедман. Судя по всему, он очень не хотел этого делать, но его уговорили. Это занятие явно вызывало у него отвращение. Я помню, что он часто повторял фразу “Зачем же рай?”. Меня бы это меньше удивило, если бы я догадался (тогда, а не много лет спустя), что это цитата из Браунинга[60]

. У другого любимого учениками молодого учителя, мистера Джексона, был красивый тенор. Как-то раз его упросили исполнить арию Генделя “Ибо вострубит…”, что он тоже сделал крайне неохотно, видимо, полагая (и вполне справедливо), что мы все равно не оценим его искусство.

Мы не ценили и тех лекторов и артистов, которые иногда выступали в нашей школе, хотя, наверное, хорошо уже и то, что я все-таки кое-кого запомнил. Среди них были капитан Кит-Джопп, прочитавший лекцию об археологии на тему “Никуда не исчезло”, леди Халл, сыгравшая на пианино в столовой “Венский карнавал” Шумана, кто-то, рассказавший нам об антарктических экспедициях Шеклтона, еще кто-то, показавший мерцающий черно-белый фильм о спортсменах двадцатых и тридцатых годов, в том числе о Сиднее Вудерсоне, и трио ирландских музыкантов, соорудивших для себя небольшую сцену и исполнивших песню про скрипку за девять пенсов[61]

. Одна лекция была о взрывчатых веществах. Лектор продемонстрировал нам предмет, который назвал динамитной шашкой, мимоходом заметив, что если ее уронить, то вся школа взлетит на воздух, после чего подбросил ее и поймал. Мы, конечно, поверили ему – наивные, легковерные дети. А как мы могли не поверить? Он был взрослым, а нам все время внушали, что нужно верить тому, что тебе говорят.

Мы верили не только взрослым. Мы проявляли легковерие и у себя в спальне, где нам каждый вечер врал с три короба наш главный любитель небылиц. Он уверял нас, что Георг VI – его дядя и что несчастный король живет в Букингемском дворце как пленник и передает оттуда прожектором отчаянные послания для нашего неутомимого рассказчика, своего племянника. Еще этот юный фантазер пугал нас историями об ужасном насекомом, которое спрыгивает со стены человеку на голову, прогрызает в виске аккуратную дырку размером со стеклянный шарик и помещает туда порцию яда, от которого человек умирает. Во время сильной грозы он рассказал нам, что, когда в человека попадает молния, тот не замечает этого в течение пятнадцати минут. Первым признаком неладного служит кровь, которая начинает сочиться из обоих ушей. Через некоторое время человек умирает. Мы в это поверили, и после каждой вспышки молнии мучительно ожидали, не потечет ли у нас кровь из ушей. Почему мы ему верили? Какие у нас были основания считать, что он знает больше, чем мы? Было ли хоть сколько-нибудь правдоподобно, что человек, в которого попала молния, может в течение пятнадцати минут ничего не чувствовать? Беда была, опять же, в том, что нам не было свойственно критическое мышление. Не следует ли с раннего возраста учить детей критически, скептически мыслить? Не следует ли учить всех нас сомневаться, оценивать правдоподобие, требовать доказательств?

Может быть, и следует, но нас этому не учили. Легковерие не только не порицалось, но даже поощрялось. Гэллоуз придавал

огромное значение тому, чтобы еще до окончания школы мы все прошли конфирмацию по англиканскому обряду, и почти все ученики ее проходили. Единственными исключениями, насколько я помню, были один мальчик из католической семьи (ходивший каждое воскресенье в другую церковь, причем в завидной компании: симпатичная заместительница заведующей хозяйством тоже была католичкой) и еще один, не по годам развитой ученик, поражавший нас тем, что объявлял себя атеистом: он назвал Библию “святая чушь”, и мы каждый день ожидали, что его поразит громом (его иконоборчество, если не его умение логически мыслить, проявлялось и в свойственном ему стиле доказательства геометрических теорем: “Треугольник ABC *выглядит* равнобедренным, следовательно…”).

Я записался на подготовку к конфирмации вместе со всеми, и викарий церкви Св. Марка мистер Хайэм каждую неделю проводил для нас в школьной церкви соответствующие уроки. Это был красивый, благодушный седовласый священник, и мы слушали его развесив уши. Мы не понимали смысла того, что он нам рассказывал, но объясняли себе это тем, что еще слишком маленькие, чтобы понять. Теперь мне ясно, что мы и не могли ничего понять в его словах, просто потому, что никакого смысла в них и не было, это были сплошные бессмысленные выдумки. У меня сохранилась Библия, подаренная в день конфирмации, и мне то и дело случается к ней обращаться. На сей раз это была уже не детская версия, а настоящая “Библия короля Якова”, и я до сих пор помню наизусть некоторые из лучших ее фрагментов, особенно из Экклезиаста и Песни песней (написанных, разумеется, вовсе не Соломоном).

Моя мать недавно рассказала мне, что мистер Гэллоуэй звонил родителям каждого ученика, чтобы сказать, какое огромное значение он придает нашей конфирмации. Он говорил, что в 13 лет дети особенно восприимчивы, поэтому конфирмацию следует проходить не позже этого возраста, прививая ребенку твердые религиозные устои еще до публичной школы, где ему грозит столкнуться с антирелигиозным влиянием. Что ж, по крайней мере, он честно признавался в своих замыслах относительно наших неокрепших умов.

В период подготовки к конфирмации я стал очень религиозным. Я сердито упрекал свою маму за то, что она не ходит в церковь. Она воспринимала это очень спокойно, вместо того чтобы послать меня куда подальше, как следовало бы сделать. Каждый вечер я молился, но не стоя на коленях у кровати, а свернувшись в позе эмбриона под одеялом, где, как я сам себя убедил, у меня был “свой собственный уголок общения с

Богом”. Я хотел (хотя так и не осмелился) пробраться глубокой ночью в школьную церковь и преклонить колени перед алтарем, где, как я верил, мне может явиться видение ангела (но, разумеется, только если я буду молиться достаточно усердно).

В мой последний семестр, когда мне было тринадцать, Гэллоуз назначил меня старостой. Не знаю, почему я был так этому рад, но весь семестр я пребывал в приподнятом настроении. Через много лет, когда заведующий моим отделением в Оксфорде был посвящен в рыцари, я участвовал в праздновании этого события. Я спросил одного коллегу, рад ли наш профессор оказанной ему чести, и услышал запомнившийся мне ответ: “Как пес с тремя хренами”[62]. Вот примерно так я и чувствовал себя, когда меня назначили старостой. А также когда был принят в Железнодорожный клуб.

Железнодорожный клуб оказался для меня главной причиной радоваться тому, что родители отдали меня именно в Чейфин-Гроув. Этот клуб возглавлял мистер Четвуд-Эйкен, который вообще-то не работал учителем – за исключением тех редких случаев, когда находился ученик, желающий изучать немецкий. Настоящей страстью этого меланхоличного человека с вытянутым лицом была его Железнодорожная комната, и казалось, что только ей он и занимается (хотя я погуглил сведения о нем и узнал, что он был известным корнуолльским художником). Четвуд-Эйкену была выделена одна из школьных комнат, в которой он сконструировал поистине волшебный электрический макет Большой западной железной дороги с шириной колеи 35 мм, включавший две конечные станции, Пэддингтон и Пензанс, и одну промежуточную – Эксетер. У каждого паровозика было имя, например Сьюзан или Джордж, а оба прелестных маневровых локомотивчика назывались Боанергес (Бо Первый и Бо Второй). На всех станциях были приборные доски, а на них – переключатели, управляющие своим участком путей: красные – в направлении к Лондону, а синие – от Лондона. Когда поезд прибывал в Пэддингтон, нужно было отцепить его от большого паровоза, подвести к нему один из маленьких маневровых локомотивов, стоявших на запасных путях, перегнать поезд с пути к Лондону на путь от Лондона, перевести паровоз на поворотную платформу и развернуть, а затем прицепить его к поезду с нового переднего конца и отправить поезд обратно в Пензанс, где весь процесс повторялся. Я обожал запах озона, производимый электрическими разрядами, и был в полном восторге от возможности управлять переключателями в правильном порядке, осуществляя всю описанную последовательность операций. Думаю, что то удовольствие, которое я от этого получал, было

сродни удовольствию, которое я впоследствии получал от программирования, а также от пайки своего однотранзисторного радиоприемника. Всем хотелось вступить в Железнодорожный клуб, а те, кто в него вступал, души не чаяли в мистере Четвуд-Эйкене, несмотря на его вечно скорбный вид. Позже я узнал, что в то время он мог быть уже серьезно болен: он умер от рака вскоре после того, как я покинул Чейфин-Гроув. Не знаю, сохранилась ли Железнодорожная комната после его смерти, но думаю, что со стороны администрации школы было бы безумием от нее избавиться.

Как мне ни нравилось быть членом Железнодорожного клуба и пользоваться правом заходить без спроса в кабинет старост, пришла пора отправляться в другую школу и снова начинать с нуля. Когда мне было всего три месяца, мой отец хотел записать меня в колледж Мальборо – ту публичную школу, где учился сам. Однако ему сообщили, что он опоздал. Надо было записывать меня, как только я родился (интересно, как скоро это предложение начнут цитировать вне контекста?)[63]. Моему отцу, выпускнику Мальборо, было очень обидно получить из колледжа высокомерное письмо, извещавшее об этом, но он все-таки поставил меня на очередь, и, когда пришло время, я вполне мог отправиться в Мальборо. Но тем временем отец заинтересовался другой возможностью. На него произвело впечатление, каким мастером на все руки был наш сосед майор Кэмпбелл, фермер-джентльмен[64], имевший хорошо оборудованную мастерскую, где он на профессиональном уровне занимался сваркой. Папа, естественно, полагал, что я тоже могу выбрать профессию фермера, а умелые руки дают большие преимущества в этой профессии (как я недавно узнал от одного из самых успешных фермеров, которых мне доводилось встречать, и, несомненно, самого нестандартного предпринимателя из них всех – великого и могучего Джорджа Скейлса)[65].

Майор Кэмпбелл освоил это мастерство в Аундловской школе в Нортгемптоншире. В Аундле была лучшая школьная мастерская в стране, а знаменитый директор Фредерик Уильям Сэндерсон, возглавлявший эту школу с 1901 по 1922 год, внедрил систему, при которой каждый ученик проводил целую неделю каждого семестра в мастерских и на это время все остальные школьные занятия прерывались. Ничем подобным не могли похвастаться ни колледж Мальборо, ни какая-либо другая школа. Поэтому мои родители записали меня в Аундл, и во время своего последнего семестра в Чейфин-Гроув я сдавал экзамен на стипендию, дававшую право бесплатного обучения там. Стипендию я не получил, но сдал экзамен достаточно хорошо, чтобы быть

принятым в Аундл. Именно туда меня и отдали. Это было в 1954 году, когда мне было тринадцать.

Впрочем, я не знаю, какие еще из своих качеств майор Кэмпбелл выработал за время обучения в Аундле. Полагаю, что жесткий подход к мелким бунтовщикам он усвоил уже в армии. Однажды он поймал одного из своих работников с поличным на мелкой краже – кажется, какого-то инструмента из своей мастерской – и тут же прогнал его, причем в буквальном смысле: “Даю тебе фору в пятьдесят ярдов, а потом буду стрелять из обоих стволов”. Он, разумеется, не стал бы выполнять эту угрозу, но история все равно впечатляет и может служить еще одним примером перемен морального духа времени.

“Малый срок отпущен лету”

Жизнь, разумеется, не ограничивалась школой. В Чейфин-Гроув мы с нетерпением ждали окончания каждого семестра, и нашим любимым церковным гимном был тот, что мы пели в последний день: “Да хранит вас Бог до новых встреч…”[66] Мы любили его даже больше, чем волнующе воинственный миссионерский гимн, хотя от того мы тоже были в восторге:

> Эй, друзья! Смотрите: в небе вьется светлый стяг.
> Подкрепленье на подходе, вот победы знак!
> “Форт держите, к вам иду я!” – Бог сигналит нам.
> Наш ответ – “С Твоей подмогой!” – слышен небесам[67].

Мы все с радостью разъезжались по домам на каникулы: одни – на школьном поезде до Лондона, другие (в том числе и я) – с родителями на машинах. В моем случае это был потрепанный старый “лендровер”, что, впрочем, никогда меня не смущало, хотя и считается, что юных снобов из школ-интернатов должно сильно смущать, если родители приезжают за ними на чем-либо дешевле “ягуара”. Я даже гордился нашим автомобилем-ветераном с протекающей крышей, на котором мой отец ломился по бездорожью по азимуту, исходя из восхищавшей меня идеи, что два прямолинейных участка шоссе, которые, судя по замусоленной официальной карте, лежали на одной прямой, некогда точно соединяла римская дорога.

Такого рода поступки были очень характерны для моего отца. Как и его отец, он обожал карты. Еще они оба обожали все записывать, например сведения о погоде. Папа много лет дотошно заполнял тетрадку за тетрадкой данными о суточных максимальной и минимальной температурах, а также уровне осадков. Правда, однажды мы заметили, как наша собака писает в дождемер, но это не так уж сильно охладило интерес моего отца к показаниям данного прибора, хотя мы и не могли узнать, сколько раз наш любимый Банч делал это раньше и в какие дни уровни осадков были подобным способом завышены.

У отца всегда было какое-нибудь хобби, в которое он погружался с головой. В этих хобби обычно находилось применение его умению работать руками, которое было у него на высоте, хотя он скорее принадлежал к поклонникам старых железяк и красного сноповязального шпагата, нежели к научной

школе токарного станка и сварочного аппарата, как майор Кэмпбелл. Отец был избран членом Королевского фотографического общества за свои изящные серии “наплывающих” изображений – искусно составленные последовательности цветных слайдов, демонстрируемые попеременно двумя проекторами, так что одна картинка плавно перетекала в другую в сопровождении звуков музыки и комментариев рассказчика. Сегодня все это можно делать на компьютере, но в те времена плавное появление и исчезновение изображений достигалось за счет ирисовых диафрагм, соединенных таким образом, что по мере открывания одной другая закрывалась. Мой отец изготовил для обоих проекторов ирисовые диафрагмы из картона, соединив их друг с другом чертовски остроумно сконструированной системой резиновых лент и красного шпагата, приводимой в движение деревянным рычажком.

У нас в семье такие изображения называли “бредовыми” (*drivelling*), а не “наплывающими” (*dissolving*), потому что именно так кто-то однажды прочитал это слово в неразборчивой записке. Мы все настолько привыкли именовать данный жанр “бредом”, что нам и в голову не приходило называть его как-либо иначе, и это слово утратило для нас свое исходное значение. Однажды отец выступал в каком-то фотоклубе, демонстрируя свои фотографии (в те времена подобные выступления были для него обычным делом). В тот раз он показывал в основном свои старые снимки, сделанные еще до увлечения “бредом”, и в самом начале своего выступления он стал объяснять это публике. Папе была свойственна трогательная манера говорить, слегка запинаясь и путаясь, и при первых же его словах слушатели сразу оживились, хотя и были несколько сбиты с толку: “Ну вот, да, вот, э-э-э, эти кадры в основном относятся, э-э-э, в основном относятся к тому периоду, когда я еще не занимался *бредом*…”

Не вполне изящный стиль его речи проявлялся и в ту пору, когда он ухаживал за моей матерью. Однажды, нежно глядя ей в глаза, отец пробормотал: “Твои глаза как… мешочки с завязками”. Как ни нелепо это звучит, мне кажется, я понимаю, что он хотел сказать этим сравнением, которое тоже имеет некоторое отношение к ирисовым диафрагмам. Если смотреть на мешочек с завязками сверху, расходящиеся складки по краям стянутого шнурком отверстия немного напоминают красивый лучистый узор ириса (радужной оболочки) – диафрагмы человеческого глаза.

Был год, когда его главным хобби стало изготовление для всех своих родственниц ожерелий, которые он делал из добытых в

Корнуолле серпентинитовых галек, просверливая в них отверстия и нанизывая на кожаные ремешки. А как-то папа с головой погрузился в проектировку и изготовление для своего молочного хозяйства автоматизированного пастеризатора с разноцветными сигнальными лампочками и подвесным конвейером для бидонов. Один из его работников, Ричард Адамс (другой Ричард Адамс, не тот, что написал сказку про кроликов), отвечавший на ферме за свиноводство, сочинил по этому поводу следующую эпиграмму:

Огни горят, клубы парят, как в грандиозной бане,
А вон под звон летит бидон, как фея в балагане.

У моего отца никогда не иссякали творческие идеи. Он много размышлял (благо на это было время), пока обрабатывал поля, сидя в своей поношенной форменной шляпе Королевских африканских стрелков за рулем маленького серого трактора “фергюсон” и распевая во весь голос псалмы (“Моав – умывальная чаша моя…” – кстати, хотя папа и любил петь псалмы, он вовсе не был религиозен). Он решил, что впустую тратит время, разворачиваясь по своим следам в конце каждой полосы, и придумал оригинальную схему диагональной продольной и поперечной вспашки с разворотами под небольшими углами, позволявшую ему вспахивать все поле дважды, тратя на это лишь ненамного больше времени, чем при обычном способе уходило на однократную вспашку.

Работая в поле, отец всегда был изобретателен, но не всегда благоразумен. Однажды у трактора заело сцепление, и он ни в какую не хотел двигаться с места. Отец лег на землю под сцеплением, чтобы разобраться, в чем дело, и в итоге сумел исправить неполадку. Беда в том, что, лежа под сцеплением трактора, он также лежал прямо перед большим левым задним колесом. После починки трактор бодро двинулся вперед и переехал моего отца. Надо сказать, что ему еще повезло, что это был маленький “фергюсон”, а не какой-нибудь современный гигант. Трактор весело покатил через поле, а работник моего отца Норман, на глазах у которого это случилось, от ужаса просто остолбенел, и отцу пришлось приподняться и велеть ему догнать и остановить беглеца. Бедный Норман так трясся, что не мог даже отвезти моего отца в больницу, и тому пришлось самому садиться за руль. Папу госпитализировали, и он пролежал некоторое время с ногой на вытяжке, но никаких серьезных травм, по-видимому, не получил. Положительным побочным эффектом пребывания в

больнице стало то, что он бросил курить трубку. Ему удалось навсегда избавиться от этой привычки, и единственным ее последствием оказались сотни пустых жестянок из-под табака с надписью “Вот уж и правда старый добрый пряный табачок!”, которые папа еще не один десяток лет использовал для хранения всевозможных винтов, гаек, шайб и самых разных старых и грязных металлических деталей, которые он так любил.

Под влиянием проповедей автора книг о сельском хозяйстве Фрэнка Ньюмана Тернера, а также, возможно, и своего эксцентричного друга по Мальборо и Оксфорду Хью Корли мой отец стал одним из первых приверженцев органического земледелия – задолго до того, как оно вошло в моду и ему стали покровительствовать принцы. Он никогда не использовал неорганических удобрений и гербицидов. Авторитеты, у которых он учился органическому земледелию, не одобряли также и комбайнов, да к тому же наша ферма была слишком маленькой, чтобы нам действительно стоило обзаводиться такой махиной, поэтому поначалу мы собирали урожай с помощью старой сноповязалки. Она с громыханием катила по полю за нашим маленьким серым трактором, срезая на своем пути пшеницу или ячмень и выплевывая сзади аккуратно перевязанные снопы (хитроумный механизм, завязывавший узлы, вызывал у меня изумление). А дальше начиналась настоящая работа, потому что снопы нужно было собирать в копны. Мы большой толпой шли за сноповязалкой, подбирая по два снопа и составляя из них небольшие вигвамы (копны), по шесть снопов в каждом. Это был тяжелый труд, после которого наши руки были исцарапаны и натерты, иногда до крови, но мы все равно были довольны, а ночью всласть отсыпались. Моя мать приносила на поле в кувшинах бочковой сидр (скрампи) для работников, и, когда они утоляли им жажду, сцена была исполнена теплоты и чувства товарищества – почти как в романах Томаса Харди.

Собирать снопы в копны требовалось для просушки, после чего их грузили в телегу и забрасывали на скирду. В детстве мне не хватало сил забросить сноп вилами прямо на самый верх, но я очень старался и завидовал отцу, у которого были сильные мозолистые руки – не хуже, чем у любого из его работников. Через несколько недель отец брал напрокат молотилку, которую ставили рядом со скирдой. Снопы подавали в молотилку вручную, и она вымолачивала зерно, а также делала из соломы брикеты. Все работники фермы – и скотники, и мастера на все руки, да, собственно, кто угодно – по собственному почину присоединялись к этой работе. Позже мы все-таки пошли в ногу со временем и стали брать напрокат соседский комбайн.

В одной из предыдущих глав я писал, что тайком пробирался к себе в спальню, чтобы читать книги, вместо того чтобы носиться по улице в любую погоду, продолжая добрую семейную традицию Докинзов. Тем не менее, положа руку на сердце, я не могу похвастаться тем, что произведения, которые я читал во время школьных каникул, имели большое отношение к философии, смыслу жизни и прочим премудростям. Это было обычное юношеское чтиво: “*Билли Бантер*”, “*Этот Вильям!*”, “*Биггльз*”, “*Бульдог Драммонд*”, книги Перси Фрэнсиса Уэстермана, “*Алый Первоцвет*”, “*Остров сокровищ*”. У нас в семье почему-то не одобряли Энид Блайтон и убедили меня, что читать ее не стоит. Дядя Кольер одну за другой дарил мне книги Артура Рэнсома, но я ими как-то не проникся. Помнится, они казались мне слишком девчачьими, что было глупо с моей стороны. Книги Ричмал Кромптон о Вильяме, по-моему, можно считать настоящей литературой, а их ироничность в состоянии оценить и ребенок, и взрослый. И даже книги о Билли Бантере, хотя и написаны так шаблонно, что их мог сочинить чуть ли не компьютер, все же не лишены литературных аллюзий, например: “как в свое время Моисей, он посмотрел туда и сюда и увидел, что нет никого” или “как толстая пери у врат рая”[68]. В книгах о Бульдоге Драммонде показаны глубины ура-патриотической и расистской нетерпимости, столь характерной для описанной в них эпохи, но в юности я по наивности этого не замечал. У моих дедушки и бабушки по материнской линии была книга “Унесенные ветром”, которую я не раз жадно перечитывал на летних каникулах, но лишь став старше, осознал толком содержащиеся в ней элементы патерналистского расизма.

Семейная жизнь в Овер-Нортоне была, в общем, такой счастливой, какой только может быть семейная жизнь. Мои родители были очень привязаны друг к другу. Незадолго до смерти отца в возрасте 95 лет в декабре 2010 года им посчастливилось отпраздновать семидесятую годовщину своей свадьбы. Наша семья не была особенно богатой, но и бедной тоже не была. Мы обходились без центрального отопления и телевизора, хотя телевизор родители могли себе позволить – но заводить не хотели. Семейным автомобилем нам служил вышеупомянутый грязный старый “лендровер” или небольшой фургон. Это были отнюдь не шикарные автомобили, но служили они нам исправно. Мы с Сарой учились в дорогих школах, и родителям, несомненно, приходилось экономить на других расходах, чтобы оплачивать наше обучение. Наша семья отдыхала не на Лазурном Берегу в роскошных отелях, а в Уэльсе в армейских палатках, поливаемых дождем. Во время этих поездок

мы мылись в брезентовой ванне, некогда принадлежавшей департаменту лесного хозяйства Бирмы, грелись у костра и готовили на нем еду. Однажды мы с Сарой слышали из своей палатки, как наш отец, принимая ванну, в которую не помещались его ноги, задумчиво бормотал себе под нос: “Как-то мне раньше не доводилось принимать ванну, не снимая ботинок”.

В течение трех важных для формирования личности лет моей ранней юности со мной был друг – почти что старший брат. Близкие друзья нашей семьи Дик и Маргарет Кеттлуэлл остались в Ньясаленде. Дик в очень молодом возрасте возглавил департамент сельского хозяйства и так славно зарекомендовал себя в этой должности, что впоследствии стал министром сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности во временном правительстве, готовившем страну к полной независимости. Когда его сыну Майклу, с которым я играл в самом раннем детстве, исполнилось тринадцать, его отправили в Англию в Шерборнскую школу-интернат, и перед его родителями, как когда-то перед родителями моего отца, встал вопрос о том, где их сыну проводить каникулы. Я был очень рад, что он стал проводить их у нас. Разница в возрасте между нами составляла чуть больше года, и мы были с ним просто неразлучны: купались в ледяной речке в долине, ставили опыты с веществами из набора юного химика, собирали модели из конструктора “Меккано”, играли в пинг-понг, канасту, бадминтон, мини-бильярд, делали по каким-то примитивным рецептам свекольное вино, или жидкое мыло, или витаминки. Вместе с Сарой мы организовали небольшую собственную ферму под названием “Хозяева”. Отец доверил нам выводок поросят, которых мы прозвали Бочонки, не забывали ежедневно их кормить и всецело за них отвечали. Мы с Майком остались друзьями на всю жизнь. Более того, он женился на моей сестре, а к настоящему времени стал дедушкой большинства моих юных родственников.

Хорошо, когда в самые важные для формирования личности годы у тебя есть старший брат, но у этого имеется и оборотная сторона. Всякий раз, когда вы с ним что-то делаете, он оперирует, а ты только подаешь инструменты (поскольку Майк впоследствии стал известным хирургом, эта метафора здесь довольно уместна). Про дядю Билла всю жизнь говорили, что у него “руки не из того места растут”, а мой отец, напротив, считался мастером на все руки – возможно, по той же причине. Младший брат не годится в мастера – только в подмастерья. Старший привыкает верховодить, младший – быть на вторых ролях, а детские привычки не так-то легко поменять. В отличие от дяди Билла, я не бравировал тем, что плохо умею работать руками, но как умел, так и по-прежнему

умею плохо. Все делал Майк, а я играл при нем роль бесполезного ассистента. Мой отец, вероятно, надеялся, что дело вскоре исправят знаменитые мастерские Аундловской школы, которые помогут мне хоть и с опозданием, но пойти по стопам майора Кэмпбелла. Однако в этих мастерских, как мы еще убедимся, ему предстояло разочароваться.

Во мне как юном натуралисте он тоже, наверное, разочаровался, несмотря на то что однажды мне посчастливилось провести целый день с молодым Дэвидом Эттенборо, одновременно с которым я гостил у дяди Билла и тети Дианы. Эттенборо был уже знаменит, но еще не общеизвестен. Он познакомился и подружился с моими дядей и тетей в дебрях Сьерра-Леоне, где останавливался у них во время одной из своих экспедиций со съемочной группой. Когда Билл и Диана перебрались в Англию, а я как раз приехал к ним погостить, Дэвид привез туда своего сына Роберта и на весь день повел нас, детей, вооруженных рыболовными сачками и банками из-под варенья на веревочках, исследовать окрестные канавы и пруды. Я забыл, кого мы пытались поймать (наверное, тритонов, или головастиков, или личинок стрекоз), но сам этот день был незабываем. И все же даже опыта общения с харизматичнейшим зоологом на свете не хватило, чтобы сделать из меня юного натуралиста, какими были в детстве мои родители. Меня ждала Аундловская школа.

Шпиль у реки Нин

Мальчишкам лучше знать самим, как жить.
Пусть сами и карают недостойных
По школьной справедливости своей.

Джон Бетчеман,

“Призванный колоколами”

Я учился в английской публичной школе слишком поздно (к счастью), чтобы столкнуться с настоящими жестокостями, процветавшими во времена Джона Бетчемана. Но и в моем детстве учиться там было не так-то просто. Полагалось следовать нелепым правилам, придуманным самими учениками, потому что “Мальчишкам лучше знать самим, как жить”. Например, число пуговиц на пиджаке, которые можно было оставлять расстегнутыми, устанавливалось по старшинству, и за этим строго следили. До определенного уровня старшинства учебники разрешалось носить только в разогнутой руке. Почему? Учителя, конечно, знали о подобных вещах, но ничего не делали, чтобы положить им конец.

По-прежнему в ходу была система прислуживания, с тех пор, к счастью, сдавшая позиции. Староста каждого “дома” Аундла выбирал себе одного из новеньких в качестве личного прислужника. Меня выбрал своим прислужником помощник заведующего “домом”, прозванный Джиттерс (Дрожь) – из-за тремора. Он хорошо ко мне относился, но тем не менее я вынужден был делать все, что он велел: чистить его туфли, полировать пуговицы на его кадетской форме и каждый день во время чая жарить для него тост на примусе в его кабинете. Джиттерс мог в любой момент послать меня выполнять какое-либо из своих поручений.

Случалось, что прислужники подвергались и сексуальным домогательствам. Мне четыре раза пришлось отбиваться от пытавшихся забраться ночью ко мне в постель старших учеников,

которые были намного крупнее и сильнее меня. Подозреваю, что они не были ни гомосексуалами, ни педофилами в обычном понимании и их поведение объяснялось только отсутствием вокруг девочек. Мальчики препубертатного возраста нередко похожи на симпатичных девочек, и я был именно таким. Наш школьный фольклор кишел историями о мальчиках, которые "втюривались" в других, по-девичьи привлекательных мальчиков. Про меня тоже ходило множество подобных слухов, от которых, впрочем, не было большого вреда, кроме пустой – но при этом весьма значительной – траты времени на сплетни.

Многое в Аундле пугало меня после Чейфин-Гроув. Утром первого дня, когда мы все собрались в Большом зале[69] на утреннее богослужение, у новеньких еще не было постоянных мест, и нам пришлось самим искать себе незанятые стулья. Я нашел один стул, на котором никто не сидел, и робко спросил здоровенного парня, восседавшего рядом, не занято ли здесь. Он с ледяной вежливостью ответил: "Насколько я вижу, нет", заставив меня почувствовать свое ничтожество. После школы Чейфин-Гроув с ее певшим дискантом хором и фисгармонией, в которую воздух накачивался ножными педалями, страшновато было слышать в Аундле громогласное исполнение гимна "Наутро новая любовь…" под аккомпанемент огромного ревущего органа. Сутулый директор Гас Стейнфорт, облаченный в черную мантию магистра искусств, был грозен по-своему – не так, как Гэллоуз. Он гнусавым голосом призывал нас "полностью погрузиться в работу этого семестра" к третьей неделе, и тогда "дальше все пойдет как по маслу": мне было не совсем понятно, как в нее нужно погружаться и что значит "пойдет как по маслу".

Наставником класса 4B1, в котором я учился, был Снэппи Пристман – человек добрый и вежливый, который вел себя как настоящий джентльмен, за исключением тех случаев (довольно редких), когда его выводили из себя. Но даже выходил из себя он как-то по-джентльменски. Однажды на его уроке один из учеников очень плохо себя вел. Когда Снэппи это заметил, поначалу он не подал вида, но потом заговорил, предупреждая нас о своем закипавшем гневе. Поначалу он говорил вполне спокойно, как беспристрастный наблюдатель собственного состояния: "Боже. Я ведь не удержусь. Я сейчас выйду из себя. Спрячьтесь под парты. Я вас предупреждаю. Сейчас начнется. Спрячьтесь под парты". Голос его становился все громче и громче, а лицо постепенно краснело, и наконец он сорвался, стал хватать все, что попадалось под руку (мел, чернильницу, учебник, тряпку для доски с деревянной ручкой), и с дикой яростью кидать в направлении провинившегося ученика. На следующий день он

был само обаяние и – хоть и коротко, но очень вежливо – извинился перед тем учеником. Он был и остался добрым джентльменом, просто в тот раз терпение его лопнуло. С кем не бывает из людей его профессии? Да и моей тоже.

Снэппи приучил нас читать Шекспира и помог мне начать ценить этого величайшего гения. Мы ставили “Генриха IV” (обе части) и “Генриха V”, и Снэппи сам играл умирающего Генриха IV, который говорил своему сыну, раньше времени забравшему у него корону: “Тебя Господь, наверно, надоумил унесть ее, чтоб повод получить еще сильнее этим оправданьем завоевать потом мою любовь”[70]. Он нашел среди нас тех, кто мог имитировать валлийский (Уильямс) и ирландский (Румари, которого он хвалил: “Румари, ты просто клад”) акценты. Он читал нам Киплинга, убедительно изображая шотландский акцент в “Гимне Мак-Эндрю”. Завораживающие ритмичные первые строки “Долгого пути” вызывали у меня жгучую ностальгию по скирдам Овер-Нортона и раннеосеннему чувству удовлетворения – “вот и собран урожай”[71] (пожалуйста, прочитайте эти строки вслух, чтобы уловить киплинговский размер):

> Слышишь голоса глухие в поле, где скирды сухие
> Спят, бока подставя свету:
> “Как пчела душистый клевер, так и ты оставь свой север –
> Малый срок отпущен лету”?[72]

Сразу после этого мистер Пристман читал Китса, как раз воспевавшего пору “плодоношенья и дождей”[73].

Нашим учителем математики в тот год был мистер Фраут, страдавший головокружениями. Я припоминаю, что однажды перед его приходом в класс мы раскачали все лампы, висевшие под потолком, а когда он вошел, стали качаться с ними в унисон. Не помню, чем это закончилось. Быть может, результат нашей проделки стерся из моей памяти из-за угрызений совести. Возможно также, что это ложные воспоминания, основанные на школьной легенде о том, как некогда обошлись с мистером Фраутом другие ученики. Как бы там ни было, теперь я вижу в этом еще один прискорбный пример детской жестокости, о которой я часто думаю, вспоминая школьные годы.

Наши проделки не всегда сходили нам с рук. В тот же год у нас приболел учитель физики Бафти, и его заменял старший учитель естественных наук Банджи. Он выяснил, что мы дошли до

закона Бойля – Мариотта, и стал продолжать изложение темы, называя нас по номерам, а не по именам, которые у него не было времени выучить. Он был маленьким сутулым старичком, самым близоруким из всех людей, которых мне когда-либо доводилось встречать, и нам казалось, что он легкая добыча для шуток, – все равно ничего не заметит. Поначалу мы думали, что он и правда ничего не замечает. Но ошиблись. Каким бы близоруким мистер Банджи ни был, он все видел и перед самой переменой спокойно объявил, что нам всем придется задержаться после уроков. Когда в назначенное время мы понуро вернулись в класс, он велел нам открыть тетради на новой странице и записать: “Дополнительный урок для класса 4B1. Тема урока: научить класс 4B1 хорошо себя вести и закону Бойля – Мариотта”. Я уверен, что это не ложные воспоминания, и надо сказать, что закон Бойля – Мариотта я с тех пор запомнил навсегда.

Один из наших учителей, единственный, кто разрешал нам называть себя по прозвищу, имел склонность влюбляться в учеников-красавчиков. Насколько нам было известно, он никогда не позволял себе ничего большего, чем слегка приобнять их и сделать двусмысленный комплимент, но в наши дни, пожалуй, и этого бы хватило, чтобы у него возникли серьезные неприятности с полицией и бдительными читателями бульварной прессы.

Как и большинство подобных школ, Аундл был разделен на “дома”. Их было одиннадцать, и каждый ученик жил и питался в своем “доме”, а также выступал за него на всех соревнованиях. Мой “дом” назывался Лондимер. Я не знаю, как выглядели другие “дома” изнутри, потому что нам не советовали туда ходить, но подозреваю, что все они были довольно похожи. При этом интересно, что мы склонны были приписывать каждому “дому” свой “характер”, который невольно проецировали на всех учеников, живущих в данном “доме”. Наши представления об этих “характерах” были столь расплывчаты, что я ума не приложу, как описать хотя бы один из них. Мы их просто субъективно ощущали. Подозреваю, что это наблюдение может служить примером (довольно невинным по сравнению со многими другими, с которыми мы сталкиваемся за стенами школы) тех же “племенных” чувств, что лежат в основе куда более прискорбных явлений – таких, как расизм или религиозный фанатизм. Я говорю о нашей склонности больше отождествлять людей с теми группами, к которым они принадлежат, чем воспринимать их как индивидуумов. Психологи экспериментально показали, что это происходит, даже когда людей разделяют на группы случайным образом и помечают их условными знаками, такими как футболки разных цветов.

В качестве иллюстрации этого явления можно привести следующий пример (в данном случае довольно отрадный). Одновременно со мной в Аундле учился только один ученик африканского происхождения. Насколько я могу судить, он совершенно не сталкивался у нас в школе с проявлениями расизма, возможно оттого, что, как единственного среди нас чернокожего, его отождествляли не с какой-либо выделенной по расовому признаку группой, а – как и любого другого – с его "домом", Лэкстоном. Для нас он был прежде всего "этим парнем из Лэкстона", а вовсе не чернокожим. Предполагалось, что и характер у него такой же, как у всех остальных парней из Лэкстона. Теперь-то я сомневаюсь, что Лэкстону или любому другому "дому" действительно были свойственны какие-то особенные черты характера. Суть крылась не в особенностях "домов" Аундла, а в общем свойстве человеческой психологии – в склонности навешивать на людей ярлыки в зависимости от групп, к которым они принадлежат.

Я выбрал Лондимер потому, что до меня дошел о нем слух (ложный, как выяснилось) как об одном из немногих "домов", где нет традиции обрядов посвящения (вроде тех унизительных испытаний, которые проходят американские студенты при вступлении в братство). Оказалось, что такая традиция в Лондимере все же существовала: каждый новенький должен был что-нибудь спеть, стоя на столе. Мне пришлось залезть на стол и исполнить пронзительным дискантом одну из песенок своего отца:

Никогда так солнце не светилось,
Не светилось так, я вам скажу, вам скажу,
Как тогда, когда это случилось, –
Мы оставили младенца на пляжу.

Да, мы оставили младенца на пляжу
В самый первый раз, я вам скажу, вам скажу.
Как увидишь маму, сообщи ей,
Что мы оставили младенца на пляжу.

Это было тяжелое испытание, но я опасался большего.

В Аундле не особенно травили отдельных учеников, однако в течение одной недели первого или первых двух семестров каждый новенький проходил стандартную череду издевательств. По крайней мере, так было заведено в моем "доме"; но я думаю, что

и в других происходило примерно то же самое. В течение этой ужасной недели новенького называли “звонарь” и считали ответственным за все, что бы ни случилось (обычно что-нибудь да случалось). Именно он должен был разводить и поддерживать огонь в камине. В субботу той недели, в течение которой он служил козлом отпущения, новенькому следовало обойти все кабинеты, чтобы принять заказы на воскресные газеты и собрать деньги на них. Затем, в воскресенье утром, он должен был очень рано встать и сходить на другой конец городка за газетами, принести их в школу и разнести по кабинетам. Самая же заметная функция звонаря состояла в том, что именно в его обязанности входило вовремя звонить, объявляя все этапы распорядка дня: подъем, прием пищи, отбой и так далее. Для этого звонарю нужны были очень точные часы. К концу “своей” недели я освоился с этой функцией, но мой первый день в этом звании оказался настоящим бедствием. Я почему-то не уловил, что сигнал о том, что через пять минут начнется завтрак, нужно подавать *ровно* за пять минут до гонга, возвещающего о начале завтрака. Многие старшие ученики привыкли вставать по звонку именно за пять минут до завтрака, а ведь за столь короткое время не так-то просто умыться и одеться, поэтому им было очень важно, чтобы звонок звучал вовремя. В свой первый день в роли звонаря я подал сигнал пятиминутной готовности, после чего прошествовал к гонгу и всего полминуты спустя ударил в него. В итоге многие опоздали к завтраку, а я стал предметом злых насмешек.

У звонаря и прислужников было так много обязанностей, что удивительно, как новенькие вообще умудрялись хоть как-то учиться. О том, чтобы “все пошло как по маслу”, не могло быть и речи. Теперь, насколько я понимаю, система прислуживания запрещена во всех английских школах. Но я не устаю поражаться тому, что когда-то она была разрешена и что просуществовала так долго. В XIX веке бытовало странное представление о педагогической пользе этой системы. Возможно, ее долгое существование связано с концепцией “раз я через это прошел, почему бы и тебе не пройти”. Кстати, эта концепция по-прежнему отравляет жизнь многих британских врачей-стажеров.

Стоит ли удивляться, что в первые семестры в Аундле я снова стал заикаться. У меня были трудности с произношением твердых согласных, таких как “Д” и “Т”. Как ни печально, моя фамилия начинается с одного из этих звуков, а мне часто приходилось ее называть. У нас были контрольные в виде тестов, при выполнении которых нужно было отмечать правильные ответы галочками, считать, сколько галочек получилось, и выкрикивать их число,

чтобы учитель занес его в журнал. Максимальное число было десять, но, когда у меня получалось десять, я выкрикивал “девять” (*nine*), потому что произнести это мне было намного проще, чем “десять” (*t-t-t-ten*). Наши занятия по военной подготовке в кадетском корпусе однажды должен был посетить некий генерал. Встречая его, нам следовало по одному выходить из строя, вставать перед ним по стойке “смирно”, выкрикивать свое имя, отдавать честь, разворачиваться кругом и возвращаться в строй. Мне предстояло выкрикнуть: “Кадет Докинз, сэр!” – и эта перспектива приводила меня в такой ужас, что я не спал ночами. Когда я практиковался в одиночестве, мне все удавалось, но кто знал, что у меня выйдет перед всеми? “Кадет Д-д-д-д-д…”? В итоге все прошло нормально, хотя я и сделал неловкую долгую паузу перед Д.

Обучение в кадетском корпусе не являлось совсем уж обязательным. Из него можно было выйти, если вступить в организацию бойскаутов или проводить это время, обрабатывая землю с Богги Картрайтом. В одной из своих предыдущих книг я писал про мистера Картрайта, что он был “замечательный человек с кустистыми бровями, называвший лопату лопатой[74] и редко выпускавший ее из рук”. Хотя платили ему за то, чтобы учить нас немецкому, на самом деле мистер Картрайт, неторопливо, по-деревенски выговаривавший слова, учил нас прежде всего приземленным экологическим премудростям, связанным с сельским хозяйством. На доске у него постоянно было написано слово “Экология”, и если кто-то это слово стирал, стоило ему отвернуться, мистер Картрайт тут же, ничего не говоря, восстанавливал его. Когда он писал на доске по-немецки и на пути немецкого предложения оказывалось слово “Экология”, он изгибал строчку так, что она обтекала это слово. Однажды он застал одного из учеников за чтением Вудхауза и в ярости разорвал книгу надвое. Он явно верил клеветническому обвинению Вудхауза в сотрудничестве с немцами во время войны (старательно поддерживаемому Кассандрой[75] из “Дейли миррор”, где Вудхауза равняли с лордом Хо-Хо и его американским эквивалентом – Токийской розой[76]). Однако у мистера Картрайта были даже более искаженные представления об этой истории, чем те, что излагались в клеветнических статьях Кассандры: “У Воудхауза была возможность спустить немецкого полковника с лестницы, а он ей не воспользовался” (мистер Картрайт произносил фамилию *Wodehouse* как “Воудхауз” вместо правильного “Вудхауз”). Можно подумать, что он был человеком вспыльчивым, но на самом деле вывести его из себя было не так-то просто, хотя, как ни странно, одного упоминания Вудхауза

было достаточно. Просто это был большой оригинал, опередивший время в своей эксцентричной зацикленности на экологии, неторопливо говоривший и в буквальном смысле слова приземленный.

Я оказался недостаточно предприимчивым, чтобы сбежать из кадетского корпуса по одному из двух доступных путей эвакуации. Видимо, я слишком сильно поддавался влиянию сверстников (как и все те годы, что провел в Аундле). Но мне в конце концов удалось избежать худшей части военной подготовки, вступив в военный оркестр, где я вначале играл на кларнете, а затем на саксофоне под управлением сержанта, говорившего нам: “Ну, давайте начнем с *отправной точки* ентого марша”. Нас, музыкантов, разумеется, не освобождали от обязанности еженедельно чистить свои армейские ботинки, натирать ремни и до блеска полировать медные пуговицы специальными средствами “Дьюраглит” или “Брассо”. Кроме того, раз в год мы должны были ездить на военные сборы, жить в казармах того или иного полка, совершать далекие марш-броски и участвовать в учениях с холостыми патронами в своих допотопных винтовках “Ли-Энфилд”. Еще мы стреляли боевыми патронами по мишеням, и как-то один парень из моего взвода случайно прострелил адъютанту икру ноги. Тот рухнул на землю и тут же закурил сигарету, а у нас, свидетелей этого происшествия, продолжавших лежать на животах с ручными пулеметами “Брен”, к горлу подкатила тошнота.

Однажды, расположившись в казармах под Лестером, мы познакомились с настоящим старшиной, прекрасным образчиком этой породы людей, с огромными навощенными рыжими усами. Он орал: “На-а-а пле-э-э-э-э-э-ЧО!” – или: “Аррружие-э-э-э-э-э к на-а-а-а-ГЕ!” – начиная обе команды протяжным басом, а заканчивая отрывистым (и до нелепости высоким) сопрано. Мы с трудом сдерживали смех, фыркая оттого, что боялись рассмеяться в голос, как солдаты Понтия Пилата в фильме “Житие Брайана по Монти Пайтону”.

В кадетском корпусе мы должны были сдавать экзамен на так называемый Сертификат А, для чего от нас, в частности, требовалось зубрить устав – упражнение, явно задуманное для подавления чего-либо, даже отдаленно напоминающего интеллект или инициативу, – те качества, которые не очень-то ценятся у рядовых солдат. “Сколько видов деревьев имеется в армии?” Правильный ответ был “три: ель, тополь и густые кроны” (поэт Генри Рид прошелся по этому пункту в своих стихах, но наши сержанты-инструкторы не оценили бы его иронию).

Известно, какую большую роль среди школьников играет

стремление быть как все. Я и многие из моих товарищей были малодушными жертвами этого стремления, служившего главным мотивом всех наших действий. Мы хотели, чтобы сверстники, особенно самые влиятельные из них, прирожденные лидеры, считали нас за своих, а ценности, принятые в нашей среде, по крайней мере до последнего года моего обучения в Аундле, были ценностями антиинтеллектуальными. Нам приходилось притворяться, что мы учимся не так усердно, как на самом деле учились. Врожденные способности были в чести, усердный труд – нет. Со спортивными играми дело обстояло так же. Спортсмены были в любом случае популярнее грамотеев, но особенно популярны были те, кому удавалось преуспеть в спорте, не особенно тренируясь. Почему врожденное ценится больше, чем достигнутое усердным трудом? Разве не должно быть наоборот? Думаю, специалистам по эволюционной психологии есть что сказать по этому вопросу.

Но сколько упущенных возможностей! В Аундле работало так много интересных клубов и кружков, в любой из которых я мог бы вступить с пользой для своего развития! У нас была обсерватория с телескопом (возможно, подарком одного из выпускников), но я и близко к ней не подходил. Почему? Теперь я был бы в восторге от такого шанса – изучать звезды под руководством компетентного астронома с помощью настоящего телескопа, который не нужно самому устанавливать. Я иногда думаю, что возможности школы впустую тратятся на подростков. Быть может, увлеченным учителям, которым приходится метать бисер перед поросятами, следует предоставлять возможность учить людей достаточно взрослых, чтобы оценить красоту этого бисера?

Самой серьезной упущенной возможностью за годы моего обучения в Аундле были мастерские, ради которых, собственно, мой отец и отправил меня в эту школу. Здесь была не только моя вина. Уникальное нововведение Сэндерсона – обязательная неделя в мастерских – по-прежнему оставалось в силе, а сами мастерские были великолепно оснащены. Мы учились работать на токарных, фрезерных и других продвинутых станках, с которыми едва ли столкнулись бы за стенами школы. Но мы не учились как раз тому, что так хорошо давалось отцу: изобретать, проектировать, находить временные решения, справляться с возникавшими проблемами, делать нужные вещи на скорую руку из подручных предметов (в его случае – в основном из старых грязных железяк и красного сноповязального шпагата).

Первым нашим делом в школьных мастерских было изготовление рейсмуса. Никто нам даже не объяснил, что это такое. Мы просто старались в точности повторять все, что нам

показывали инструкторы. Вначале мы делали деревянную модель того металлического предмета, который нужно было изготовить. Затем приносили ее в литейную мастерскую и готовили на ее основе литейную форму в очень плотно утрамбованном песке. После этого надевали защитные очки и ассистировали при заливке в форму расплавленного алюминия из докрасна раскаленного тигля. Дальше мы извлекали полученную металлическую заготовку из песка и несли ее в мастерскую металлообработки, где шлифовали заготовку, сверлили и дорабатывали. После этого мы забирали себе полученный рейсмус, по-прежнему не имея ни малейшего представления о том, что это такое, и ни разу не проявив ни инициативы, ни смекалки. Мы были все равно что фабричные рабочие на серийном производстве.

Отчасти проблема заключалась, видимо, в том, что наши инструкторы были не учителями, а (насколько я понимаю) нанятыми школой мастерами, действительно работавшими в фабричных цехах. Они не помогали нам развивать общие навыки, а “затачивали” на изготовление конкретных вещей. Я снова столкнулся с этой проблемой, когда брал уроки вождения в городе Банбери. Меня учили давать задний ход при огибании одного конкретного угла, который оказался любимым углом проверявшего данный навык экзаменатора: “Дождитесь, пока вон тот фонарный столб будет на уровне заднего окна, а затем резко развернитесь вокруг него”.

Единственным исключением среди инструкторов, с которыми я занимался в школьных мастерских, единственным, кто хотя бы отчасти поддерживал традиции Сэндерсона, был кузнец-пенсионер, старичок в очках, заправлявший маленькой кузницей, располагавшейся в углу мастерской металлообработки. Я сбегал с “фабрики” и работал подмастерьем у этого милого старичка. Он учил меня ремеслу кузнеца, а также газовой сварке, и у моей мамы до сих пор сохранилась стоящая на витой подставке кочерга, которую я сделал под его руководством. Но даже у этого старого кузнеца я делал в основном только то, что мне велели, не особенно упражняясь в творческой изобретательности.

У плохого мастера всегда инструмент виноват, а если не инструмент, то инструктор. Но мне некого винить, помимо себя, в том, что кроме как в ту неделю, когда работа в мастерских была обязательной, я и близко к ним не подходил. Я ни разу не воспользовался возможностью приходить туда по вечерам и делать вещи собственного изобретения, точно так же, как не воспользовался возможностью ходить в обсерваторию и смотреть на звезды. В свободное время я, как и мои школьные товарищи, в

основном бездельничал, жарил тосты на примусе и слушал Элвиса Пресли. Еще я игрался с музыкальными инструментами, вместо того чтобы играть настоящую музыку. Нами было упущено столько первоклассных, дорогостоящих возможностей, что это просто ужасно. Может быть, возможности школы и правда тратятся на подростков впустую?

Однако я все же вступил в клуб пчеловодов, которым руководил Йоан Томас, замечательный молодой учитель зоологии, и запах воска и дыма по-прежнему вызывает у меня радостные воспоминания. Радостные несмотря на то, что меня довольно часто жалили. В одном из таких случаев (о котором я сообщаю не без некоторой гордости) я не стал смахивать ужалившую меня пчелу, а внимательно смотрел, как она медленно пляшет кругами у меня на руке, “вывинчивая” свое жало из моей кожи. У пчел, в отличие от ос, на жалах имеются зазубрины. Когда пчела жалит млекопитающее, из-за этих зазубрин жало застревает в коже. Если смахнуть ужалившую пчелу, оно остается в коже, оторвавшись вместе с некоторыми жизненно важными органами пчелы. С эволюционной точки зрения поведение отдельной рабочей пчелы альтруистично – она приносит себя в жертву, как камикадзе, ради пользы своей семьи (строго говоря, ради пользы генов, определяющих эту программу поведения и имеющихся также у маток и трутней). Когда обреченная пчела улетает, ее жало остается в коже врага, и ядовитая железа продолжает впрыскивать яд, успешнее работая как средство сдерживания потенциальных разорителей ульев. Все это имеет понятный эволюционный смысл, к которому я еще вернусь в главе, посвященной “Эгоистичному гену”. Учитывая, что рабочая пчела бесплодна, она все равно никак не может передать свои гены потомству и вместо этого работает на то, чтобы их передала потомству матка и другие плодовитые члены пчелиной семьи. Когда я дал той пчеле возможность извлечь свое жало из моей руки, я, в свою очередь, повел себя альтруистично по отношению к ней, но руководствовался при этом преимущественно любопытством: мне хотелось самому увидеть процедуру, о которой я слышал от мистера Томаса.

В своих предыдущих изданиях я уже упоминал Йоана Томаса. На меня произвел неизгладимое впечатление первый же его урок. Мне в ту пору было четырнадцать. Я не помню подробностей, но помню атмосферу этого урока, подобие которой я старался впоследствии передать в своей книге “Расплетая радугу”. Теперь я назвал бы это так: “Наука как поэзия реальности”[77]. Мистер Томас пришел в Аундл совсем молодым учителем, и пришел потому, что восхищался Сэндерсоном, хотя был слишком молод,

чтобы застать этого директора. Зато он застал его преемника Кеннета Фишера и рассказал нам историю, из которой видно, что дух Сэндерсона в каком-то смысле остался жить в школе. Я пересказал эту историю в своей Аундловской лекции, прочитанной в 2002 году.

…Кеннет Фишер вел педагогический совет, когда в дверь робко постучали и вошел маленький мальчик: “Простите, сэр, там у реки черные крачки”. “Совет может подождать”, – решительно сказал Фишер собравшимся педагогам. Он встал с председательского места, схватил свой висевший на двери бинокль и уехал на велосипеде в компании юного орнитолога, а добрый, румяный дух Сэндерсона (что очень нетрудно себе представить), сияя, глядел им вслед. Вот *это* – образование, и к черту всю вашу статистику сводных таблиц, напичканные фактами программы и расписание бесконечных экзаменов! ‹…›

Мне вспоминается состоявшийся лет через тридцать пять после смерти Сэндерсона урок, посвященный гидре – небольшому обитателю пресных водоемов. Мистер Томас спросил одного из нас: “Кто питается гидрами?” Ученик высказал свое предположение. Не комментируя его, мистер Томас повернулся к следующему ученику и задал ему тот же вопрос. Он обошел весь класс, с возрастающим волнением обращаясь к каждому из нас по имени: “Кто питается гидрами? Кто питается гидрами?” И один за другим мы высказывали свои предположения. Когда он дошел до последнего ученика, мы уже сгорали от любопытства в ожидании правильного ответа. “Сэр, сэр, так кто же питается гидрами?” Мистер Томас подождал, пока не наступила мертвая тишина. Затем он заговорил, медленно и отчетливо, отделяя каждую фразу паузой:

“Я не знаю… (*Crescendo*) Я не знаю… (*Molto crescendo*) И я думаю, что мистер Коулсон тоже не знает. (*Fortissimo*) Мистер Коулсон! Мистер Коулсон!”

Он распахнул дверь, ведущую в соседний кабинет, и эффектно прервал урок своего старшего коллеги, приведя его в наш класс. “Мистер Коулсон, известно ли вам, кто питается гидрами?” Не знаю, подмигнул ли ему мистер Томас, но мистер Коулсон хорошо сыграл свою роль: он не знал. И вновь отеческая тень Сэндерсона радостно смеялась в углу, и ни один из нас никогда не забудет этот урок. Важны не сами знания – важно, как открывать их для себя и как думать о них. Это образование в подлинном смысле слова, которое так не похоже на нынешнюю зацикленную на оценках и экзаменах систему.

Эти два случая, в которых я представлял себе призрак давно покойного директора школы, впоследствии приводились в

качестве свидетельств того, что в каком-то смысле я верю в сверхъестественное. На самом деле они, разумеется, ни о чем подобном не свидетельствуют. Такие образы можно, пожалуй, назвать поэтическими. В них нет ничего неправильного, если все понимают, что их не следует воспринимать буквально. Я надеюсь, что из контекста приведенных цитат это вполне понятно и никаких недоразумений возникать не должно. Такого рода недоразумения возникают (особенно) тогда, когда к подобному образному языку прибегают богословы, не осознавая, что они делают именно это, и даже не осознавая, в чем разница между метафорой и реальностью. Например, они говорят: “Не так уж важно, действительно ли Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами. Нам важен прежде всего *смысл* этой истории”. Но на самом деле важно, было ли это в действительности, поскольку миллионы верующих и правда убеждены, что все изложенное в Библии происходило на самом деле. Надеюсь, никто из читателей не станет думать, будто я полагаю, что Сэндерсон действительно смеялся, стоя в углу на уроке мистера Томаса.

На том посвященном гидре уроке со мной произошел один неловкий случай, о котором я тем не менее хочу рассказать, потому что он, быть может, что-то обо мне говорит. Мистер Томас спросил, доводилось ли кому-то из нас видеть гидру. Кажется, я был единственным в классе, кто поднял руку. У моего отца был старый латунный микроскоп, и за несколько лет до этого урока мы с ним провели один замечательный день за разглядыванием при большом увеличении всевозможных обитателей пруда: в основном ракообразных, таких как дафнии, циклопы и остракоды, но также и гидр. Гидры, медлительно качающие щупальцами и чем-то даже похожие на растения, казались мне довольно скучными по сравнению с ракообразными, бодро размахивающими своими конечностями. Воспоминания о гидре были наименее яркими из всех воспоминаний того незабываемого дня, и я, кажется, с некоторым снобизмом взирал на то, сколько внимания мистер Томас уделял ей на том уроке. Поэтому, когда он попросил меня сообщить какие-нибудь подробности о моей предыдущей встрече с гидрой, я сказал, что видел “всех подобных животных”. Разумеется, для мистера Томаса дафнии, циклопы и остракоды вовсе не были подобными гидре животными, но для меня были, потому что мой отец показал мне их всех в один и тот же день. Вероятно, мистер Томас заподозрил, что на самом деле я не видел гидр, и стал меня тщательно допрашивать. Мне стыдно признаться, но я отреагировал на его расспросы самым неуместным образом. Быть может, мне почудился в его словах какой-то выпад против моего отца, познакомившего меня со

“всеми подобными животными” и даже научившего их латинским названиям. Я обиженно заупрямился и вместо того, чтобы четко и ясно сказать, что действительно видел гидру (ведь это было правдой), я категорически отказался отделять ее от “всех подобных животных”. Мне неловко об этом вспоминать. Говорит ли обо мне что-то этот случай? Быть может, но я не знаю что. Возможно, он говорит о моей пылкой преданности всему, что было связано с моими родителями, будь то тракторы “фергюсон” (“«фордзоны» – жалкое старье!”) или джерсейские коровы (“голштинские дают не молоко, а воду”).

После того как мистер Томас научил меня основам пчеловодства, у меня появилась возможность заниматься этим и на каникулах, потому что эксцентричный школьный друг моего отца Хью Корли подарил мне пчелиный рой. Это были пчелы удивительно послушной разновидности, которые буквально никогда не жалили, и я работал с ними без перчаток и лицевой сетки. К сожалению, через какое-то время они погибли от отравления инсектицидом, долетевшим с соседского поля. Мистер Корли, страстный поборник органического земледелия и один из первых активистов экологического движения, был просто в ярости и подарил мне еще один рой. Увы, эти пчелы ушли в другую крайность (определяемую, несомненно, генами) и жалили все, что движется. В те годы у меня не было повышенной чувствительности к пчелиному яду, но впоследствии она выработалась – быть может, именно оттого, что в юности пчелы жалили меня много раз. В зрелом возрасте они жалили меня только дважды, когда мне было за сорок и за пятьдесят, и в обоих случаях это вызывало у меня странную реакцию, которой никогда не наблюдалось во времена моего активного занятия пчеловодством. На моем лице вскакивал огромный волдырь над одним глазом, оставлявший меня почти слепым на этот глаз. Непонятно, почему над глазом, ведь жалили меня в руку и в ногу! И тем более непонятно, почему только над одним.

Помимо пчеловодства, которым я занимался под руководством мистера Томаса, я уделял часть свободного времени в Аундле, пожалуй, лишь еще одному сколько-нибудь конструктивному занятию – исполнению музыки. Я провел немало часов в музыкальной школе, хотя и там, надо признаться, упустил массу ценных возможностей. К любым музыкальным инструментам меня с раннего детства тянуло как магнитом, и меня приходилось буквально оттаскивать от витрин, в которых были выставлены скрипки, трубы или гобои. Даже сегодня, когда я оказываюсь на приеме или свадьбе, где играет струнный квартет или джаз-банд, я забываю и хозяев, и гостей и топчусь вокруг

музыкантов, следя за их пальцами и разговаривая с ними в перерывах об их инструментах. У меня нет абсолютного слуха, в отличие от моей первой жены Мэриан, и плохо развито чувство гармонии, в отличие от моей нынешней жены Лаллы, которая может без труда сымпровизировать вариации на любую мелодию. Но чувство мелодии мне от природы присуще, и я умею с одинаковой легкостью наигрывать, напевать и насвистывать любой мотив. Мне стыдно признаться, но одним из моих обычных занятий в музыкальной школе было без спроса брать чужие инструменты и самостоятельно учиться наигрывать на них разные мелодии. Однажды меня застали за исполнением мелодии спиричуэла “Когда святые маршируют” на довольно дорогом тромбоне, принадлежавшем одному из старших учеников, и у меня возникли неприятности, потому что инструмент оказался поврежден. Я искренне полагаю, что повредил его не я, но обвинили в этом именно меня (обвинили другие, не владелец тромбона, который обошелся со мной довольно любезно).

От моего скромного мелодического дарования было больше вреда, чем пользы, по крайней мере для такого ленивого школьника, каким я был. Мне так легко давалась игра на слух, что я пренебрегал развитием других важных навыков, например чтения нот или творческой импровизации. Причина крылась не только в лени. Было время, когда я даже свысока смотрел на музыкантов, которым “требовалось” читать ноты. Умение импровизировать я ставил выше. Но оказалось, что и в импровизации я слаб. Когда мне предложили вступить в школьный джаз-банд, я вскоре обнаружил, что, хотя и могу безошибочно сыграть любую мелодию, у меня совершенно не получается импровизировать на ее тему. Гаммы я играл очень небрежно, правда, у меня есть одно, пусть и очень слабое, частичное оправдание: никто не пытался мне объяснить, зачем это нужно. Теперь, будучи взрослым человеком и к тому же ученым, я догадываюсь зачем. Гаммы нужно играть, чтобы полностью освоиться со всеми тональностями, чтобы стоило только увидеть знаки при ключе в начале строки, как пальцы легко и механически начинали бы играть в соответствующей тональности.

Время, которое я провел в музыкальной школе, было потрачено в основном на то, чтобы играться с инструментами, а не на то, чтобы играть на них. Я все же научился играть по нотам на кларнете и саксофоне, но на фортепиано (где требуется умение брать больше одной ноты одновременно) я играл по нотам невыносимо медленно, как читает ребенок, который еще только учится этому и с трудом произносит слова по буквам, а не

проглатывает текст целыми предложениями. Мистер Дэвисон, добрый учитель, у которого я занимался фортепиано, заметил мои мелодические способности и научил меня некоторым базовым правилам аккомпанирования самому себе аккордами в левой руке. Несмотря на то что я быстро освоил эти правила, успешно пользоваться ими у меня получалось только в тональностях до мажор и ля минор (где черных клавиш меньше всего), при этом звучали мои аккорды громко, но довольно монотонно – хотя на несведущих слушателей производила впечатление моя способность без подготовки играть то, что меня просили.

Я неплохо пел чистым, не особенно громким дискантом, и меня быстро приняли в сравнительно небольшой и престижный алтарный хор при школьной церкви. Мне безумно нравилось петь в этом хоре, и его еженедельные репетиции под руководством главного учителя музыки мистера Миллера становились для меня самым желанным событием каждой недели. Думаю, это был неплохой хор, уровня обычного хора английского кафедрального собора. Кроме того, я не могу не добавить, что в нашем хоре не было принято претенциозно произносить *R* раскатисто, но коротко, так что выходило больше похоже на *D*; от этого нередко страдает хоровое пение, по крайней мере на мой предвзятый слух: “Эта мать была Мадия, / А младенец был Хдистос” или “И солнечный дассвет / И дадостный олень, / И весело поет одган…”[78] Кстати, раз уж я решил поворчать, – псевдоитальянское *R* старых теноров вроде Джона Маккормака, по-моему, еще хуже: “Как-то, сидя за орррганом…”[79]

Каждое воскресенье мы исполняли какой-нибудь хорал: Стэнфорда, или Брамса, или Моцарта, или Пэрри, или Джона Айрленда, или одного из старинных композиторов, таких как Таллис, Бёрд или Бойс. Мы пели без дирижера: его роль исполняли два баса, стоявшие лицом друг к другу в задних рядах по обе стороны алтаря и управлявшие хором с помощью мимики и движений головы. У одного из этих басов, по фамилии Патрик, был чарующе красивый голос, который, быть может, даже выигрывал оттого, что не был профессионально поставлен. Я ни разу с ним не разговаривал (мы нигде не пересекались со старшими учениками из других “домов”), но он был моим кумиром как звезда мужского хора, выступавшего на школьных концертах под управлением другого талантливого учителя музыки – Дональда Пейна. К сожалению, мне так и не предложили вступить в мужской хор. Когда у меня закончилась ломка голоса, он стал не только ниже тембром, но и ниже качеством.

В Аундле была традиция, которую тоже завел Сэндерсон: каждый год мы всей школой исполняли какую-нибудь ораторию. Причем выбор произведений был потрясающий: за пять лет обучения каждому ученику доводилось поучаствовать в исполнении “Мессии” Генделя и Мессы си-минор Баха. В другие годы исполнялись иные произведения. В мой первый семестр мы пели кантату Баха “Проснитесь, голос к нам взывает” и “Нельсон-мессу” Гайдна, и я был от них в *полном восторге*, особенно от первой с ее искусно противопоставленными медленным вокальным хоралом и скачущей мелодией контрапункта в оркестре. Это был волшебный опыт, ничего подобного я никогда до этого не испытывал. Каждое утро после богослужения высокий и худой мистер Миллер бодро выходил вперед и проводил пятиминутную репетицию для всей школы, отрабатывая ежедневно всего несколько страниц вплоть до знаменательного дня исполнения. Из Лондона приезжали профессиональные солисты: очаровательные сопрано и контральто в длинных платьях и тенор с басом в безукоризненных фраках. Мистер Миллер относился к ним с исключительным почтением. Не знаю, что они думали о гортанном реве тех, кто не состоял в хоре. Но на мой тогдашний непрофессиональный вкус никто из солистов и близко не мог сравниться с Патриком из нашего школьного мужского хора.

Трудно передать атмосферу английских публичных школ тех времен, когда я учился в одной из них. Линдсею Андерсону удалось неплохо воспроизвести ее в фильме “Если…”. Я, разумеется, не имею в виду побоище в конце фильма и должен отметить, что изображение избиений в этом фильме преувеличено. Быть может, в более ранние, более жестокие времена старосты в вышитых жилетах и вытворяли что-то подобное, но я уверен, что в мое время такого уже не было. Более того, за все время обучения в Аундле я ни разу не слышал о том, чтобы кого-то избили тростью, и только недавно узнал (от одного из пострадавших), что это все же случалось.

В фильме “Если…” отлично передано и то, как симпатичные ученики оказываются в чисто мужской школе предметами бурного сексуального интереса. Обследование паха учеников вооруженной фонариком заведующей хозяйством в огромном накрахмаленном головном уборе преувеличено лишь слегка. В нашей школе обследования проводил школьный врач, не пялившийся на нас так похотливо, как заведующая хозяйством в фильме. В отличие от нее, наш спокойный доктор не крутился возле боковой линии поля для регби с криками: “Дерись! Дерись! Дерись!” Но что Андерсону удалось передать бесподобно, так это

жизнерадостную атмосферу убогих комнаток, в которых мы бóльшую часть времени жили, работали, пережаривали тосты, слушали джаз и Элвиса и валяли дурака, и тот истерический смех, который объединял друзей-подростков, как игры объединяют щенков. Этот смех тоже вызывали игры – словесные игры на странном собственном языке, включавшем нелепые прозвища, разраставшиеся и эволюционировавшие от семестра к семестру.

Эволюцию нелепых школьных прозвищ (а также, быть может, и ход меметических мутаций в целом) можно проиллюстрировать следующим примером. Одного моего друга называли Полковником, хотя ничего военного в его характере и близко не было. *“Вы не видели Полковника?”* Вот история этого прозвища. Рассказывали, что несколько лет назад один из старших учеников, к тому времени уже окончивший школу, “втюрился” в моего друга. У этого старшего ученика было прозвище Шкин (искаженное Скин неизвестного происхождения, возможно, как-то связанное с крайней плотью – *foreskin* – и возникшее еще до того, как я начал учиться в Аундле). Так мой друг унаследовал прозвище Шкин от своего бывшего “поклонника”. Шкин рифмуется с Тинн, а как раз в то время у нас вошло в обиход что-то вроде рифмованного сленга кокни. В те годы на радио Би-би-си шла передача “Гун-шоу”, одним из персонажей которой был полковник Гритпайп-Тинн. Так моего друга стали называть “полковник Гритпайп-Шкин”, а потом, для краткости, – просто Полковник. Мы обожали эту передачу и (как и школьные друзья принца Чарльза, который примерно в то же время учился в подобной школе) соревновались друг с другом в умении подражать голосам персонажей (таких, как Блуботтл, Экклс, майор Денис Бладнок, Генри Кран и граф Джим Мориарти), а также давали друг другу связанные с этой передачей прозвища, к примеру Полковник или Граф.

Современный санинспектор определенно не разрешил бы разводить такую грязь, как та, в которой мы жили. После игры в регби мы принимали “душ”. Я допускаю, что когда-то это действительно был душ и что ученики из других “домов” могли стоять под настоящими струями воды. Но в “доме” Лондимер от душа остался только прямоугольный керамический поддон, который мы заполняли горячей водой. Его размеров хватало лишь на то, чтобы два ученика могли сидеть в нем друг перед другом на корточках. Мы принимали этот “душ” парами по очереди, и к тому времени, когда вся команда из 15 человек успевала окунуться в воду, это была уже не столько вода, сколько жидкая грязь. Звучит, конечно, странно, но, насколько я помню, мы

ничего не имели против того, чтобы принимать “душ” последними. Так было даже лучше, потому что это позволяло погреться в теплой воде, а не спешить освободить “душ” для следующей пары. Кажется, я нисколько не был против погружаться в грязную воду, в которой уже помылись 14 человек, и точно так же не возражал сидеть в очень маленькой ванне вместе с другим человеком мужского пола. Сегодня бы мне и то и другое страшно не понравилось. Думаю, это еще одно свидетельство того, что каждый из нас уже не тот человек, которым некогда был.

Аундл скорее не оправдал ожиданий моих родителей. Хваленые мастерские оказались бесполезными, по крайней мере для меня. Слишком много преклонялись перед игроками в регби за команду “дома”, а ум и знания, как, впрочем, и все другие качества, которые так стремился развивать у учеников Сэндерсон, особой ценности не представляли. Правда, к последнему году обучения в моей компании все-таки начали ценить интеллект. Способный молодой учитель истории организовал для учеников шестого класса интеллектуальный клуб под названием “Коллоквиум”. Я не помню, что было на собраниях этого клуба. Возможно, иногда мы даже читали и обсуждали ту или иную статью – как прилежные студенты. Но и помимо этих встреч мы стали по-настоящему оценивать интеллектуальные способности друг друга, пусть и в атмосфере самодовольного снобизма, отлично переданной в двустишии Джона Бетчемана:

> Кто ни придет в наш общий зал, на жителя Афин похож…
> Вот только Льюис подкачал: неплох, но так ли он хорош?

В последний год, когда нам было по семнадцать, мы с двумя моими друзьями по “дому” стали воинствующими атеистами. Мы отказывались становиться на колени в школьной церкви и сидели скрестив руки на груди и сжав губы, вызывающе возвышаясь как гордые вулканические острова среди моря склоненных бормочущих голов. Учителя и руководство школы, будучи настоящими англиканами, относились к этому вполне спокойно и не выражали недовольства, даже когда я вовсе перестал посещать богослужения. Но здесь я должен вернуться на несколько лет назад и рассказать о том, как потерял веру.

Я пришел в Аундл убежденным англиканином, уже прошедшим конфирмацию, и за первый год даже несколько раз

ходил к причастию. Мне нравилось вставать рано и идти через освещенный солнцем церковный двор, слушая пение дроздов, а потом упиваться праведным голодом, который предстояло утолить только за завтраком. Поэт Альфред Нойес (1880–1958) писал: “Если когда-то мне и доводилось сомневаться в вечных истинах религии, эти сомнения всегда развеивало одно воспоминание – о том, как сияло лицо моего отца, когда ранним утром он возвращался с причастия”. Для взрослого человека рассуждать подобным образом феерически глупо, но в 14 лет я именно так и рассуждал.

К счастью, ко мне довольно скоро вернулись былые сомнения, которые впервые возникли у меня лет в девять, когда я узнал от мамы, что христианство – это только одна из многих религий и что разные религии противоречат друг другу. Все религии не могут быть истинными, так почему же я должен верить, что истинна именно та, которую исповедуют в семье, где мне довелось родиться? Во время обучения в Аундле, после непродолжительного периода, в течение которого я ходил к причастию, я полностью разуверился в специфических особенностях христианства и даже стал несколько свысока смотреть на все отдельные религии. Меня особенно возмущало лицемерие “общего покаяния”, во время которого мы все хором бормотали молитву, называя себя “жалкими преступниками”. Из того факта, что слова этой молитвы были раз и навсегда записаны и что нам предстояло повторять их и на следующей неделе, и еще через неделю, и так до конца своих дней (как это сложилось с 1662 года[80]), для меня с очевидностью вытекало, что мы твердо намерены и в будущем оставаться не иначе как жалкими преступниками. Зацикленность на понятии греха и центральная для апостола Павла идея, что все люди рождаются во грехе, унаследованном от Адама (святой Павел не мог знать того неудобного факта, что никакого Адама никогда не существовало), и в самом деле составляет один из самых отвратительных аспектов христианства.

Но я продолжал твердо верить в некоего неопределенного создателя, в существовании которого был убежден почти исключительно потому, что на меня производили огромное впечатление красота живой природы и ее кажущийся творческий замысел, а из этого я (как и многие другие) делал ложный вывод, что этот творческий замысел требует существования творца. Мне неловко признаться, что на том этапе я еще не додумался до содержащейся в этом рассуждении явной логической ошибки, которая состоит в том, что если объяснять существование Вселенной замыслом творца, то существование самого творца

пришлось бы тоже объяснять чьим-то замыслом. А если мы позволяем себе считать, что самого творца никто не сотворил, то почему бы не применить ту же логику к его предполагаемому творению, тем самым, так сказать, исключив лишнее звено? Как бы там ни было, Дарвин предложил великолепную альтернативу объяснению свойств живой природы замыслом творца, и теперь мы знаем, что он был прав. Огромное преимущество дарвиновского объяснения состоит в том, что оно позволяет понять, как из простых исходных форм путем медленных, постепенных изменений возникла та поразительная сложность, которой отличаются все живые организмы.

Но в то время логика “все вокруг так красиво, что не могло возникнуть без творца” казалась мне вполне убедительной. Эту веру во мне укрепил не кто иной, как Элвис Пресли, перед которым я просто преклонялся, подобно большинству моих друзей. Я покупал его пластинки, как только они выходили: *Heartbreak Hotel, Hound Dog, Blue Moon, All Shook Up, Don’t be Cruel, Baby I Don’t Care* и многие другие. Звучание пластинок Элвиса бесповоротно (эта ассоциация теперь представляется мне исключительно уместной) связано в моей памяти с отдающим серой запахом мази, которую многие из нас использовали для борьбы с подростковыми прыщами. Однажды на каникулах я поставил себя в неловкое положение: думая, что я дома один, и не зная, что меня слышит отец, я громко распевал песню “Синие замшевые туфли”: “Вали меня в грязь, / Топчи мне лицо, / Плюй на меня / И зови подлецом…” Если петь эту песню, подражая Элвису, нужно выкрикивать ее слова с некоторой злобой, как сегодня исполняют рэп, и мне пришлось глупейшим образом оправдываться, чтобы убедить моего отца, что со мной не случилось никакого припадка и что синдромом Туретта я не страдаю.

Итак, я боготворил Элвиса и твердо верил в существование некоего обобщенного создателя. Каков же был мой восторг, когда однажды, проходя мимо витрины магазина у себя в Чиппинг-Нортоне, я увидел там пластинку под названием *Peace in the Valley*, на которой одной из композиций была песня “Я верю”. Я был просто потрясен. Элвис тоже верующий! Я немедленно ворвался в магазин и купил эту пластинку. Прибежав домой, я тут же включил проигрыватель и стал ее слушать. Как же мне понравилось то, что я услышал! Мой кумир пел о том, что всякий раз, когда он видит чудеса окружающей природы, это укрепляет его в религиозной вере. Да ведь это было именно то, что чувствовал я сам! То был явный знак свыше. Теперь я ума не приложу, почему меня так поразила религиозность Элвиса. Он

вырос в семье простых работяг из южных штатов. С чего бы ему быть неверующим? Но тогда я пребывал в изумлении и даже отчасти верил, что этой неожиданно встреченной песней Элвис обращался лично ко мне, агитируя меня посвятить свою жизнь тому, чтобы рассказывать людям о боге-создателе всей природы, а для этого лучше всего было бы стать биологом, как мой отец. Мне казалось, что это мое призвание, и призвал меня не кто иной, как Элвис, которого я считал полубогом.

Я не вижу причин гордиться этим периодом истовой религиозности и рад сообщить, что продлился он недолго. Вскоре я начал понимать, что открытый Дарвином механизм эволюции – убедительная альтернатива моему богу-создателю как обоснованию красоты и кажущегося замысла живой природы. Об этом механизме мне первым рассказал отец, но поначалу – хотя я и понял лежащий в основе этого механизма принцип – мне представлялось, что он не все позволяет объяснить. Я был предубежден против дарвиновской теории под влиянием прочитанного в школьной библиотеке предисловия Бернарда Шоу к его циклу пьес “Назад к Мафусаилу”. В этом предисловии Шоу в свойственной ему красноречивой манере излагал свои сумбурные мысли, превознося ламаркизм (целенаправленную эволюцию) и понося дарвинизм (эволюцию механистическую), и благодаря его красноречию сумбур показался мне убедительным. В течение некоторого времени я сомневался в достаточности естественного отбора для объяснения всего, что он призван объяснить. Но затем один мой друг (из тех двух, вместе с которыми я впоследствии отказывался становиться на колени в церкви; кстати, ни тот ни другой не стал биологом) сумел разъяснить мне идею Дарвина во всем ее блеске, и я отбросил последние остатки теистического легковерия. Мне тогда было, наверное, лет шестнадцать. Вскоре я стал убежденным и воинствующим атеистом.

Я уже говорил, что к моему нежеланию преклонять колени школьные учителя относились спокойно, как настоящие англикане, и не обращали на это внимания. Но все-таки некоторых из них, по крайней мере двоих, мое поведение задевало. Первым был Флосси Пейн, который в то время вел у нас английский. Мне запомнилось, как он разъезжал на своем велосипеде, гордо выпрямившись и держа над головой зонтик. На одном из уроков Флосси потребовал от меня объяснений по поводу бунта, который я устраиваю, не преклоняя колени в церкви и призывая к этому других. Должен признаться, что я не сумел постоять за себя как подобает. Вместо того чтобы воспользоваться случаем и действительно призвать своих одноклассников последовать моему примеру, я, жалко заикаясь,

промямлил, что урок английского не место для таких дискуссий, и замкнулся в своей скорлупе.

Вторым был заведующий моим “домом”, Питер Линг (вообще-то, хороший человек, но немного конформист и большой традиционалист). Мне лишь недавно стало известно, что он звонил Йоану Томасу, нашему учителю зоологии, и выражал ему свою озабоченность моим поведением. Об этом случае я узнал из письма мистера Томаса, который сообщил мне, что тогда заявил мистеру Лингу следующее: “Заставлять такого ученика по воскресеньям дважды ходить в церковь значит причинять ему несомненный вред”. Далее в письме говорилось, что вместо ответа заведующий повесил трубку.

Кроме того, мистер Линг однажды вызвал моих родителей, чтобы по душам поговорить с ними за чаем о моем вызывающем поведении в церкви. В то время я ничего об этом не знал: моя мать поведала мне эту историю буквально на днях. Мистер Линг просил моих родителей попытаться убедить меня исправиться. Отец ответил примерно следующее (по воспоминаниям матери): “Мы не вправе на него давить, такого рода заботы – это ваши проблемы, поэтому боюсь, что не могу выполнить вашу просьбу”. Мои родители относились ко всей этой истории как к чему-то не стоящему внимания.

Как я уже сказал, мистер Линг был по-своему неплохим человеком. Мой старый друг по “дому” недавно рассказал мне следующую милую историю. Однажды днем он в нарушение правил находился в спальне и целовался там с одной из горничных. Услышав тяжелые шаги на лестнице, молодые люди запаниковали, и мой друг спешно подсадил девушку на подоконник и задернул шторы, чтобы ее не было видно. В комнату вошел мистер Линг – и наверняка заметил, что шторы задернуты только на одном окне. Хуже того, к своему ужасу, мой друг увидел, что ступни девушки отчетливо оттопыривают штору. Он был твердо уверен, что мистер Линг обо всем догадался, но сделал вид, что ничего не заметил, – наверное, из тех соображений, что “мальчишки есть мальчишки”: “Что это ты делаешь в спальне в такой час?” – “Просто зашел сменить носки, сэр”. – “Ну что ж, не задерживайся здесь”. Достойный поступок со стороны мистера Линга! Впоследствии мой друг стал, пожалуй, самым успешным выпускником Аундла своего поколения, был посвящен в рыцари, возглавил одну из крупнейших в мире международных корпораций и щедро поддерживал школу, учредив, в частности, стипендию имени Питера Линга.

Директор большой школы – фигура далекая и грозная. Сутулый Гас Стейнфорт преподавал у меня богословие в течение

только одного семестра, но мы его смертельно боялись. Он заставлял нас читать “Путешествие Пилигрима”[81], а затем изображать на рисунках, что каждый из нас вынес из этой довольно неприятной книги. Проработав директором Аундла только половину предполагаемого срока, Гас покинул школу, чтобы возглавить колледж Веллингтона, где он сам некогда учился, а новым директором Аундла стал Дик Найт – крупный, спортивный человек, завоевавший наше уважение своей способностью выбивать мяч за пределы поля (в свое время он играл в крикет за Уилтширский клуб) и совместным пением с теми, кто не состоял ни в каком хоре, на ежегодном исполнении оратории. У него был большой старинный “роллс-ройс” – двадцатых годов, насколько я могу судить по его впечатляющим вертикальным линиям, так не похожим на плавные очертания моделей следующих десятилетий. Так случилось, что он приехал по делу в Оксфорд в то самое время, когда мы с одним моим другом сдавали вступительные экзамены и проходили собеседования в выбранных нами колледжах. Узнав об этом, мистер и миссис Найт любезно предложили подвезти нас обратно до Аундла на своем старом “роллс-ройсе”, и по дороге мистер Найт тактично поднял тему моего бунта против христианства. Для меня было настоящим откровением, что среди христиан есть такие приятные, человечные и умные люди, воплощающие в себе англиканскую толерантность в лучших ее проявлениях. Кажется, он искренне интересовался мотивами, которыми я руководствовался, и совершенно не был склонен меня осуждать. Много лет спустя я ничуть не удивился, когда узнал из его некролога, что мистер Найт, который в молодости был не только известным спортсменом, но и выдающимся специалистом по Античности, после выхода на пенсию учился в Открытом университете математике и получил соответствующий диплом. Сэндерсон был бы от него в восторге.

Мои отец и дед даже не рассматривали для меня возможности учиться после окончания Аундла где-либо, кроме оксфордского Баллиол-колледжа. В то время Баллиол по-прежнему сохранял репутацию лучшего колледжа в Оксфорде. Он занимал одно из первых мест в университете по результатам экзаменов и славился великолепным набором выдающихся выпускников: писателей, ученых и государственных деятелей, в том числе премьер-министров и президентов многих стран мира. Мои родители договорились о встрече с Йоаном Томасом, чтобы узнать, что он думает о моих шансах. Мистер Томас реалистично оценивал мои возможности и был откровенен: “Ну, может быть, он и умудрится попасть в Оксфорд, но Баллиол ему, наверное, не

по зубам”.

Хотя мистер Томас и сомневался, что у меня достаточно способностей для поступления в Баллиол, этот замечательный учитель был твердо уверен, что мне стоит попытаться. По вечерам я регулярно ходил к нему домой на дополнительные занятия (разумеется, бесплатные: он был не из тех учителей, кто берет за это деньги), и в итоге меня каким-то чудом все-таки взяли в Баллиол. Но главное было не то, что я поступил именно в Баллиол, а то, что я поступил в Оксфорд. Прежде всего именно благодаря Оксфорду я и стал тем, кем стал.

“Дремлющие шпили” Оксфорда

– Мистер Докинз? Распишитесь здесь, сэр. Помню трех ваших братьев, один из них был прекрасным крайним нападающим. А вы не играете в регби, сэр?

– Нет, боюсь, что нет, и, э-э-э, вообще-то, у меня никогда не было братьев. Вы, наверное, имеете в виду моего отца и двух моих дядьев.

– Да, сэр, прекрасные молодые люди, распишитесь здесь, пожалуйста. Ваша комната – номер три, одиннадцатая лестница, ваш сосед – мистер Джонс. Кто следующий?

Может быть, не слово в слово, но примерно так звучал этот разговор. Я не догадался сразу его записать. Привратник Баллиол-колледжа носил, как положено, шляпу-котелок и смотрел на жизнь так, как с незапамятных времен заведено у людей его профессии. Юные джентльмены приходят и уходят, а колледж остается на века. И правда, в те годы, когда я учился в Баллиоле, колледж отпраздновал свое семисотлетие. Говоря о славной старинной профессии университетского привратника, я не могу не вспомнить историю, которую мне недавно рассказал главный привратник моего последнего места работы – Нового колледжа (хотя новым он был в 1379 году). Один неопытный новоиспеченный привратник еще не разобрался, как вести книгу происшествий и зачем она нужна. Вот какие записи (приблизительно – за подробности я не ручаюсь) он оставил в этой книге за вечер своего первого ночного дежурства:

20:00. Дождь.

21:00. По-прежнему дождь.

22:00. Дождь усиливается.

23:00. Дождь продолжает усиливаться. Слыхал, как он стучал мне в котелок, покуда делал обход.

Здесь я должен объяснить, как устроен Оксфордский университет. Он представляет собой федерацию колледжей. Баллиол-колледж – один из трех, которые считаются старейшими. Здания всех старых колледжей стоят по периметру четырехугольных дворов. В этих красивых старинных зданиях, в отличие от современных общежитий и гостиниц, обычно нет длинных коридоров, вдоль которых располагаются комнаты. Вместо этого в них есть множество лестниц, по которым можно пройти в комнаты, расположенные на площадках четырех или пяти этажей. С каждой лестницы во двор ведет отдельная дверь, и каждая комната обозначается номером лестницы и своим порядковым номером на данной лестнице. Чтобы зайти в гости к

соседу, обычно приходится спускаться во двор и заходить через отдельную дверь на другую лестницу. В мое время на каждой лестнице была ванная комната, так что нам не приходилось в любую погоду выходить во двор в халатах. Теперь ванные есть при большинстве комнат, что мой отец назвал бы “порядками для жутких молли” (неженок, нюнь). Подозреваю, что их установили не столько ради студентов, сколько ради участников конференций, под которые все оксфордские и кембриджские колледжи сдают свои помещения во время каникул.

Колледжи как в Оксфорде, так и в Кембридже обладают финансовой автономией и самоуправлением. Некоторые из них, такие как Сент-Джонс-колледж в Оксфорде и Тринити-колледж в Кембридже, очень богаты. Кстати, кембриджский Тринити-колледж исключительно богат не только деньгами, но и достижениями. На его счету больше Нобелевских премий, чем у любой *страны* мира, кроме США, Великобритании (разумеется), Германии и Франции. Оксфордский университет может похвастаться тем же, но до кембриджского Тринити далеко всем оксфордским колледжам, даже Баллиолу, который среди оксфордских колледжей занимает по нобелевским лауреатам первое место. Кстати, я недавно осознал, что мой отец – один из немногих людей, учившихся как в оксфордском Баллиол-колледже, так и в кембриджском Тринити-колледже.

Для отношений между университетом и колледжами и в Кембридже, и в Оксфорде характерна такая же тревожная натянутость, как для отношений между федеральным правительством и правительствами штатов в США. Развитие естественных наук увеличило власть и значение “федерального правительства” (университета), потому что занятие естественными науками – слишком смелое предприятие, чтобы каждый колледж мог справиться с ним по отдельности (хотя в XIX веке один или два колледжа пытались это делать). Естественно-научные отделения колледжей принадлежат университету, и главную роль в моей жизни в период обучения в Оксфорде играл не колледж, а отделение зоологии.

Тот привратник был, должно быть, одним из первых, обращавшихся ко мне “мистер Докинз” (и тем более “сэр”) – как к взрослому, что было непривычно. По-моему, студенты моего поколения отличались довольно неловкими попытками выглядеть взрослее, чем были. Студентам следующих поколений была свойственна скорее обратная склонность: неряшливо одеваться, напяливать капюшон или бейсболку, свободно висящий рюкзак и иногда даже еще свободнее висящие джинсы. Но мое поколение предпочитало носить твидовые пиджаки с кожаными вставками

на локтях, элегантные жилеты, вельветовые брюки, шляпы трилби, усы и галстуки – иногда даже бабочки. Некоторые (я был не из их числа, несмотря на пример моего отца) придавали этому имиджу завершенность курением трубки. Быть может, подобным манерам способствовал тот факт, что многие из моих однокурсников были на два года старше меня: мои ровесники были чуть ли не первым послевоенным поколением, которое не призывали в армию. Те из нас, кто пришел в университет сразу после школы, в 1959 году были еще мальчишками, в то время как другие студенты, ходившие с нами на одни лекции, жившие с нами по соседству и обедавшие с нами в одной столовой, были уже мужчинами, отслужившими в армии. Возможно, это способствовало нашему стремлению поскорее повзрослеть, чтобы и нас принимали всерьез. Мы забросили Элвиса и слушали Баха или “Модерн Джаз Квартет”. Мы торжественно, с выражением читали друг другу стихи Китса, Одена и Марвелла. Подобные настроения тонко передал Цзян И в своей завораживающей книге “Молчаливый странник в Оксфорде”[82], относящейся к немного более ранней эпохе, где он с китайским изяществом описывает, как два первокурсника бегут вверх по лестнице у себя в колледже, перепрыгивая через ступеньки. Здесь автор с бесподобной проницательностью подмечает: “Я понял, что они первокурсники, потому что услышал, как один из них говорит другому: «Ты много читал Шелли?»”

Представлению о том, что армия делает из мальчишки мужчину, посвящена одна прелестная история. Ее герой – Морис Баура, легендарный директор Уодхэм-колледжа (о нем ходит столько анекдотов, что всех не пересказать, но этот особенно мил). Сразу после войны Баура проводил собеседование с неким поступавшим в колледж молодым человеком.

– Сэр, я должен признаться, что, пока был на войне, совсем забыл латынь. Я ни за что не сдам вступительный по латинскому.

– О, не беспокойтесь об этом, дорогой мой, война зачтется за латынь, война зачтется за латынь.

Мои старшие однокурсники, к 1959 году отслужившие в армии, не были в буквальном смысле закаленными в боях, как тот абитуриент, который проходил собеседование с Баурой, но они, несомненно, производили впечатление людей бывалых и взрослых и этим были непохожи на меня. Как было уже сказано выше, я полагаю, что мои сверстники, напоказ курившие трубку и носившие галстуки-бабочки и аккуратно подстриженные усы, пытались не ударить в грязь лицом перед теми, у кого за плечами был опыт военной службы. Прав ли я, подозревая, что сегодняшним студентам колледжей свойственно

противоположное стремление, стремление казаться моложе, чем они есть? На доске объявлений колледжа в первый день учебного года нередко можно встретить что-нибудь вроде такой записки: “Первокурснички! Вам тоскливо? Не знаете, как быть? Скучаете по мамочке? Заходите к нам, попьем кофе и поболтаем. Мы вас любим”. Когда я поступал в колледж, подобного сюсюканья на доске объявлений нельзя было и вообразить! На ней скорее можно было встретить объявления, явно предназначенные для того, чтобы мы почувствовали, что попали в мир взрослых: “Не мог бы тот ‘джентльмен’, который ‘позаимствовал’ мой зонтик…”

Я решил специализироваться по биохимии. К счастью, наставник, проводивший со мной собеседование, добродушный Сэнди Огстон, который впоследствии стал главой оксфордского Тринити-колледжа, отказался взять меня на эту специальность (быть может, потому, что сам был биохимиком, и если бы он меня взял, ему пришлось бы меня учить) и вместо этого предложил мне специализироваться по зоологии. Я с благодарностью согласился, и оказалось, что это было совершенно правильное решение. Биохимия не смогла бы меня увлечь так, как зоология: доктор Огстон и правда был тем мудрым человеком, каким казался благодаря своей почтенной седой бороде.

В Баллиоле не было своего зоолога, поэтому меня направили на отделение зоологии к милейшему, общительному Питеру Брунету. Ему предстояло со мной заниматься самому или организовывать для меня занятия с другими преподавателями. Во время одного из первых занятий с доктором Брунетом произошел случай, который, вероятно, помог мне начать избавляться от школьного отношения к учебе и вырабатывать у себя университетское. Я задал доктору Брунету какой-то вопрос из области эмбриологии. “Я не знаю, – задумчиво ответил он, потягивая трубку. – Интересный вопрос. Я спрошу Фишберга и передам его ответ”. Доктор Фишберг был ведущим эмбриологом на отделении зоологии, поэтому этот ответ был вполне уместен. Но тогда реакция доктора Брунета произвела на меня такое впечатление, что я написал о ней своим родителям. Мой наставник не знал ответа на вопрос и собирался выяснить его у специалиста, а затем сообщить мне! Я почувствовал, что попал к серьезным людям.

Михаэль Фишберг был швейцарцем и говорил с сильным швейцарско-немецким акцентом. В своих лекциях он неоднократно упоминал какие-то “звякающие полосы” (*tonk bars*), и я думаю, что в своих конспектах большинство из нас писали именно так, пока наконец не увидели, как этот термин на самом деле пишется. Имелись в виду “язычковые полосы” (*tongue bars*),

одна из структур, наблюдающаяся у эмбрионов на определенной стадии развития. В докторе Фишберге очень подкупало то, что за годы жизни в Оксфорде он так увлекся крикетом – нашим национальным видом спорта, – что даже основал команду отделения и стал ее капитаном. У него был весьма необычный стиль подачи мяча. В отличие от питчера в бейсболе, боулер в крикете должен держать руку прямо. Швырять изо всех сил строго запрещено: рука не должна сгибаться. Учитывая это ограничение, единственный способ придать мячу сколько-нибудь ощутимую скорость состоит в том, чтобы разбежаться и после этого подавать. Самым быстрым боулерам в мире, таким как грозный австралиец Джефф Томсон (Томмо), удавалось подавать мяч со скоростью 160 км/ч (сравнимой со скоростью подачи мяча питчером в бейсболе, где руку положено сгибать), и они добивались этого за счет очень быстрого разбега и верхней подачи прямой рукой, изящно замахиваясь на бегу. Доктор Фишберг подавал иначе. Он стоял неподвижно по стойке “смирно” лицом к бэтсмену, горизонтально поднимал прямую руку, чтобы хорошенько прицелиться в калитку, а потом делал один дуговидный взмах, в верхней точке которого отпускал мяч.

Я играл в крикет безнадежно плохо, но иногда, когда никого получше найти не удавалось, а игрок был до зарезу необходим, меня все-таки уговаривали играть за команду отделения зоологии. Тем не менее мне очень нравится смотреть игру в крикет. Я с увлечением наблюдаю за тем, какую стратегию использует капитан, размещая полевых игроков вокруг бэтсмена, подобно шахматисту, выставляющему свои фигуры вокруг короля. Лучшим игроком, которого мне довелось видеть на крикетном поле в Оксфордских университетских парках, был набоб княжества Патауди (Тигр) – капитан оксфордской сборной, учившийся со мной на одном курсе в Баллиоле. Как бэтсмен он был бесподобен и умел без труда обхитрить полевых игроков, отражая мяч. Но особенно сильное впечатление он производил на меня, когда сам выступал в роли полевого игрока. Однажды бэтсмен, удачно отразивший мяч, ожидал легкой пробежки, но тут увидел, что полевой игрок, бросившийся к мячу, был не кто иной, как Тигр Патауди, и что есть мочи завопил игроку собственной команды, чтобы тот вернулся на свою черту. К сожалению, Тигр впоследствии потерял глаз в автомобильной аварии, и ему пришлось обходиться монокулярным зрением, но и после этого он был настолько хорошим игроком, что стал капитаном сборной Индии.

Я уже сказал, что стал тем, кем стал, прежде всего благодаря Оксфорду, но точнее было бы сказать, что это произошло

благодаря системе консультаций наставников, характерной для Оксфорда и Кембриджа. Оксфордская программа обучения зоологии помимо консультаций наставников включала лекции и лабораторные занятия, но они не особенно отличались от лекций и лабораторных занятий, которые можно посещать в любом другом университете. Некоторые лекции были хорошими, некоторые – плохими, но для меня это едва ли имело значение, потому что в то время я еще не понимал, зачем они вообще нужны. Явно не для усвоения информации; и не было никакого смысла делать то, что я делал (и что делают почти все студенты), а именно стараться очень подробно все записывать – ведь возможности думать уже не остается. Я лишь однажды воздержался от конспектирования, когда забыл ручку и у меня не хватило духу попросить сидевшую рядом девушку одолжить мне другую. (Девушки вызывали у меня благоговейный трепет, ведь я учился в школе для мальчиков, да и вообще отличался робостью, так что можете себе представить, учитывая, что я не смог даже попросить у девушки ручку, как часто я осмеливался приближаться к девушкам ради чего-либо более интересного.) Итак, на одной лекции я ничего не записывал и вместо этого думал. Это была не самая хорошая лекция, но я вынес из нее больше, чем из других (иные из которых были намного лучше), потому что из-за отсутствия ручки мне пришлось слушать и думать. Но мне недостало ума усвоить этот урок и воздержаться от конспектирования на дальнейших лекциях.

Считается, что конспекты нужны, чтобы их перечитывать, но я в свои записи больше ни разу не заглядывал и подозреваю, что большинство моих однокурсников поступали точно так же. Целью лекции должна быть не передача информации: для этого есть книги, библиотеки, а теперь еще и интернет. Лекция должна вдохновлять и заставлять думать. Слушая хорошего лектора, мы можем следить за тем, как он думает вслух, ищет нужную мысль и иногда ухватывает ее из воздуха, подобно знаменитому историку Алану Джону Персивалю Тейлору. Хороший лектор, думающий вслух, рассуждающий, размышляющий, перефразирующий для ясности, сомневающийся, а затем ловящий мысль, меняющий темп, делающий паузы, чтобы задуматься, может служить образцом для подражания и учить нас самих думать о том или ином предмете и передавать другим свою увлеченность им. Если же лектор монотонно сообщает сведения, как будто зачитывает их, то слушатели могли бы с равным успехом и сами их прочесть, например в книге, написанной им самим.

Когда я советую ничего не записывать, я немного утрирую.

Если лектор выдает какую-то оригинальную мысль, которая вас поражает и заставляет задуматься, непременно запишите, что об этом стоит еще подумать или что-то разузнать. Но стремление записывать хотя бы часть каждого предложения, которое произносит лектор (а я стремился делать именно так), ничего не дает студенту и разлагающе действует на лектора. Вот и я, теперь сам читая лекции студентам, замечаю лишь макушки их голов, склоненных над тетрадками. Поэтому мне больше нравится читать публичные лекции, выступать перед широкой аудиторией, например на литературных фестивалях, в университетах в качестве приглашенного лектора, послушать которого студенты приходят по собственному желанию, а не потому, что этого требует их учебная программа. Во время таких выступлений лектор видит не склоненные головы и строчащие ручки, а живые лица, улыбающиеся, выражающие понимание – или непонимание. Читая лекции в Америке, я страшно злюсь, если узнаю, что какой-то профессор потребовал от своих студентов прийти на мою лекцию ради “кредитов” (зачетных единиц). Я и вообще-то не большой поклонник системы кредитов, а уж получение студентами кредитов за мои лекции я просто ненавижу.

Нико Тинберген, который впоследствии стал моим научным руководителем, вошел в мою жизнь как лектор, рассказывавший нам о моллюсках. Он объявил, что с этой группой его связывает только то, что ему нравятся устрицы, но на отделении зоологии была традиция более или менее случайным образом раздавать каждому лектору по одному типу животных, и он ничего против этого не имел. Из этих лекций мне запомнились быстрота, с которой Нико рисовал на доске, его низкий голос (на удивление низкий для такого маленького человека) и речь с акцентом, не сразу выдающим его голландское происхождение, а также доброжелательная улыбка (тогда она казалась мне отеческой, хотя он был намного моложе, чем я сейчас). На следующий год он снова читал нам лекции, на сей раз о поведении животных, и его отеческая улыбка делалась шире от восторга, который он питал к своему собственному предмету. Исследования, проводимые его группой в колонии чаек у деревушки Рейвенгласс в Камберленде, были в ту пору в самом разгаре, и меня совершенно очаровал показанный им фильм о том, как озерные чайки удаляют из гнезд скорлупу яиц. Мне особенно понравился его метод построения графиков: лежащие на песке шесты для палатки служили осями, а размещенные в определенных местах скорлупки – точками. Как это похоже на Нико! И как непохоже на PowerPoint!

После каждой лекции у нас был лабораторный практикум. У меня не было больших способностей к практической работе, а

кроме того (таким уж я был молодым и незрелым), на практикуме противоположный пол отвлекал меня еще сильнее, чем на лекциях. По сути, только работа с наставниками и давала мне образование, и я до конца своих дней буду благодарен Оксфорду за этот уникальный подарок – уникальный потому, что по крайней мере в отношении естественно-научных предметов, по-моему, даже Кембридж здесь уступал Оксфорду. Часть I Кембриджского курса естественных наук, занимающая первые два года обучения в колледже, отличается похвальной широтой, но в результате не может дать студенту того радостного чувства, которое можно испытать в Оксфорде, сделавшись специалистом мирового уровня (если я и преувеличиваю, то не намного) в некоем наборе областей (разумеется, очень узких). Я описал эту систему в своем очерке, опубликованном в нескольких разных изданиях и вышедшем в окончательном виде в книге “Оксфордские консультации наставников: «Спасибо, что научили меня думать»”[83]. Дальнейшие абзацы частично заимствованы из этого очерка.

Я подчеркивал, что оксфордский курс не был “основанным на лекциях” в том смысле, в каком это можно сказать о курсах, нравящихся многим студентам, которым приятна уверенность, что на экзамене их могут спросить то и только то, о чем рассказывалось на лекциях. Когда я учился в колледже, экзаменаторы могли задавать любые вопросы из области зоологии. Единственным ограничением было негласное правило, что ни один экзамен не должен слишком уж отличаться от того, каким он был в прошлые годы. И работа с наставниками тоже не была “основанной на лекциях” (боюсь, что теперь происходит именно так): она была основана на зоологии.

Во время моего предпоследнего семестра в колледже Питеру Брунету удалось предоставить мне неоценимую возможность ходить на консультации к самому Нико Тинбергену. Поскольку доктор Тинберген один отвечал за все лекции по поведению животных, он вполне мог сделать эти консультации “основанными на лекциях”. Стоит ли говорить, что он поступил иначе? Каждую неделю я получал от него задание прочитать чью-либо диссертацию и написать по ней эссе, представляющее собой сочетание отзыва на эту диссертацию, обзора истории изучения ее предмета, предложений провести дальнейшие исследования в том же направлении и теоретического и философского обсуждения вопросов, поднимаемых этой диссертацией. Ни наставнику, ни студенту при этом и в голову не приходило задумываться о том, пригодится ли данное задание непосредственно для ответа на какой-либо экзаменационный

вопрос.

В течение еще одного семестра Питер Брунет, сознавая, что мой интерес к биологии имеет больший уклон в философию, чем у него самого, организовал для меня консультации Артура Кейна – искрометной восходящей звезды отделения и будущего профессора зоологии в Манчестере, а затем в Ливерпуле. Его консультации тоже отнюдь не были основаны ни на каких лекциях из нашей учебной программы: он задавал мне читать книги исключительно по истории и философии. Мне самому нужно было разбираться в том, как все это связано с зоологией. Я так и делал, и мне это безумно нравилось. Я не хочу сказать, что мои юношеские эссе о философии биологии были хоть сколько-нибудь хороши (теперь я понимаю, что это не так), но я навсегда запомнил, с каким восторгом я их писал и как ощущал себя настоящим ученым, работая в библиотеке.

То же самое можно сказать и о моих эссе на основные темы нашей учебной программы, посвященные обычным зоологическим вопросам. Я уже не помню, была ли у нас лекция об амбулакральной системе морских звезд. Наверное, была, но решение моего наставника задать мне эссе на эту тему никак не было с нею связано. Эта тема осталась одной из многих высокоспециализированных тем, о которых я до сих пор что-то помню, по одной простой причине – что мне довелось писать на эти темы эссе. У морских звезд нет красной крови, зато есть замысловатый водопровод с морской водой – система особых сосудов, состоящая из кольца, окружающего центр тела, и ветвей, отходящих от этого кольца в каждый из пяти лучей. Эта уникальная гидравлическая система позволяет морской звезде управлять многими сотнями полых амбулакральных ножек, расположенных вдоль каждого луча. Каждая такая ножка заканчивается небольшой присоской, и скоординированные взмахи этих ножек позволяют морской звезде перемещаться по субстрату в том или ином направлении. При этом ножки движутся не в унисон, а в полуавтономном режиме, и при серьезных повреждениях окружающего рот нервного кольца амбулакральные ножки разных лучей могут потянуть звезду в противоположные стороны и разорвать ее надвое.

Я помню об амбулакральной системе морских звезд только основные факты, но факты – это не главное. Главное – как нас учили их находить. Мы не только штудировали учебник: мы шли в библиотеку и рылись в разных книгах, новых и старых, мы раскапывали по ссылкам исходные статьи, пока не становились чуть ли не специалистами мирового уровня по данной теме, насколько это возможно за одну неделю (в наши дни

значительная часть подобной работы делается в интернете). Благодаря поощрению таких занятий на еженедельных консультациях мы не просто знакомились с амбулакральной системой морских звезд (или любой другой темой): я помню, что в течение той недели амбулакральная система не покидала меня ни днем, ни ночью. Стоило мне закрыть глаза, как перед ними маршировали, нащупывая дорогу, амбулакральные ножки, и, засыпая, я чувствовал, как у меня в мозгу, пульсируя, идет по гидравлической системе морская вода. Написание эссе было катарсисом, а следующая консультация – достойной наградой за все недельные труды. После этого начиналась новая неделя с новым волшебным пиром образов, которые предстояло вызвать из небытия в библиотеке. Мы получали образование… И я полагаю, что если чего-нибудь и стою как автор, то во многом именно благодаря этой еженедельной подготовке.

Наставником, по заданию которого я писал эссе об амбулакральных ножках, был Дэвид Николс, впоследствии ставший профессором зоологии в Эксетере. Еще одним замечательным наставником, оказавшим на меня как начинающего зоолога большое влияние, был Джон Карри, который позднее стал профессором зоологии в Йоркском университете. В частности, именно он познакомил меня со своим (а теперь и моим) излюбленным примером плохого “замысла” в строении животных – возвратным гортанным нервом. Я описал его в книге “Самое грандиозное шоу на Земле”: вместо того чтобы идти от мозга прямо к гортани, которую он иннервирует, этот нерв идет кружным путем (у жирафа длина этого пути поражает воображение), спускаясь вначале в грудь, делая там петлю вокруг одной большой артерии, а затем возвращаясь в шею, к гортани. Как разумный замысел это просто ужасно, но все становится на свои места, стоит нам забыть о замысле и рассмотреть это устройство в свете его эволюционной истории. У наших предков-рыб кратчайший путь для этого нерва лежал позади тогдашнего эквивалента той самой артерии, снабжавшего кровью одну из жабр. У рыб нет шеи. Но когда наши предки вышли на сушу, их шеи стали удлиняться, и артерия постепенно смещалась ближе к сердцу, крошечными эволюционными шажками удаляясь от мозга и гортани. Нерв нашим предкам пришлось тоже принять близко к сердцу (в буквальном смысле). Вначале его кружной путь был недлинным, но по ходу эволюции постепенно увеличивался, достигнув у современных жирафов протяженности в несколько метров. Всего несколько лет назад, участвуя в одной телепередаче, я удостоился чести ассистировать при препаровке этого замечательного нерва у жирафа, который, к сожалению,

умер несколькими днями раньше.

Моим наставником по генетике был Роберт Крид, ученик эксцентричного эстета-женоненавистника Эдмунда Бриско Форда, который, в свою очередь, находился под сильным влиянием великого Рональда Эйлмера Фишера и научил нас всех преклоняться перед ним. Из консультаций Крида и лекций Форда я узнал, что гены влияют на организм не как отдельные единицы: действие каждого гена зависит от “фона”, образуемого другими генами, входящими в состав генома. Гены вносят изменения в действие друг друга. Впоследствии, когда я сам стал наставником, я придумал метафору, которую использовал, пытаясь объяснить это своим ученикам. Представим себе, что устройство организма – это имеющая некоторую форму простыня, более или менее горизонтально подвешенная на тысячах веревочек, которые привязаны к крючкам на потолке. Каждая веревочка – это один ген. Мутация в любом гене – это изменение натяжения одной веревочки. При этом (что особенно важно в данной метафоре) веревочки не висят отдельно, а сложным образом переплетены друг с другом. А значит, когда меняется натяжение одной веревочки (в одном гене происходит мутация), то одновременно меняется и натяжение всех остальных веревочек, с которыми она переплетена, и по всему их хитросплетению проходят волны, напоминающие эффект домино. В итоге форма простыни (устройство организма) определяется взаимодействием всех веревочек (генов), а не воздействием каждой из них на свою часть простыни. Организм не похож на схему разделки туши, каждая часть которой соответствует области действия отдельного гена. Каждый ген влияет на организм, взаимодействуя с другими генами. Эту метафору можно и усложнить, добавив влияние факторов среды (всего, кроме генов), тянущих переплетенные веревочки в стороны.

У упоминавшегося выше Артура Кейна я перенял неприятие модного в те времена повального увлечения нумерическими методами классификации, основанными на численных параметрах сходства и различия разных групп животных. У него же я перенял и восхищение способностью естественного отбора вырабатывать исключительно совершенные адаптации (вместе с тем не забывая и о таких важных и интересных исключениях, как вышеописанный возвратный гортанный нерв). Оба эти урока сделали меня еретиком в глазах тех, кто придерживается ортодоксальных взглядов, которые по-прежнему в чести среди зоологов. Кроме того, именно Артур научил меня реже использовать слово “банальный” (*mere*), на злоупотребление которым я с тех пор всегда обращаю внимание. “Люди – это не

банальные мешки с химикалиями…” Ну разумеется, нет, но это утверждение не содержит ничего интересного, и слово “банальные” здесь лишнее. “Люди – это не *банальные* животные…” Разве это не тривиально? Какую нагрузку несет в этом предложении слово “банальные”? Да и так ли “банальны” животные? Сказать так значит не сказать ничего осмысленного. Если мы хотим произнести что-то осмысленное, нужно так и сделать, а не ходить вокруг да около.

Именно от Артура я узнал незабываемую историю о Галилее, красноречиво показывающую, что нового внесла в науку эпоха Возрождения. Однажды Галилей показывал одному образованному человеку в телескоп некое астрономическое явление, и его благородный гость сказал примерно следующее: “Сударь, то, что вы мне показали в свой телескоп, настолько убедительно, что, если бы Аристотель определенно не утверждал обратное, я бы вам поверил”. Сегодня нас поражает (или должно поражать), когда кто-то отвергает данные реальных наблюдений или экспериментов в пользу того, что голословно утверждалось признанным авторитетом. Но в том-то и соль. Именно это и изменилось в науке.

Консультации для нас, зоологов, в отличие от студентов, специализировавшихся на истории, английском или юриспруденции, почти никогда не проходили в стенах собственного колледжа, как, впрочем, и в стенах других колледжей. Почти на все консультации мы ходили на отделение зоологии, служившее своеобразным придатком к университетскому музею и разбросанное по верхним и нижним помещениям музейного здания. Вот эта сеть коридоров и комнат, как я уже говорил, и была для меня центром моей студенческой жизни, совсем не похожей на жизнь тех студентов, которые специализировались по гуманитарным предметам (для них центром жизни был колледж). Работающие в колледжах наставники старой школы считают консультации, проходящие вне стен колледжа, какими-то второсортными. Мой опыт говорит о совершенно обратном. Каждый семестр мне назначали нового наставника, и это действовало на меня ободряюще по очевидным причинам, которые едва ли нужно излагать.

В Баллиоле у меня были и друзья, большинство из которых специализировались именно на гуманитарных предметах. На одном этаже со мной жили Николас Тайак (который позже оказался моим соседом по комнате, а впоследствии стал профессором истории в Университетском колледже Лондона) и Алан Райан (который стал выдающимся политологом и директором Нового колледжа). Так получилось, что среди моих

друзей было несколько постоянных участников театральных постановок нашего колледжа, в связи с чем я повидал немало любительских спектаклей. Одним из самых сильных театральных впечатлений за всю мою жизнь был поставленный Драматическим обществом Баллиол-колледжа спектакль по пьесе Роберта Ардри “Тень героев” о Венгерском восстании 1956 года. Не столь серьезными были постановки “Актеров Баллиола” – гастролирующей труппы, каждый год ставившей пародийный спектакль по одной из пьес Аристофана. Если не ошибаюсь, в двадцатых годах, когда эта труппа была организована, она ставила Аристофана как есть, и даже на древнегреческом. Но традиция изменилась, и, когда учился я, произведения Аристофана было принято переиначивать, превращая их в современную политическую сатиру. Главными звездами “Актеров Баллиола” в мое время были Питер Сноу, который впоследствии стал известным телеведущим, и Джон Элбери – остроумный и талантливый представитель знаменитой театральной династии, позднее ставший главой оксфордского Университетского колледжа. Джон Элбери великолепно изображал генерала Монтгомери (“Как сказав Господь Бог – и я с ним согвасен…”), а Питер Сноу столь же ярко – генерала де Голля (“*La gloire… la victoire… l’histoire… et… la plume… de ma tante*”[84]). Джереми Гулду почти не понадобилось играть, чтобы изобразить, как Гарольд Макмиллан поет: “На день рожденья свой я многих приглашу… / Орденоносных лиц…” То было время заката Британской империи, и “Актеры Баллиола” почтили ее память очаровательной песенкой, которую написал, вероятно, Джон Элбери. Я помню только пять строчек:

Заходит Феб с Венерой парой
От Адена до Занзибара,
И распадается Империя,
Сама судьба стучится в двери ей,
И человек твердит: “Не верю я…”

Те же самые театралы ввели меня в Викторианское общество, с собраниями которого у меня связаны одни из самых счастливых воспоминаний о Баллиол-колледже. Мы собирались один или два раза в семестр и под аккомпанемент фортепиано пели, потягивая портвейн, песенки из репертуара мюзик-холлов. Ведущий по одному вызывал солистов, каждый из которых исполнял свои излюбленные песни, а мы все хором подпевали. В основном это

были развеселые песенки (“Откуда шляпа-то у вас?”, “Хватит с вас уже, миссис Мур”, “Парень с Ланкашира”, “Я Генрих и притом Восьмой”, “Мой старик сказал: «Не отставай»”), время от времени перемежавшиеся сентиментальными и слезоточивыми, перед исполнением которых всем раздавали бумажные носовые платочки (“Как птичка в клетке она золотой”, “Серебро в моих кудрях”), а завершался вечер ура-патриотическими произведениями (“Солдаты королевы”, “Мы не хотели драться, но если уж пришлось… И русским не видать Константинополь”). Если и есть что-то, что мне очень хотелось бы пережить вновь из моей жизни в Баллиоле, так это одно из таких собраний Викторианского общества.

Много лет спустя мне доводилось испытывать подобные ощущения на традиционных пятничных вечерах песен в пабе “Киллингвортский за́мок” в Вуттоне – деревушке под самым Оксфордом. Меня привела туда моя вторая жена Ив, мать моей любимой дочери Джульет. Там исполняли британский фолк, а не репертуар мюзик-холлов, и пили пиво, а не портвейн, но в самой атмосфере было что-то от атмосферы собраний Викторианского общества: теплое праздничное настроение, подогреваемое не столько выпивкой, сколько музыкой и хорошей компанией. Солистами и аккомпаниаторами (игравшими на гитаре, гармошке и дудочке) становились попеременно то одна, то другая из четырех или пяти групп постоянных исполнителей. Все они были по-своему хороши, и у всех был свой особый репертуар, известный постоянным хористам, в том числе нам с Ив. Исполнение некоторых песен предполагало весьма стильное пение каноном или дискантом. Кроме того, как и в Викторианском обществе, хор был всегда дисциплинирован и умел петь в быстром темпе, совсем не так, как обычно бывает, когда подвыпившие посетители похоронными голосами затягивают “Песню на закате…” Самым заметным хористам Ив дала прозвища, которыми мы называли их между собой: Две Пинты (крупный молодой бородач, певший басом таким же могучим, как и его руки, в которых он приносил музыкантам сразу по нескольку кружек пива), Папаша (добродушный дед, обладавший приятным тенором и иногда по окончании выступлений основных солистов вызывавшийся спеть соло песню “Кто убил Зарянку”), Мейнард Смит (весельчак в очках, прозванный так за сходство с великим ученым Джоном Мейнардом Смитом), Невероятный Халк (один из немногих, кто пел фальшиво) и другие.

Но вернемся в Баллиол. В те годы мы с друзьями из колледжа нередко ходили в кино, обычно в кинотеатр “Ска́ла” на Уолтон-

стрит, на интеллектуальные фильмы Ингмара Бергмана, Жана Кокто, Анджея Вайды и других континентальных режиссеров. Особенно сильное впечатление на меня произвели мрачные черно-белые образы из фильмов Бергмана “Земляничная поляна” и “Седьмая печать” и лирические любовные сцены из “Летней интерлюдии” – до трагического поворота сюжета. Такого рода фильмы, а также поэзия, с которой меня познакомил отец (стихи Руперта Брука, Альфреда Эдварда Хаусмана и особенно раннего Уильяма Батлера Йейтса), привели меня на путь романтических фантазий и витания в облаках, вплоть до отрыва от реальности. Как и многие наивные девятнадцатилетние юноши, я влюбился, но не столько в какую-то конкретную девушку, сколько в саму идею влюбленности. Несмотря на то что любимая девушка у меня была, причем шведка, что перекликалось с моими навеянными Бергманом фантазиями, прежде всего я любил саму идею любви и свою роль трагического Ромео. Я до смешного долго тосковал по своей возлюбленной после того, как она вернулась в Швецию и наверняка давно забыла свою короткую летнюю интерлюдию со мной.

Но девственности я лишился намного позже, уже в довольно солидном возрасте – в 22 года. Это было в Лондоне, в съемной комнате одной очаровательной виолончелистки, которая сняла юбку, чтобы сыграть для меня (на виолончели невозможно играть в узкой юбке), а затем сняла и все остальное. Теперь модно принижать свой первый подобный опыт, но я не стану этого делать. Все было замечательно, и что мне особенно запомнилось – это чувство какого-то атавистического удовлетворения: “Да, конечно, именно так *это* и должно было ощущаться. Так это и должно было быть от начала времен”. Биологу нетрудно объяснить, почему эволюция нервной системы сделала ощущения, связанные с половым актом, одними из безусловно приятнейших, которые только возможны в жизни. Но объяснить не значит сделать их хоть сколько-нибудь менее замечательными, точно так же, как Ньютон, расплетя радугу на цвета спектра, нисколько не умалил ее великолепия. И не важно, сколько радуг нам доведется увидеть за свою жизнь: великолепие радуги каждый раз поражает нас вновь, и наше сердце каждый раз начинает сильнее биться в груди. Но больше я ничего на эту интимную тему не скажу и не выдам ничьих секретов. Эта автобиография не из тех, где можно найти пикантные подробности.

Вордсворт почему-то никогда не был среди моих любимых поэтов, но мне бы хотелось процитировать здесь несколько отрывков из тех стихов других авторов, которые я по-настоящему

любил в молодости. Эти строки сыграли важную роль в том, что я стал тем, кем стал, и я знал их наизусть (а некоторые помню до сих пор).

Взбежав на светлый холм, мы пали ниц,
Смеясь, целуя милую траву.
Ты молвила: “Ты жив, и я живу.
Не станет нас, но будет пенье птиц.
Хоть старость впереди…” – “Любовь моя,
Пусть мы умрем, и пусть не будет нас,
Свечам гореть в других, – ответил я. –
И вот он, рай, он обретен сейчас!”
“Мы соль земли! Для нас цветут сады.
Мы верим только в жизнь! – сказали мы. –
Сойдем, не дрогнув, в царство вечной тьмы
В венках из роз!” Как были мы горды,
Смеясь сознанью смелой правоты! –
И вдруг, заплакав, отвернулась ты.

Р. Брук

Не говори мне, как зовется
Мотив, что вновь играет фея,
Когда сентябрь уж отступает,
Когда боярышник белеет,
Ведь я и сам прекрасно знаю,
Ведь мы давно знакомы с нею.

А. Э. Хаусман

Мне снилось: стоял я в долине, где вьется ручей,
И пары влюбленных всё шли предо мной в стороне.
Любовь, что утратил я, вышла из леса ко мне,
И свет был притушен ее приоткрытых очей.
В слезах я взмолился: “О женщины! пусть никогда
Не смотрит в глаза вам влюбленный, не ведает их,
Не то красоты не найти ему в лицах других,
Пока всех на свете ручьев не иссякнет вода”.

У. Б. Йейтс

Сердце к сердцу стояли над пенною бездной.
Он шептал: “Розы вянут с приходом зимы,
Но цветы этих волн никогда не исчезнут,
И пусть любящий слабо – умрет, но не мы!”
И все тот же пел ветер, и волны белели,
И не все лепестки еще осень смела,
Но в устах, что шептали, в очах, что горели,
Любовь умерла.

А. Ч. Суинберн

У моего отца был толстый скоросшиватель с коллекцией любимых стихов, переписанных им от руки. Эта папина личная антология, которая по-прежнему хранится у моей матери, оказала немалое влияние на мои собственные поэтические вкусы. Я был очень тронут, когда узнал, что начало этой коллекции было положено письмами, которые он посылал маме из Кембриджа, где учился в магистратуре, когда им обоим было немногим больше 20 лет. К письмам прилагались стихотворения, и мама их все сохранила.

Но вернемся к моей собственной учебе в колледже. Думая о будущем, я, кажется, никогда всерьез не рассматривал возможность заняться фермерством вместе с отцом. Мне чем дальше, тем больше хотелось остаться в Оксфорде и заниматься наукой в магистратуре. Я смутно представлял себе, что буду делать после этого и даже какими именно исследованиями мне хотелось бы заниматься. Питер Брунет предложил мне работу по биохимии. Я с благодарностью согласился и приступил, хотя и без особого энтузиазма, к изучению соответствующей литературы. Но вскоре я стал ходить на консультации к Нико Тинбергену, и это навсегда изменило мою жизнь. Я нашел для себя науку, в которой мне было над чем подумать, науку, имеющую философское значение. Судя по всему, мне удалось произвести впечатление на Нико: в конце семестра в своем отзыве для колледжа он назвал меня лучшим студентом, которого ему доводилось консультировать (хотя это не особенно громкая похвала, учитывая, что он консультировал как наставник лишь немногих студентов). Так или иначе, его отзыв помог мне

набраться смелости и спросить, не возьмет ли он меня к себе в магистратуру, и, к моей несказанной радости, он согласился. Мое будущее было обеспечено – по крайней мере на следующие три года. Да и на всю оставшуюся жизнь, как я теперь понимаю.

Обучение ремеслу

Время студенческой научной работы связано с идиллическими воспоминаниями едва ли не у всех ученых. Но среда, в которой ведется такая работа, может быть в разной степени идиллической, и в этом отношении группа Тинбергена начала шестидесятых была, по-моему, особенно замечательна. Ханс Круук хорошо передал ее атмосферу в своей биографии Нико, написанной с любовью, но без идеализации[85]. Мы с Хансом пришли в группу уже после ее “хардкорного” периода, который описывают Десмонд Моррис, Обри Мэннинг и другие, но мне кажется, что и наше время имело с тем периодом немало общего, хотя мы и не так часто общались с самим Нико, потому что его кабинет располагался в главном здании отделения зоологии (в здании Университетского музея на Паркс-роуд), а вся остальная группа работала за полмили от него – в пристройке к дому номер 13 по Бевингтон-роуд, высокому узкому строению на севере Оксфорда.

На Бевингтон-роуд главным был Майк Каллен, который стал, пожалуй, важнейшим учителем в моей жизни. Я думаю, что большинство молодых ученых, работавших одновременно со мной в группе исследований поведения животных, могли бы сказать о себе то же самое. Чтобы попытаться объяснить, в каком долгу мы все перед этим замечательным человеком, лучше всего процитировать здесь окончание речи, которую я произнес на панихиде по нему в оксфордском Уодхэм-колледже в 2001 году.

Сам он опубликовал не так уж много статей, но работал необычайно усердно и как преподаватель, и как ученый. Он был, вероятно, самым востребованным наставником на всем отделении зоологии. Все остальное время (которого ему всегда не хватало, хотя его рабочий день был чуть ли не бесконечен) он посвящал научной работе. Но это редко была его собственная работа. Все, кто его знал, могут рассказать об этом практически одинаково. Об этом же можно прочитать во всех его некрологах, где все описано очень похоже, что неудивительно.

Если у кого-то из нас возникали проблемы с собственными исследованиями, мы точно знали, к кому обращаться за помощью, и знали, что мы ее получим. Я помню все, как будто это было вчера. Разговор за обедом в тесной кухоньке на Бевингтон-роуд. Жилистый, задорный человек в красном свитере, немного согнувшийся, как закрученная пружина, заряженная энергией мысли, и иногда сосредоточенно покачивающийся взад-вперед. Проницательный взгляд человека, который понимает, что́ ты

хочешь сказать, еще до того, как ты успеешь вымолвить хоть слово. Задняя сторона конверта, которая помогала разобраться в проблеме, время от времени – скептический, насмешливый наклон бровей под взъерошенными волосами. Потом ему нужно было бежать (он всегда спешил), например на консультацию, и он хватал свою жестянку с печеньем за проволочные ручки и исчезал. Но на следующее утро у Майка уже был готов ответ на твой вопрос, записанный на паре страниц его характерными маленькими буквами, часто с формулами, диаграммами, ссылкой на ключевой литературный источник, а также иногда стихами его собственного сочинения или отрывком на латыни или древнегреческом. Всегда со словами ободрения.

Мы были ему благодарны, но благодарны недостаточно. Если бы мы об этом задумывались, нам должно было приходить в голову: “Да ведь ему, наверное, весь вечер пришлось потратить на ту математическую модель из моей работы! И ведь он помогает не только мне. Все, кто работает на Бевингтон-роуд, могут в равной степени рассчитывать на его помощь, отнюдь не только его собственные студенты”. Официально моим научным руководителем был Нико, а не Майк. Но Майк взял меня под свою опеку, неофициальную и неоплачиваемую, когда для Нико в моей работе стало слишком много математики. Когда я приступил к написанию диссертации, именно Майк Каллен читал ее, критиковал и помогал мне оттачивать каждую строчку. Причем одновременно он делал то же самое и для других студентов, которыми руководил официально.

Нам, вообще-то, следовало бы поинтересоваться, откуда ему взять время для нормальной семейной жизни, для собственных исследований. Неудивительно, что он так редко публиковался. Неудивительно, что он так и не написал свою книгу о коммуникации животных, появления которой так долго ждали. По-хорошему, он должен был ставить свою фамилию среди авторов едва ли не каждой из тех сотен статей, что вышли из дома номер 13 по Бевингтон-роуд в тот золотой период. Но почти во всех этих статьях его имя упоминалось только в разделе “Благодарности”…

Успех, от которого зависит карьера и признание ученого, принято оценивать по его публикациям. По этому показателю успехи Майка были скромны. Но если бы он соглашался значиться соавтором работ своих студентов, как в порядке вещей делают современные научные руководители с работами, в которые они вносят намного меньший вклад, Майк считался бы очень успешным ученым по общепринятым стандартам и получил бы соответствующее признание. Но он был потрясающе успешным

ученым в намного более глубоком и верном смысле. По-моему, ясно, какого рода ученые по-настоящему заслуживают нашего восхищения.

К несчастью для Оксфорда, он уехал в Австралию. Через много лет я приехал в Мельбурн в качестве приглашенного лектора и присутствовал на устроенном по этому случаю званом ужине. Я стоял с бокалом в руке и имел, наверное, довольно чопорный вид. Вдруг в комнату вбежал человек, которого трудно было не узнать, в спешке, как и всегда. Все присутствующие были в костюмах, но не этот мой старый знакомый. Я как будто вернулся в прошлое. Он ничуть не изменился, и хотя ему было уже, должно быть, далеко за шестьдесят, казалось, что ему нет и сорока, так все в нем светилось задорным энтузиазмом, даже его красный свитер. На следующий день он повез меня на побережье, чтобы показать своих любимых пингвинов, с остановкой по пути, чтобы посмотреть на гигантских австралийских дождевых червей, достигающих в длину нескольких метров. Мы разговаривали до глубокой ночи, причем, насколько я помню, не о старых временах и старых друзьях и, уж конечно, не об амбициях, добывании грантов и публикациях в журнале “Нейчур”, а о новых исследованиях и новых идеях. Этот день, день нашей последней встречи, незабываем.

Наверное, мы знаем и других ученых, таких же интеллектуальных, как Майк Каллен, хотя их не так уж много. Мы знаем и других ученых, так же, как он, всегда готовых прийти на помощь, они тоже наперечет. Но я ответственно заявляю, что мы не знаем никого, кто мог дать так много и при этом давал так щедро.

Я почти плакал, когда говорил это в церкви Уодхэм-колледжа, и почти плакал сейчас, когда перечитал это 12 лет спустя.

Не знаю, был ли дух товарищества, царивший в доме номер 13 по Бевингтон-роуд, явлением исключительным, или нечто подобное свойственно всем группам, в которых студенты магистратуры занимаются научной работой. Подозреваю, что когда такая группа базируется в отдельной пристройке, а не в большом университетском здании, это способствует общей сплоченности. Я думаю, что впоследствии, когда наша группа (вместе с другими подобными отщепенцами, такими как Институт полевой орнитологии имени Эдварда Грея, которым руководил Дэвид Лэк, и Бюро популяций животных Чарльза Элтона) переехала в свое нынешнее жуткое бетонное здание на Саут-Паркс-роуд, что-то было утрачено. Хотя, быть может, мне так кажется потому, что я стал тогда старше и у меня появилось

больше дел. Как бы там ни было, я дорожу памятью о Бевингтон-роуд и своих тогдашних товарищах, собиравшихся вместе на вечерних пятничных семинарах, или в столовой, или за бильярдным столом в пабе “Роза и корона”, – таких, как Роберт Маш, чье заразительное чувство юмора я вспоминал впоследствии в своем предисловии к его книге “Как содержать динозавров”[86]; куривший сигарету за сигаретой и пивший пинту за пинтой Дик Браун, про которого ходили неправдоподобные слухи о его религиозности; Хуан Делиус, чьи блестящие способности в сочетании с дикой эксцентричностью делали общение с ним неизменно увлекательным занятием; его сверхъестественно приятная жена Ута, у которой я брал уроки немецкого; высокий светловолосый голландец Ханс Круук, впоследствии написавший биографию Нико; шотландец Иэн Паттерсон; специалист по олушам Брайан Нельсон, которого я в течение первых шести месяцев знал только по загадочной записке на двери его кабинета: “Нельсон на скале Басс”; бородатый Клифф Хенти; будущий преемник Нико Дэвид Мак-Фарленд, который, хотя и работал на отделении психологии, был в некотором роде почетным членом нашей группы, потому что его жизнерадостная жена Джилл была научной ассистенткой Хуана и каждый день обедала вместе с мужем на Бевингтон-роуд; Вивьен Бензи, которая ввела в круг почетных членов группы, обедавших вместе с нами, веселых новозеландок Лин Маккехи и Энн Джеймисон; Лу Гурр, еще один улыбчивый новозеландец; Робин Лайли; общительный натуралист Майкл Робинсон; Майкл Хэнселл, который позже стал моим соседом по квартире; Моника Импековен, в соавторстве с которой я впоследствии написал статью; Мэриан Стэмп, на которой я женился; Хезер Маклэннахан, Роберт Мартин, Кен Уилз; Майкл Нортон-Гриффитс и Харви Кроуз, в дальнейшем занимавшиеся консалтингом в Кении; Джон Кребс, в соавторстве с которым были опубликованы три статьи; Иэн Дуглас-Гамильтон, вынужденный уехать из Африки, где он посвятил свою диссертацию слонам; Джейми Смит, с которым я написал статью об оптимальной стратегии добывания пищи у синиц; Тим Холлидей, специалист по тритонам; Шон Нилл, ездивший на тщательно отремонтированной старой “лагонде” и рисовавший чудесные карикатуры; превосходный фотограф Лэри Шаффер, – и других, которых я здесь не упомянул, за что должен попросить прощения.

Главным событием каждой недели для группы Тинбергена был пятничный вечерний семинар. Эти семинары длились два часа, и часто окончание одного приходилось переносить на начало следующего, но время летело незаметно, потому что

вместо обычного навевающего сон регламента, предписывающего в течение часа слушать одного докладчика, а в конце задавать вопросы, на наших семинарах было принято вести споры на протяжении всех двух часов. Нико задавал тон, прерывая докладчика едва ли не на первом же предложении: “Ja, ja, но что имеется в виду под тем-то и тем-то?” Это не особенно раздражало выступающих, потому что Нико всегда стремился внести ясность и его замечания обычно бывали уместны. Майк Каллен в своих ремарках демонстрировал больше проницательности и эрудиции, поэтому его вопросов докладчики и боялись больше. Другими важными и по-своему блестящими участниками этих семинаров были Хуан Делиус и Дэвид Мак-Фарленд, но и все мы едва ли не с самого первого дня не стеснялись вмешиваться в обсуждение. Нико поощрял нас к этому. Он настаивал на том, чтобы вопрос, на который мы стремились ответить в своей работе, был сформулирован предельно четко. Я помню, в каком был шоке, когда, приехав в поселок Мэдингли под Кембриджем, где работала группа наших коллег, услышал, как один из студентов описывает свою исследовательскую работу следующими словами: “Вот что я делаю…” Мне пришлось сдержать себя, чтобы не прервать его, подражая голосу Нико: “Ja, ja, но на какой же вопрос вы хотите ответить?” Много лет спустя я рассказывал об этом в Мэдингли, когда сам выступал там на семинаре в качестве докладчика. Несмотря на шуточное возмущение грозного интеллектуала Роберта Хайнда, харизматичного руководителя группы из Мэдингли и будущего главы кембриджского Сент-Джонс-колледжа, я отказался назвать имя того студента, не назову его и теперь.

Вопрос, поставленный передо мной Нико, был разновидностью вопроса, который часто обозначают избитой формулой “природа или воспитание?” (*nature or nurture?*), заимствованной из шекспировской “Бури”:

> Черт, по рожденью черт. Его природы
> Не воспитать[87].

Философы задавались этим вопросом не одно столетие. В какой степени наши знания заложены в нас от рождения, а в какой разум новорожденного представляет собой чистый лист, готовый к заполнению, как полагал Джон Локк?

Нико, как и Конрад Лоренц (два признанных основателя науки этологии), изначально принадлежал к той школе, которая придавала больше значения “природе” и меньше “воспитанию”. В

своей самой знаменитой книге “Изучение инстинкта”[88], от многих положений которой он впоследствии открещивался, Нико использовал термин “инстинкт” в значении “врожденная форма поведения”, определяемая как “форма поведения, не меняющаяся под влиянием процессов научения”. Этологией называют биологическую науку о поведении животных. Этим предметом занимаются и представители некоторых направлений психологии, но они традиционно концентрируются на иных его аспектах. Психологи обычно ставили опыты с такими животными, как крысы, кролики или макаки, используя их в качестве модельных объектов для изучения человека, а этологов животные интересовали как таковые, а не как средство для исследования чего-либо другого. Поэтому этологи всегда занимались намного более широким кругом видов и концентрировались на поведении животных в их естественной среде обитания. Кроме того, как я уже сказал, этологи изначально придавали больше значения “врожденному” поведению, в то время как психологи больше интересовались обучением.

В пятидесятых годах исследованиями этологов начала интересоваться группа американских психологов. Одной из самых видных фигур среди них был Дэниэл Лерман – крупный человек и большой знаток как естествознания, так и психологии. Кроме того, он неплохо говорил по-немецки, благодаря чему стал играть роль своего рода моста между психологическим и этологическим подходами к поведению животных.

В 1953 году Лерман написал влиятельную статью с критикой традиционного этологического подхода. Он серьезно раскритиковал само понятие врожденного поведения – не потому, что считал любые формы поведения результатом научения (хотя некоторые психологи, на которых он ссылался, думали именно так), а потому, что врожденному поведению, как он полагал, в принципе нельзя дать строгое определение, так как нельзя придумать эксперимент, который позволил бы однозначно доказать врожденность той или иной формы поведения. Теоретически это явно мог бы сделать так называемый эксперимент по изучению депривации, суть которого состоит в следующем. Представим себе, что неким людям ничего не рассказывали о том, как заниматься сексом, и у них не было возможности наблюдать за половым поведением других видов и вообще хоть что-нибудь про это узнать. Смогут ли такие люди вступать в сексуальные отношения, когда им наконец представится такая возможность? Вопрос интересный, и что-то об этом, вероятно, могут поведать апокрифические рассказы, например о наивных молодых супругах викторианской эпохи,

которых с детства ограждали от любых непристойностей. Но проводить такие эксперименты на людях нельзя, а на других животных можно.

Если с самого рождения содержать животное в условиях депривации, лишив его доступа к соответствующему опыту, а в итоге окажется, что оно тем не менее умеет вести себя “как следует”, соответствующую форму поведения определенно нужно будет признать заложенной от природы, врожденной, инстинктивной. Разве не так? Но Лерман возражал на это, что животное нельзя с самого рождения лишить всего (света, пищи, воздуха и т. д.), а значит, мы в принципе не можем установить, какая степень депривации нужна, чтобы доказать врожденность той или иной формы поведения.

Лерман и Лоренц в своем споре не удержались от перехода на личности. Лерман, у которого были еврейские корни, поймал Лоренца на том, что в его публикациях военных лет высказывались мысли, подозрительно близкие к идеологии нацизма. Лоренц, впервые встретившийся с Лерманом уже после выхода его критической статьи, сказал (приблизительно) следующее: “Исходя из того, что вы пишете, я думал, что вы, должно быть, маленький, жалкий, ничтожный человечек. Но теперь я вижу, что вы БОЛЬШОЙ человек [89], следовательно, мы можем стать друзьями”. Это предложение дружбы, впрочем, не остановило Лоренца, когда он попытался (как рассказывает Десмонд Моррис, сидевший с ним в одной машине) запугать Лермана, чуть не задавив его огромным американским автомобилем, на котором ездил в Париже.

Но вернемся к вопросу о роли природы и воспитания. Вот лишь один пример. Самцам камышовки-барсучка свойственна замысловатая песня, которую они умеют исполнять, даже если были выращены в изоляции и ни разу ее не слышали. Школа Лоренца и Тинбергена называла такое поведение врожденным. Но Лерман всегда подчеркивал сложность процессов развития и задавался вопросом, не участвовала ли в том или ином поведении какая-то не столь очевидная форма научения. Лерману было недостаточно узнать, что животное с рождения вырастили в условиях депривации. Для него вопрос заключался в том, чего именно животное лишили, то есть что это была за депривация.

Со времен публикации статьи Лермана этологи выяснили, что многие певчие птицы, в том числе камышовки-барсучки, действительно *научаются* правильно исполнять песню своего вида, прислушиваясь к собственным попыткам петь, повторяя то, что выходит хорошо, и отбрасывая то, что выходит плохо. Так что на самом деле это все-таки похоже на воспитание. Но на это

Лоренц и Тинберген могли бы возразить: а откуда молодые самцы знают, что у них выходит хорошо, а что плохо? Уж эти-то “знания” (эталон правильного звучания песни своего вида) явно должны быть врожденными! Научение здесь сводится к тому, чтобы преобразовать песню, записанную в сенсорной системе головного мозга (врожденный эталон), в моторику (умение исполнять правильную песню).

Кстати, другие виды птиц, к примеру американская белоголовая зонотрихия, тоже учатся петь “методом проб и ошибок”, но все же не могут правильно освоить песню своего вида, если никогда ее не слышали. Молодая птица как будто записывает эту песню “на магнитофон”, а затем, когда учится петь, использует полученную запись в качестве эталона. Причем существуют и промежуточные варианты между такой “выученной” и “врожденной записью”.

Вот на это философское минное поле Нико Тинберген и выпустил меня в 1962 году. Мне кажется, он хотел откреститься от своей предполагаемой связи с Лоренцом и надеялся, что я помогу навести мосты между его группой и лагерем Лермана. Мои эксперименты были посвящены не тому, как поют певчие птицы, а тому, как клюют пищу цыплята. Таких экспериментов была целая серия, но я расскажу здесь только об одном.

Как только цыпленок появляется на свет из яйца, он сразу начинает клевать маленькие предметы, видимо, в поисках пищи. Но откуда цыплята знают, что́ им клевать? Откуда они знают, какая пища им подходит? Одна крайность могла бы состоять в том, чтобы еще до того, как цыплята получат какой-либо опыт, у них в мозгу имелось заложенное в него от природы эталонное изображение пшеничного зерна. Но этот вариант неправдоподобен, особенно учитывая, что цыплята всеядны. Есть ли у зерен пшеницы, ячменя и проса, а также личинок мучных хрущаков и других жуков что-то общее, что отличало бы их от скучных и несъедобных меток и пятен? Да, есть. Прежде всего, они объемны.

Как отличить объемный объект от плоского? Это можно сделать, например, по распределению теней. Посмотрите на изображения лунных кратеров внизу этой страницы. Это два изображения одной и той же фотографии, только одно из них развернуто на 180°. Думаю, на одном из них вы видите выпуклые холмы с плоской вершиной, а на другом – вогнутые кратеры, а если перевернете книгу, то холмы и кратеры поменяются местами. Эта иллюзия известна уже давно. Она связана с нашим предвзятым представлением о том, откуда должен падать свет, то есть, по сути, о положении солнца. Выпуклые объекты обычно

освещены со стороны солнца, которое чаще всего находится где-то сверху, и затенены с другой стороны. Поэтому выпуклый объект на перевернутой фотографии может показаться вогнутым, а вогнутый – выпуклым.

Солнце редко располагается *непосредственно* у нас над головой, но в целом свет обычно падает скорее сверху, чем снизу. Поэтому любой хищник, ищущий выпуклых жертв, может находить их, исходя из этого предположения о затенении. Что же касается жертв, участвующих вместе с хищником в эволюционной гонке вооружений, то естественный отбор вполне может поддерживать у них такую защитную окраску, которая скрывает эффект затенения. Многие виды рыб темнее сверху и светлее снизу, что отчасти нейтрализует освещение верха и затенение низа, так что рыба кажется более плоской, чем есть. Из этого правила есть исключения, которые действительно “только подтверждают правило”, например плавающие кверху брюхом сомики, у которых спинная сторона, напротив, светлее, а брюшная темнее.

Один из студентов Тинбергена, голландец Лен Де Рейтер, провел ряд изящных экспериментов, посвященных другому подобному исключению – окраске гусениц, в состоянии покоя обычно сидящих на растениях кверху брюхом. На верхней фотографии на следующей странице показана сидящая на веточке в обычном положении гусеница большой гарпии (*Cerura vinula*). Она малозаметна и кажется плоской. На нижней фотографии показано, как та же гусеница выглядела, когда Де Рейтер перевернул веточку на 180°. В таком положении мне намного легче ее заметить, но что особенно важно – ее намного легче было заметить и сойкам, которых Де Рейтер использовал в своих экспериментах в качестве модельных хищников.

Но все это ничего не говорит о том, врожденные или приобретенные знания имеются у людей и соек об обычном положении солнца – над головой. Мне казалось, что проверить это помогут эксперименты по изучению депривации, которые позволят разобраться в механизме возникновения соответствующей иллюзии у цыплят.

Для начала нужно было узнать, видят ли цыплята эту иллюзию. Судя по всему, они ее видели. Я сфотографировал неравномерно освещенную половинку шарика для пинг-понга, уменьшил изображение до размеров аппетитного зернышка или семечка и напечатал фотографии. Когда я смотрел на одну из этих фотографий, расположив ее так, чтобы освещенная сторона полушария располагалась сверху, изображение выглядело выпуклым, а когда переворачивал фотографию – вогнутым. Когда

цыплятам показывали две одинаковые фотографии, расположенные так, что на одной из них половинка шарика выглядела освещенной сверху, а на другой – снизу, они намного чаще пытались клевать ту, что казалась выпуклой, то есть первую. Этот результат заставлял предположить, что цыплятам свойственно то же, что и нам, “предвзятое” представление о расположении солнца над головой.

Все это хорошо, но, хотя эти цыплята и были маленькими, у них все-таки имелся некоторый опыт. В течение всех трех дней, прошедших со дня их вылупления, они питались при обычном свете, источник которого располагался сверху. Этого времени могло оказаться вполне достаточно, чтобы они научились распознавать выпуклые объекты, освещенные сверху.

Для проверки такого предположения я провел следующий, главный эксперимент. Я содержал цыплят при свете, источник которого располагался *снизу*, а затем регистрировал их поведение при таких же условиях, как и в предыдущем случае. До начала проверки они ни разу не сталкивались со светом, падающим сверху. Для них мир, в котором они выросли, был миром, где солнце светило снизу. Любой объемный объект, который им доводилось видеть, будь то пища или часть тела другого цыпленка, был освещен снизу и затенен сверху. Я ожидал, что, когда им предоставят на выбор две фотографии половинки шарика, на одной из которых она освещена сверху, а на другой – снизу, они будут чаще пытаться клевать второе изображение.

Но мне было приятно убедиться, что я ошибался. Цыплята и во втором случае намного чаще пытались клевать то изображение, на котором половинка шарика была освещена сверху. Насколько я мог судить, это означало, что естественный отбор, действовавший на предков этих цыплят, наделил их чем-то вроде предварительных сведений о том, что в мире, где им предстоит жить, солнце обычно будет светить сверху. Мой эксперимент позволил найти пример настоящих врожденных представлений, которые остаются прежними, даже если специально пытаться учить их обладателей противоположному.

Не могу припомнить ни единой группы людей, постоянно живущей в условиях освещения снизу. Если такие люди существуют, было бы интересно проверить их так же, как я проверил своих цыплят. Я думал о том, какой результат можно предугадать интуитивно, но решил честно признаться, что не знаю. Разве не интересно было бы, если бы оказалось, что и у нас, как и у цыплят, эта иллюзия врожденная? Результат эксперимента с цыплятами меня удивил, но теперь я удивился бы лишь ненамного сильнее, если бы оказалось, что людям свойственно то

же самое. Быть может, мы никогда этого не узнаем, но не исключено, что есть способы провести соответствующий эксперимент с совсем маленькими младенцами. Они не пытаются клевать, но задерживают взгляд на интересующих их предметах, а движения глаз поддаются регистрации. Может быть, специалист по возрастной психологии мог бы показывать младенцам что-то вроде моих фотографий половинки шарика и регистрировать, как долго они задерживают взгляд на каждом из двух изображений? И можно ли сделать так, чтобы в течение первых нескольких дней жизни младенец находился в помещении, освещенном снизу, или это сочтут неэтичным? Я не вижу в этом ничего неэтичного, но как знать, какое решение вынесла бы по такому поводу одна из нынешних “комиссий по этике”?

В итоге мое исследование о “природе или воспитании”[90] составило лишь малую часть моей докторской диссертации[91] и попало только в приложение к ней. У основной части диссертации с этой темой было мало общего, хотя она тоже касалась поведения клюющих цыплят и тоже имела отношение к одному интересному философскому вопросу, хотя и из другой области философии. Провести эту работу мне удалось благодаря усовершенствованному методу регистрации клевков.

На Бевингтон-роуд, а особенно на наших северных полевых стационарах при больших колониях чаек использовались услуги “рабов” – молодых волонтеров, которым хотелось на собственном опыте познакомиться с атмосферой группы Тинбергена еще до начала обучения в университете. В их числе были двое молодых людей из Германии, Фриц Фолльрат (по-прежнему мой близкий друг, впоследствии вернувшийся в Оксфорд, где он возглавил группу, весьма успешно занимавшуюся поведением пауков) и Ян Адам. Мы с Яном сразу нашли общий язык и стали работать вместе. Он превосходно умел мастерить что угодно (сочетая в себе столь разные способности, которыми обладали мой отец и майор Кэмпбелл), а в то время, к счастью, еще не появилось такого множества правил техники безопасности, призванных защитить нас от самих себя и лишить инициативы. Мы с Яном могли свободно пользоваться оборудованием, имевшимся в мастерских нашего отделения: токарными и фрезерными станками, ленточными пилами, да и всем остальным. Мы (то есть Ян, при котором я охотно играл роль подмастерья, вероятно, вновь проявляя синдром младшего брата) построили прибор, позволявший считать клевки цыплят автоматически, с помощью сделанных Яном из подручных материалов небольших клавиш, закрепленных на тонких шарнирах и подсоединенных к чувствительным микропереключателям. В ходе моей предыдущей

работы, посвященной иллюзии объема, я вынужден был регистрировать клевки вручную, теперь же у меня внезапно появилась возможность автоматически собирать данные в огромном количестве. А это открывало дорогу исследованиям совсем другого рода, вдохновляемым другим направлением философии – философией науки Карла Поппера, которой я научился у Питера Медавара.

Как уже было сказано выше, я давно знал Медавара – через своего отца, который был его школьным другом. Когда я еще был студентом колледжа, Медавара как одного из самых ярких интеллектуалов среди британских биологов той поры пригласили прочитать лекцию на нашем отделении, где он в свое время учился. Я помню, какой стоял взволнованный шум в забитой до отказа аудитории в ожидании появления этого высокого, красивого и исключительно учтивого человека (“Данного лектора никогда в жизни не называли неучтивым”, – сказал о нем впоследствии один критик). После лекции я решил почитать его эссе, многие из которых были впоследствии перепечатаны в сборниках “Искусство решаемого” и “Республика Плутона”[92]; именно оттуда я узнал о Карле Поппере.

Меня заинтересовало попперовское представление о науке как о двухступенчатом процессе: вначале – творческое (почти как в искусстве) придумывание гипотезы или модели, а затем – попытки *фальсифицировать* (проверять на ложность) выводимые из нее прогнозы. Мне хотелось провести классическое попперовское исследование: придумать гипотезу, которая может быть верной, а может и неверной, вывести из нее точные математические прогнозы, а затем попытаться проверить эти прогнозы на ложность в лаборатории. Для меня было важно, чтобы мои прогнозы оказались математически точны. Меня не устроило бы, если бы из моей модели вытекало, что X больше Y. Мне хотелось создать такую модель, которая позволяла бы прогнозировать точное значение X. А для таких точных прогнозов требовались немалые объемы данных. Изготовленное Яном устройство для подсчета большого числа клевков дало мне возможность получать данные в нужном объеме. В моих новых экспериментах цыплята клевали не фотографии половинки шарика для пинг-понга, а маленькие цветные полушария, закрепленные на подсоединенных к микропереключателям шарнирных окошках. Цыплята предпочитали синие полушария зеленым, но меня интересовало не это. Мне хотелось узнать, чем определяется каждое решение совершить клевок, какого бы цвета ни было полушарие, которое клевал цыпленок. А это, конечно, лишь частный случай общего вопроса о том, каким образом

любое животное принимает решения.

В другой своей работе Медавар доказывал, что на самом деле ход научных исследований не так последователен и упорядочен, как его излагают в публикациях. В жизни все намного запутаннее. В случае моих собственных исследований все было так запутано, что я уже и не помню, откуда мне пришла в голову идея моих “попперианских” экспериментов. Я помню только окончательное изложение, судя по которому – в полном соответствии с тем, что писал Медавар, – моя работа выглядит неправдоподобно упорядоченной.

В окончательном изложении это выглядело так. Я придумал воображаемую модель того, что может происходить в голове цыпленка, когда он делает выбор между альтернативными мишенями, потом совершил некоторые алгебраические выкладки, чтобы вывести из этой модели точные, количественные прогнозы, а затем проверил их в лаборатории. Это была модель “пороговых значений побуждения”. Я постулировал, что у цыпленка в голове есть переменная (“побуждение” совершить клевок), значение которой непрерывно колеблется, то возрастая, то снижаясь, отражая изменения силы побуждения (возможно, случайные: это было не важно). Всякий раз, когда побуждение превышало пороговую величину, соответствующую тому или иному цвету, цыпленок мог клюнуть мишень данного цвета (другой вопрос – *в какой момент* цыпленок совершит клевок, но для этого параметра я придумал другую модель, о которой речь пойдет ниже). Цыплята предпочитали синие мишени, а значит, порог для синего был ниже, чем для зеленого. Но тогда, если побуждение окажется выше порога для зеленого, оно неизбежно будет выше и порога для синего. Что же в таком случае сделает цыпленок? Я предположил, что, поскольку побуждение превысит оба порога, цыпленку станет безразлично, какую мишень выбрать, и он будет выбирать синюю или зеленую мишень, “бросая монетку”. Таким образом, из моей модели следовал прогноз, что, если регистрировать поведение цыпленка в течение долгого времени, мы будем наблюдать периоды, когда он клюет мишени только предпочитаемого цвета, а в промежутках – периоды, когда он случайным образом выбирает, какого цвета мишень клевать. Периодов, когда цыпленок достоверно чаще выбирает тот цвет, который он в целом не предпочитает, наблюдаться не должно.

Поначалу я не обращал внимания на последовательность клевков как таковую. Этим я занялся уже позже, когда переехал в Калифорнию. Если не ошибаюсь, причина была весьма прозаична: устройство, сконструированное Яном, позволяло считать клевки, но не позволяло точно записывать тот порядок, в котором

цыпленок их совершал, а сам Ян к тому времени вернулся в Германию и не мог помочь мне с усовершенствованием установки. Кроме того, я, кажется, был слишком увлечен красотой попперианской идеи вывести математическую формулу, которая позволяла бы прогнозировать значения одного регистрируемого показателя, исходя из значений других регистрируемых показателей.

Как выяснилось, цыплята предпочитали синие мишени не только зеленым, но и красным, а красные предпочитали только зеленым. Я придумал эксперимент, в котором предоставил им возможность выбирать между синим и зеленым, синим и красным, а также красным и зеленым, и в каждом случае регистрировал долю клевков по мишени предпочитаемого цвета P. В результате у меня получалось три числа ($P_{\text{лучший/худший}}$, $P_{\text{лучший/средний}}$, $P_{\text{средний/худший}}$). Логично предположить, что $P_{\text{лучший/худший}}$ будет больше, чем два других параметра. Но позволяет ли моя модель прогнозировать, насколько больше? Можно ли вывести из этой модели формулу, на основании которой станет возможным рассчитать точное значение $P_{\text{лучший/худший}}$, исходя из значений $P_{\text{лучший/средний}}$ и $P_{\text{средний/худший}}$? Оказалось, что можно, и мне удалось это сделать. Я ввел символы, обозначающие время, в течение которого величина побуждения находится между разными пороговыми значениями, провел некоторые алгебраические преобразования школьного уровня (операции с системами уравнений, которым меня учил Эрни Дау), чтобы исключить неизвестные переменные, и был очень рад, когда после нескольких страниц выкладок у меня получилась формула, позволяющая делать простой, точный количественный прогноз. В соответствии с моделью пороговых значений побуждения

$$P_{\text{лучший/худший}} = 2\,(P_{\text{лучший/средний}} + P_{\text{средний/худший}} - P_{\text{лучший/средний}} \times P_{\text{средний/худший}}) - 1.$$

Я назвал эту формулу “прогноз 1”. Меня привлекало в ней то, что она позволяла прогнозировать точные значения количественного параметра.

Теперь мне предстояло проверить этот прогноз. Станут ли цыплята вести себя в соответствии с ним? Да, к моей несказанной радости, в семи из восьми повторностей эксперимента они вели себя почти в точности так, как предписывал прогноз. Результаты восьмого эксперимента были настолько не похожи на результаты остальных семи, что, когда одна из моих статей была опубликована в журнале “Поведение животных”[93], в издательстве, к моей крайней досаде, соответствующую точку на графике удалили, приняв ее за изъян печатной формы! К счастью,

из таблицы соответствующая цифра никуда не делась, иначе меня могли бы обвинить в преднамеренном искажении данных. После этого я провел еще одну серию экспериментов, в которых цыплята не клевали мишени, а заходили в камеры, освещенные светом разных цветов. На приведенном здесь графике представлены результаты обеих серий экспериментов и прогнозируемые значения процента предпочтений “лучшего” цвета “худшему”.

Если бы прогноз был идеальным, все точки лежали бы ровно на диагональной линии. За исключением восьмого эксперимента, о котором уже было сказано, прогнозы модели пороговых значений побуждения оказались намного лучше, чем можно было надеяться получить в экспериментах, посвященных поведению животных (в физических экспериментах точность обычно выше, потому что меньше статистическая ошибка измерений).

Кроме того, я использовал те же данные, чтобы проверить прогнозы, сделанные на основе альтернативной, более простой модели, исходившей из того, что каждый цвет имеет для цыпленка определенную “ценность” и вероятность выбора того или иного цвета пропорциональна его ценности. Прогнозы обеих моделей были похожи, так что если одна из них была верна, другая неизбежно должна была быть почти верна. Но модель пороговых значений побуждения неизменно позволяла прогнозировать наблюдаемые результаты точнее. Модель “ценности цветов” постоянно давала заниженные оценки показателя $P_{\text{лучший/худший}}$, а значит, не выдерживала проверку на ложность, которую модель пороговых значений побуждения, напротив, с блеском выдержала, давая необычайно точные прогнозы (за исключением одного эксперимента).

Означает ли хороший результат проверки моей модели, что в голове цыпленка действительно есть что-то вроде колеблющейся величины “побуждения”, время от времени превышающей определенные пороговые значения, и происходит ли при превышении двух или трех значений что-то вроде подбрасывания монетки, определяющего выбор цвета цыпленком? Поппер сказал бы, что модель выдержала серьезную попытку ее опровергнуть, однако это ничего не говорит о том, соответствуют ли постулируемые моделью “побуждение” и “пороги” тому, что на самом деле происходит в нейронах и синапсах. Но, по меньшей мере, интересно то, что мы можем делать некоторые выводы о происходящем в голове, даже не заглядывая в нее.

Этот метод, включающий в себя придумывание модели и проверку ее прогнозов, оказался исключительно продуктивным во многих отраслях науки. Так, в генетике вывод о существовании хромосом как линейных последовательностей генов, содержащих

закодированную информацию, можно сделать и безо всякого микроскопа, только на основании результатов экспериментов по скрещиванию. Свою модель пороговых значений побуждения, а также результаты своих исследований восприятия цыплятами затенения как показателя объема я рассматриваю в качестве примеров того, какого рода процессы могут происходить в голове цыпленка, а не как окончательные выводы о том, что на самом деле в ней происходит.

Я совершенствовал свою модель в разных направлениях (в полном соответствии с предписаниями поппериансκой философии) и проверил в общей сложности девять прогнозов, оказавшихся довольно точными. Одно из таких усовершенствований, уже упоминавшееся выше, было попыткой объяснить, в какой момент цыпленок совершает клевок (отражая текущий уровень побуждения относительно пороговых значений). Прогнозы этой усовершенствованной модели хорошо выдержали проверку данными о птенцах озерной чайки, полученными моей коллегой и близким другом доктором Моникой Импековен, приезжавшей из Швейцарии, чтобы поработать на Бевингтон-роуд. Результаты этого исследования мы с ней опубликовали в совместной статье[94].

Другой усовершенствованный вариант моей модели, который я назвал в соответствующей публикации моделью пороговых значений внимания[95], был попыткой глубже разобраться в “бросании монетки”, предполагаемом исходной моделью пороговых значений побуждения, то есть в случайном выборе мишени при превышении побуждением двух или трех порогов. Суть модели пороговых значений внимания состояла в следующем. Я предположил, что в каждый момент времени цыпленок концентрирует внимание только на одном аспекте мишени (цвете, форме, размерах, текстуре и т. д.), причем в определенном порядке, и каждая из соответствующих систем концентрации внимания подчиняется своей собственной разновидности модели пороговых значений побуждения. Вначале цыпленок концентрирует внимание на первом аспекте – скажем, цвете. Если значение побуждения цветовой системы превышает только один порог, цыпленок выбирает предпочитаемый цвет (например, синий). Но если цветовая система требует “бросать монетку”, то цыпленок переключает внимание на что-то еще, например форму, а цвет игнорирует. С точки зрения системы цвета выбор, совершаемый на основе формы, равнозначен случайному. Но с точки зрения системы формы он, разумеется, неслучаен. Этот процесс перехода на следующие уровни внимания может продолжаться вплоть до последней системы.

Если ни одна из них не предписывает однозначного выбора, то цыпленок “подбрасывает монетку”, просто выбирая ближайшую мишень. Модель пороговых значений внимания позволила мне сделать еще несколько прогнозов (всего девять), и все они успешно выдержали экспериментальную проверку.

Как и в случае с восприятием объема, здесь возникает вопрос, приложима ли модель пороговых значений побуждения в том или ином виде к людям. Я занялся поисками литературы по этой теме и обнаружил, что несколько психологов проводили похожие эксперименты с выбором одной из двух возможностей у людей. Они руководствовались иными соображениями, нежели я, но это не помешало мне воспользоваться опубликованными результатами их исследований. У психологов есть множество причин экспериментально изучать выбор из разных возможностей, который делают люди. Рассмотрим, к примеру, теорию голосования избирателей. Специалист по опросам общественного мнения может поставить задачу исследовать не выбор среди трех партий, скажем консерваторов, либералов и социалистов, из которых нужно отдать предпочтение одной или расставить все три в порядке убывания предпочтительности, а выбор одной из каждых двух. Тогда в ходе опроса исследователю нужно узнавать у людей, как бы они проголосовали, если бы выбирать нужно было между консерваторами и либералами, либералами и социалистами и, наконец, между консерваторами и социалистами. Во всяком случае, по тем или иным причинам психологи действительно изучали, какой выбор делают испытуемые из двух возможностей во множестве разнообразных случаев. Это позволило мне подставить полученные ими данные о частоте выбора между “лучшим” и “средним” и между “средним” и “худшим” в свою формулу и проверить прогноз моей модели о частоте выбора между “лучшим” и “худшим”. Исследования, результаты которых я использовал, были посвящены самым разным вопросам: как американские студенты выбирают между образцами почерка, как американские студенты выбирают овощи, как американские студенты выбирают между разными горькими и сладкими вкусами и как китайские студенты выбирают цвета. Особенно приятно мне было воспользоваться результатами масштабного исследования, посвященного тому, каких композиторов предпочитают музыканты Бостонского симфонического оркестра, Филадельфийского оркестра, Миннеаполисского симфонического оркестра и Нью-Йоркского филармонического оркестра. На следующей странице приведен график, на котором объединены результаты, полученные в разных подобных исследованиях. Как и в предыдущем случае, если бы

прогнозы модели пороговых значений побуждения были идеальны, точки лежали бы ровно на диагональной линии. Должен признаться, что я был очень воодушевлен, когда увидел, как точно прогнозы моей модели соответствуют реальным данным. В этологии почти не бывает, чтобы прогнозы выполнялись с такой точностью!

Исследование оркестров было масштабным, и обработка его результатов оказалась непростым делом. Я обсудил эту проблему со своим дядей Кольером, работавшим в то время в Оксфорде на отделении лесного хозяйства, где он читал лекции и давал консультации по статистическим методам. Он предложил мне научиться программировать на университетском компьютере. Дядя Кольер и его жена Барбара ввели меня в курс дела и помогли написать программу для обработки данных о композиторах, которых предпочитали музыканты. Так начался мой сорокалетний роман с программированием, который отнял у меня немало времени и душевных сил, но теперь, к счастью, закончился. Я по-прежнему активно пользуюсь компьютерами, но программированием больше не занимаюсь, предоставляя это профессионалам.

В те времена, в середине шестидесятых, в Оксфордском университете был только один компьютер – новый KDF9 компании “Инглиш Электрик”, менее мощный, чем современный айпэд, но по тому времени представлявший собой последнее слово компьютерной техники. Занимал он целую комнату, причем большую. Любимым языком программирования моих дяди и тети был *K-Autocode* – британский аналог Фортрана, сходный с ним по структуре и грамматике и тоже поощрявший программистов к некоторым плохим приемам (таким, как переходы в абсолютных адресах). В американских компьютерах в то время использовались большие стопки перфокарт (для которых существовала опасность, что их уронят и они перемешаются, после чего восстановить их исходный порядок будет не так-то просто), а в британских – бумажная перфолента (выплевываемая компьютером на пол целыми порциями, похожими на спагетти, которые нужно было скатывать в рулоны, стараясь не порвать). К счастью, все это уже в прошлом, и современные компьютеры могут отвечать нам посредством дисплея или динамиков, а не с помощью гор бумаги, и сразу, а не с суточной задержкой.

Но в те времена ничего лучше у нас все равно не было, и я был просто очарован. Меня приводила в восторг сама возможность заранее выработать последовательность операций, затем кропотливо проверить ее шаг за шагом с карандашом, а потом ввести в компьютер, на котором ее можно прогонять

тысячи и тысячи раз на очень большой скорости. Мне однажды приснился жуткий кошмар – что я компьютер, выполняющий мою собственную программу. Мне казалось, что я ночь напролет прогонял в своем воспаленном мозгу цикл за циклом этой программы. Справедливости ради нужно признать, что условия для сна в ту ночь были далеко не самые подходящие. Мой друг Роберт Маш убедил меня и еще нескольких человек с Бевингтон-роуд посвятить те выходные охоте на “суррейскую пуму”.

С 1959 года стали появляться сообщения о загадочном крупном хищнике, якобы живущем в лесах графства Суррей на юге Англии. Этот зверь, прозванный суррейской пумой, стал местной легендой вроде снежного человека, и в мае 1966 года наша команда потратила целый уик-энд, пытаясь его найти. Об этом прослышали журналисты, и, поскольку уже приближался летний “мертвый сезон” политических новостей, в газете “Обсервер” была даже напечатана моя фотография в пробковом шлеме британского колонизатора, наподобие тех, что я носил в детстве. Не помню, где поставили палатки мои спутники, но помню, что моя задача состояла в том, чтобы провести ночь в спальном мешке под открытым небом в окружении больших кусков сырого мяса. Мне выдали фотоаппарат со вспышкой и велели сфотографировать пуму, если она придет за мясом – или за мной, насколько я понимаю. Спал я, мягко говоря, не очень спокойно, так что, наверное, не удивительно, что именно в ту ночь мне и приснился мой компьютерный кошмар. Рассвет мы с моими спутниками встретили с большим облегчением. Это был задумчивый туманный рассвет (как видно на фотографии, воспроизведенной на цветной вклейке). Суррейскую пуму мы так и не нашли, и, пожалуй, примечательно, что сообщения о встречах с ней продолжали поступать вплоть до 2005 года, заставляя предположить, что этот зверь должен был прожить более чем вдвое дольше, чем максимальная продолжительность жизни, отмеченная у данного вида даже в неволе.

В своей компьютерной работе я перешел с KDF9 на другую машину, меньшего размера, но более доступную. На отделении зоологии в то время появился энергичный новый профессор (так в Оксфорде в то время было принято называть заведующего отделением), сменивший добродушного сэра Алистера Харди, казавшегося немного сумасшедшим. Нашим новым начальником стал пришедший из Кембриджа суровый Джон Прингл по прозвищу Смешливый Джон (ироническому, как прозвище Возвышенный, которое дают человеку очень маленького роста), и с его приходом отделение погрузилось в водоворот модернизации. Перемены следовали одна за другой, и вскоре на

старом добром отделении старого доброго Алистера Харди наступил совсем новый прингловский “орднунг”, намного лучше прежнего. Одной из самых отрадных перемен было прибытие из Лондона такой же энергичной группы специалистов по рентгеноструктурному анализу (подобных Уотсону и Крику, только занимавшихся молекулами белков, а не ДНК). Особенно отрадно для меня было то, что они привезли с собой свой собственный компьютер, на котором его дружелюбный куратор, доктор Тони Норт, разрешил мне работать по ночам, когда тот не использовался для обсчета данных о рассеянии пропускаемых сквозь кристаллы рентгеновских лучей. Модель этого компьютера была “Эллиотт 803”, и по нынешним меркам он был еще примитивнее, чем KDF9, но у него имелось то огромное преимущество, что я мог регулярно на нем работать.

Именно в то время я по-настоящему узнал, какая зависимость может вырабатываться от компьютера. Я в буквальном смысле (и нередко) проводил ночи напролет в теплой, мерцающей компьютерной комнате, опутанный грудами перфоленты, на которые, должно быть, были похожи и мои взъерошенные за бессонную ночь волосы. “Эллиотт” отличался одной замечательной особенностью: обработка данных у него сопровождалась звуковым сигналом. К ходу вычислений, которые он выполнял по моей программе, можно было прислушиваться через небольшой динамик, насвистывавший и нашептывавший свою ночную серенаду, наверняка понятную такому профессионалу, как доктор Норт, но мне лишь скрашивавшую одиночество. Многие люди, чей роман с компьютерами продлился дольше, чем мой (и принес больше пользы), в юности тоже проводили целые ночи за компьютером. Одним из них был Билл Гейтс (в наши дни таких называют гиками). Теперь-то я не думаю, что мой роман с “Эллиоттом” был продуктивным. Конечно, я успешно попрактиковался в искусстве программирования, но язык *Elliott Autocode* нельзя было использовать ни на каких других компьютерах. Хотя я усердно и самоотверженно трудился во время своих ночных бдений, мои занятия имели такое же отношение к серьезному программированию, какое мое наигрывание на разных инструментах в Аундле имело к настоящей музыке.

В 1965 году я выступил на Международной этологической конференции в Цюрихе с докладом, посвященным моей модели пороговых значений побуждения. Для этого доклада я изготовил устройство, позволявшее наглядно демонстрировать суть моей теории. Резиновая трубка, заполненная ртутью, уровень которой я произвольно регулировал, изображая колебания “побуждения”,

была подсоединена к вертикальной стеклянной трубке с подведенными на разной высоте тремя электродами, соответствовавшими “порогам”. Ртуть хорошо проводит электричество, поэтому, когда колеблющийся ртутный столбик доходил до любого из электродов, замыкалась соответствующая цепь. При этом ртуть, разумеется, соприкасалась и со всеми электродами, расположенными ниже, что соответствовало главному положению моей модели. Поведение цыплят я изображал посредством шумной системы лязгающих электромеханических реле, включавших и выключавших цветные лампочки, что символизировало клевки по мишеням разных цветов. Вся эта конструкция в духе Хита Робинсона (или его американского аналога – Руба Голдберга)[96] была призвана сорвать аплодисменты аудитории точно так же, как их, судя по рассказам очевидцев, сорвала смехотворная гидравлическая система, изготовленная с похожей целью Десмондом Моррисом, Обри Мэннингом и их друзьями и представленная на одной из предыдущих этологических конференций в Оксфорде. Не помню и ума не приложу, как мне удалось провезти всю конструкцию из Оксфорда в Цюрих. Служба безопасности современного аэропорта ни при каких обстоятельствах не пропустила бы ничего подобного этому сооружению, набитому непрофессионально спаянными проводами, реле, батарейками и ртутью.

К сожалению, как раз в тот момент, когда я собирался выйти на сцену и впервые в жизни выступить на конференции, что-то пошло не так и мое хитроумное приспособление отказалось работать. Обливаясь холодным потом, я стоял на коленях у входа в зал и в панике пытался исправить неполадку, как вдруг услышал чей-то голос с австрийским акцентом. Стоявший у меня за спиной человек, которого это явно забавляло, не допускающим возражений тоном, слегка запинаясь, но в быстром темпе приказывал мне, что делать. Как во сне, я подчинился его приказаниям – и все заработало. Я повернулся, чтобы посмотреть на своего спасителя, и увидел восходящую звезду европейской континентальной этологии Вольфганга Шлейдта, с которым раньше не встречался, но знал, как он выглядит. Не имея заранее никакого понятия о назначении моей адской машины, он наткнулся на меня в состоянии паники, сразу понял, в чем проблема, и продиктовал мне решение, за что я по гроб жизни ему благодарен. Впоследствии я узнал, что доктор Шлейдт, как и следовало ожидать, был известен своей изобретательностью в области техники. Я вынес свое странное устройство на сцену и в конце выступления продемонстрировал его в работе. Его шумные цветные огни и откровенно любительский дизайн в духе Хита

Робинсона были встречены чуть ли не овацией. Спасибо Вольфгангу Шлейдту, причем не только за то, что он спас меня от глупого положения, в которое я чуть не попал. Среди слушателей в зале сидел представительный Джордж Барлоу, который, в свою очередь, был восходящей звездой американской этологии, и мой доклад произвел на него настолько сильное впечатление, что он без собеседования и подачи резюме пригласил меня в Калифорнийский университет в Беркли на должность старшего преподавателя, ставшую моей первой полноценной работой.

Но это было потом. А пока я вернулся в Оксфорд, где Нико Тинберген собирался взять в 1966 году творческий отпуск и предложил мне в тот год прочитать вместо него курс лекций о поведении животных для студентов колледжей. Он предоставил мне возможность воспользоваться его конспектами, но я решил вместо этого сам разработать свой курс с чистого листа. Поскольку это был первый курс лекций, который мне довелось прочитать, я довольно подробно записал все, что собирался рассказывать. Я думал, что давно потерял свои записи, но во время работы над этой книгой, к своему удивлению, обнаружил их в картонной коробке в подвале моего дома. Мне было весьма интересно почитать их 46 лет спустя – особенно лекцию о социальном поведении, которая не только содержит главную мысль “Эгоистичного гена”, но и написана явно в похожем стиле, хотя и на целых десять лет раньше.

В 1964 году в “Журнале теоретической биологии” (*Journal of Theoretical Biology*) вышли две длинные статьи, содержавшие довольно сложные математические выкладки. Их автором был молодой магистрант Лондонского университета Уильям Дональд Гамильтон, которого никто из нас тогда не знал, хотя впоследствии мы близко познакомились. Майк Каллен с характерной для него проницательностью понял важность статей Гамильтона раньше всех остальных (за исключением Джона Мейнарда Смита) и как-то вечером подробно рассказал о них нашей группе на Бевингтон-роуд. Энтузиазм Майка был заразителен, и я тоже сразу загорелся идеями Гамильтона, причем настолько, что решил изложить их студентам на лекциях о поведении животных, которые я в то время читал, заменяя Нико.

Теория Гамильтона, которую теперь часто называют теорией родственного отбора (хотя этот термин ввел Мейнард Смит, а не сам Гамильтон), напрямую вытекает из положений неодарвинизма – так называемого современного эволюционного синтеза. Напрямую в том смысле, что это не дополнение, которое присовокупили к неодарвинизму, а необходимая его

составляющая. Родственный отбор неотделим от неодарвинизма, как теорема Пифагора неотделима от евклидовой геометрии, а биолог, пытающийся “проверить” эту теорию в полевых условиях, подобен математику, проверяющему теорему Пифагора на конкретных треугольниках с помощью линейки.

Центральным понятием неодарвинизма, в отличие от той версии теории Дарвина, которую сформулировал он сам, служит понятие о гене как единице естественного отбора. Гены представляют собой дискретные сущности, число которых в популяции можно *сосчитать*, в той или иной степени пренебрегая тем, что на самом деле они находятся в клетках каждого организма. Каждый ген обладает в генофонде популяции своей *частотой,* оцениваемой как доля плодовитых особей, у которых имеется данный ген. Успешными генами называют те, частота которых повышается за счет снижения частот неуспешных альтернативных вариантов. Частота генов, заставляющих животное хорошо заботиться о своем потомстве, нередко повышается, потому что у потомства, о котором заботятся, оказываются те же гены. Гамильтон понял (как поняли до него Фишер и Холдейн, но они не особенно развили эту мысль), что потомство – не единственная категория родственников, у которых имеются те же гены и которые, таким образом, могут получать выгоду от вырабатываемых эволюцией механизмов заботы.

Гамильтон вывел простое правило (теперь называемое правилом Гамильтона): любой ген, “заставляющий” организм вести себя альтруистично по отношению к своим родственникам, будет иметь тенденцию распространяться в популяции, если для носителя данного гена цена альтруистичного поведения C меньше, чем произведение выгоды B для этих родственников и степени родства r, где r – пропорция (число больше 0, но меньше 1), рассчитываемая по приведенным Гамильтоном формулам (смысл этой величины без формул объяснить сложно, хотя и возможно)[97]. Степень родства между родными братьями (братом) и сестрами (сестрой) равна 0,5, между дядей или тетей и племянником или племянницей – 0,25, а между двоюродными братьями (братом) и сестрами (сестрой) – 0,125. Гамильтон особенно интересовался общественными насекомыми и с помощью своей теории родственного отбора блистательно объяснил эволюционное происхождение исключительного социального альтруизма, свойственного муравьям, пчелам, осам и (в несколько иных формах) термитам.

Гнездо муравьев представляет собой настоящую подземную фабрику по производству генов. Штампуемые на этой фабрике гены распространяются в упаковках из крылатых тел молодых

самок и самцов. Эти летающие муравьи (в которых из-за крыльев не так-то просто опознать муравьев) выбираются из-под земли и летят спариваться. В ходе этого брачного лёта каждая самка (будущая царица) на всю свою долгую жизнь запасается сперматозоидами, которые будут храниться у нее в организме и понемногу расходоваться для оплодотворения яйцеклеток. Нагрузившись сперматозоидами, спарившаяся самка летит на поиски подходящего места, где зарывается в землю и основывает новое гнездо. Самки некоторых видов после этого откусывают или отламывают свои крылья, больше не нужные им в подземном царстве.

Потомство такой самки будет по большей части состоять из бесплодных рабочих особей, но кроме них она также произведет на свет новых крылатых самок и самцов, которые продолжат дело производства и распространения генов. Рабочие особи (у муравьев, пчел и ос это всегда самки, у термитов – и самки, и самцы) обычно не имеют шансов напрямую передать свои гены потомству и делают это опосредованно, заботясь о своих плодовитых родственниках – молодых самках и самцах, которые могут приходиться им, например, братьями и сестрами или племянниками и племянницами. Ген, заставляющий бесплодную рабочую особь заботиться о своей сестре, которой суждено стать царицей, через эту царицу и ее плодовитых потомков попадет в генофонды будущих поколений. При этом у самой царицы такой ген может никак не проявляться, но будет заставлять ее дочерей-рабочих кормить и оберегать молодых самцов и самок, способных передать его дальше.

Общественные насекомые – лишь отдельный случай работы правила Гамильтона, которое применимо не только к ним, но и к любым другим животным и растениям, независимо от того, заботятся ли они о своих родственниках. Если какой-либо организм о своих родственниках не заботится, это связано с тем, что определяемое правилом Гамильтона соотношение выгод и затрат (показателей B и C) не благоприятствует такой заботе, даже для высоких значений коэффициента родства r. Существенно, что, если организм заботится о своем потомстве или старшие братья и сестры заботятся о младших, это всегда происходит потому, что у того, кто заботится, и у тех, о ком заботятся, имеются общие гены, обеспечивающие такую заботу. К сожалению, даже профессиональные биологи часто этого не понимают.

Как я уже сказал, когда Майк Каллен познакомил меня с блестящими идеями Гамильтона, я загорелся энтузиазмом, и мне очень захотелось по-своему изложить их на лекциях, которые мне

предстояло читать, заменяя Нико Тинбергена. Я испытывал некоторую неловкость по поводу того, что собираюсь так далеко отойти от того, что рассказывал на своих лекциях Нико, и ввести в курс свои собственные рассуждения об “эгоистичных генах”, населяющих ряд смертных тел и безжалостно отбрасывающих их одно за другим на своем пути в будущее. Я обратился за моральной поддержкой к Майку, показав ему напечатанный на машинке текст своей лекции. Теперь, когда я смотрю на этот конспект (частично воспроизведенный на следующей странице) и вижу его *заметки на полях*, я вспоминаю, как они меня тогда воодушевили. Его слова “просто восхитительно” убедили меня в том, что мне действительно стоит изложить эту тему на лекциях, причем именно в таком стиле. Наверное, можно считать, что как раз тогда у меня и зародился замысел “Эгоистичного гена”, который мне предстояло вынашивать еще десять лет. В моем конспекте даже была фраза “гены должны быть эгоистичными”. Я еще вернусь к этому в рассказе о своей работе над той книгой.

Летом 1967 года я женился на Мэриан Стэмп, аспирантке Нико, впоследствии сменившей его непосредственного преемника в должности профессора этологии и ставшей ведущей специалисткой по экспериментальной науке о поведении животных. Нас обвенчали в крошечной протестантской церкви в деревне Анстаун на южном побережье Ирландии, где у родителей Мэриан был загородный дом. К тому времени я уже окончательно решил принять предложенную мне должность старшего преподавателя в Калифорнийском университете в Беркли. Нико не сомневался, что Мэриан сможет успешно продолжить там свою работу над диссертацией, для “удаленного” руководства которой от него потребуется минимум усилий, и был, как оказалось, совершенно прав. Свой непродолжительный медовый месяц мы с Мэриан провели в Ирландии, по которой ездили на взятой напрокат машине. Вести ее пришлось Мэриан, потому что я забыл водительские права. Сотрудник фирмы, сдававшей автомобили напрокат, был почему-то недоволен, узнав, что Мэриан аспирантка (должно быть, аспиранты были у него на плохом счету), но машину нам все-таки выдал. После медового месяца мы почти сразу отправились в Сан-Франциско, где нас встретил в аэропорту как всегда любезный Джордж Барлоу. Началась наша новая жизнь в Новом Свете.

Время мечты на Западном берегу

В Беркли в конце шестидесятых кипели политические страсти, и политическая активность Телеграф-авеню и района Хейт-Эшбери, расположенного на другом берегу залива, в Сан-Франциско, играла исключительно важную роль в нашей жизни в течение тех двух лет, что мы провели в Калифорнии. Президент Джонсон, которого могли бы запомнить как выдающегося реформатора, увяз в катастрофической войне во Вьетнаме, доставшейся ему в наследство от Кеннеди. В Беркли чуть ли не все были противниками войны, и мы тоже вступили в их ряды и принимали участие в антивоенных маршах в Сан-Франциско, шествиях в Беркли, которые разгонялись слезоточивым газом, митингах, акциях протеста во время университетских занятий и сидячих демонстрациях.

Я горжусь своим участием в протестах против американского вмешательства в войну во Вьетнаме, горжусь активной работой на избирательную кампанию сенатора Юджина Маккарти, боровшегося за выдвижение в президенты под антивоенными лозунгами, но не так горжусь некоторыми другими политическими движениями, в которые я оказался вовлечен. Самым запоминающимся из них была сюрреалистическая история с “Народным парком” (который Дэвид Лодж в своем романе “Академический обмен” вывел под названием “Народный сад”). Борьба за Народный парк была попыткой (в конечном итоге увенчавшейся успехом, как я узнал недавно, приехав в Беркли на съемки документального фильма) сделать рекреационную зону из пустыря, принадлежавшего университету и планировавшегося под застройку. Теперь я понимаю, что это был только надуманный предлог для радикального политического активизма как самоцели, раздутый лидерами студентов-анархистов, цинично манипулировавшими незлобивыми хиппи, сторонниками “власти цветов”. Эти лидеры-радикалы и печально известный губернатор Рональд Рейган (“Рональд Дак” в романе Лоджа) охотно подыгрывали друг другу, нарочно раздувая конфликт, чтобы упрочить себе поддержку среди собственных сторонников, и, по-видимому, не питали насчет своей деятельности никаких иллюзий. Я же, как и большинство молодых сотрудников университета, поддавался на их провокации и делал именно то, чего от нас добивались. Мы участвовали в митингах и сидячих демонстрациях, убегали от слезоточивого газа, писали возмущенные письма в газеты (именно по этому поводу я написал свое первое письмо в “Таймс”) и бурно радовались, когда хиппи

засовывали цветы в дула винтовок, которыми были вооружены довольно испуганные и не знавшие, что делать, молодые бойцы Национальной гвардии. Должен честно признаться, что слезоточивый газ и опасность (хотя и очень небольшая) вызывали у меня приподнятое чувство восторга, которого я теперь несколько стыжусь.

Постараюсь как можно честнее разобраться в том, что я чувствовал во время пребывания в Беркли, когда мне еще не было и тридцати. Думаю, важную роль здесь играл юношеский восторг перед самой идеей бунта, тот восторг, о котором писал Вордсворт: “Жизнь средь такой зари уже блаженство, / Но молодость – сам рай!”[98]

Одного студента, которого звали Джеймс Ректор, застрелил полицейский из Окленда. Участвовать в марше протеста по этому поводу было правильно, и теперь я думаю, что именно это прежде всего и оправдывало в наших глазах решение участвовать в марше в защиту Народного парка. Но на самом деле, разумеется, не оправдывало, по крайней мере, само по себе. Это решение должно было обосновываться совсем другими, независимыми соображениями.

Мы, молодые сотрудники университета, организовывали собрания, на которых давили на коллег, заставляя их отменять свои лекции в знак солидарности с активистами. Это была форменная травля, совсем такая же, как та, которую мне не так давно довелось наблюдать в интернете, где иные радикальные активисты достаточно влиятельны, чтобы играть роль “полиции мыслей”, и такая же, как та, что я видел в школе на спортивных площадках, где у зачинщиков травли неизменно находились добровольные пособники. Мне особенно стыдно вспоминать собрание, на котором один достойный немолодой профессор не хотел отменять свою лекцию, и мы устроили голосование, чтобы заставить его это сделать. Теперь я чувствую раскаяние и восхищаюсь его смелостью, а также смелостью другого профессора, который был еще старше и единственный поднял руку в поддержку права своего коллеги на проведение запланированной лекции в соответствии с собственным представлением о долге. Как и в случае с “тетушкой Пегги” и с тем мальчиком, который играл аналогичную роль в Чейфин-Гроув, я должен был попытаться помешать травле. Однако не сделал этого. Я был по-прежнему молод, но ведь не настолько. Следовало быть более сообразительным.

По поводу радикалов и хиппи мне вспоминается один случай, который многое говорит об огромной перемене, свершившейся в обществе. Однажды я шел по Телеграф-авеню, вокруг которой в

Беркли была сосредоточена культура бус, благовоний и марихуаны. Передо мной шел молодой человек, в котором легко было опознать сторонника “власти цветов”. Проходя мимо каждой девушки, шедшей ему навстречу, он протягивал руку и слегка трепал ее по одной из грудей. Ни одна из них не дала ему пощечины и не позвала на помощь: все просто проходили мимо как ни в чем не бывало. Это повторялось неоднократно. Сегодня мне с трудом в это верится, но воспоминание совершенно отчетливо. Поведение того молодого человека выглядело не особенно развратным и явно не воспринималось девушками как проявление мужского шовинизма. В окрестностях Сан-Франциско шестидесятых годов оно казалось естественным для среды хиппи с их непосредственностью и культом мира и любви. Мне очень приятно отметить, что с тех пор многое изменилось. Сегодня принадлежащие к аналогичному социальному классу люди того же возраста, что этот мужчина и те девушки, к которым он приставал (как мы назвали бы это сегодня), были бы среди тех, кого особенно сильно возмущало бы подобное поведение, считавшееся в те времена нормальным среди молодых людей соответствующего класса и политических убеждений.

Несмотря на всю свою политическую активность, я неплохо справлялся с работой старшего преподавателя (хотя и был исключительно молод для этой должности). Мы с Джорджем Барлоу поделили между собой лекционный курс поведения животных, в который я включил ту лекцию об “эгоистичном гене”, которую впервые прочитал в Оксфорде. Меня радует мысль о том, что студенты, учившиеся в Оксфорде и Беркли в конце шестидесятых, едва ли не первыми из всех студентов в мире узнали о новых идеях, которым предстояло приобрести популярность в семидесятых годах и позже, когда “социобиология” и “эгоистичные гены” вошли в моду.

Нас с Мэриан очень хорошо принимали в Беркли, и мы подружились там со многими замечательными людьми. Кроме Джорджа Барлоу в их числе были нейрофизиолог Дэвид Бентли, Майкл Лэнд, ставший теперь ведущим специалистом по глазам самых разных животных, а также переехавшие впоследствии в Оксфорд и чудесно дополнившие команду с Бевингтон-роуд Майкл и Барбара Макробертс и ироничный Дэвид Ноукс – самый способный из аспирантов, которыми руководил в те годы Джордж Барлоу. Джордж проводил у себя дома в Беркли-Хиллс еженедельный семинар для интересующихся этологией студентов и аспирантов. Атмосфера этих вечерних встреч чем-то напоминала нам с Мэриан незабываемую атмосферу вечерних семинаров, которые Нико по пятницам проводил у нас в

Оксфорде.

Я никогда раньше не бывал в Америке, и некоторые вещи сбивали меня с толку. На первом собрании сотрудников отделения зоологии все говорили почти исключительно цифрами. “Кто ведет 314?” – “Нет, я веду 246”. Сегодня во всех англоязычных странах знают, что “такая-то дисциплина 101” – это вводный курс для студентов первого года обучения (иногда о таких курсах говорят свысока или даже пренебрежительно). Однако, когда я только прибыл в Беркли, вся эта нумерология была мне совершенно непонятна. И кто сегодня не знает глагола *to major* (специализироваться)? Но я помню, что однажды, читая роман об американской университетской жизни и уже подустав от таких терминов, как *sophomore* (второкурсник), *junior* (третьекурсник) и *senior* (четверокурсник), я наткнулся на фразу, показавшуюся мне глотком свежего воздуха: “В комнату вошел английский майор (*English major*)”. Я живо представил себе усатого офицера в галифе, хотя имелся в виду, конечно, студент, специализирующийся на английском.

Мы с Мэриан усердно работали над нашими исследовательскими проектами. И без конца разговаривали на темы общих научных интересов: на прогулках в Тилден-парке на холмах Беркли-Хиллс, в автомобильных поездках по дорогам прекрасных сельских районов Калифорнии, во время вылазок за покупками в Сан-Франциско – везде. Эти разговоры были чем-то вроде взаимных консультаций. Мы учились друг у друга, разбираясь в логике своих рассуждений шаг за шагом – шаг назад и два шага вперед. Подобной атмосферы взаимных консультаций я пытаюсь теперь добиться в публичных дискуссиях с коллегами, нередко снимаемых на видео и выкладываемых на моем сайте или выходящих на DVD. Мои дискуссии с Мэриан впоследствии легли в основу совместных экспериментов, которые мы проводили по возвращении в Оксфорд.

Исследования, которые я выполнял в Беркли, являлись продолжением моей работы с выбором мишеней цыплятами. Моя диссертация была выполнена в полном соответствии с идеями Поппера и включала точные прогнозы об общем числе случаев выбора той или иной мишени за определенные промежутки времени. Но отсюда с самого начала напрашивалась идея более точной экспериментальной проверки, основанной на регистрации реальной последовательности клевков, а не числа клевков в минуту. Я вернулся к этой идее в Беркли, где соорудил новое устройство, которое, в отличие от оксфордского, позволяло точно регистрировать момент каждого клевка. Кроме того, я увеличил частоту клевков, вознаграждая цыпленка за каждый клевок

вспышкой инфракрасного света, тепло которого нравилось цыплятам. Награда не зависела от цвета выбранной мишени, но цыплята по-прежнему демонстрировали систему предпочтений цветов и по-прежнему выбирали их как будто в соответствии с моделью пороговых значений побуждения. Запись клевков велась на магнитофонной ленте с использованием сложного и дорогостоящего приспособления, изготовленного по заказу Джорджа Барлоу и известного под названием *Data Acquision System* (“система получия данных”) – из-за опечатки в слове *Acquisition* (“получение”) на этикетке.

Из модели пороговых значений побуждения очевидным образом вытекает, что в течение определенных промежутков времени цыпленок должен выбирать мишени только одного цвета (когда величина побуждения превышает только одно пороговое значение) и что такие промежутки должны чередоваться с периодами безразличного выбора (когда величина побуждения превышает два порога). При этом ощутимых промежутков времени, в пределах которых цыпленок раз за разом выбирает менее предпочтительный цвет, наблюдаться не должно. Исходя из модели пороговых значений внимания, я ожидал, что безразличие к *цвету* на самом деле означает предпочтение правой или левой *стороны*. Поскольку устройство позволяло после каждого клевка менять местами мишени разного цвета (лишь иногда случайно отклоняясь от этой схемы), я прогнозировал получение именно таких последовательностей, как те, что представлены на рисунке на этой странице. Это реальные данные одного из экспериментов, и они, судя по всему, очень хорошо соответствовали моим прогнозам.

Разумеется, то был лишь один из многих экспериментов, который сам по себе мало о чем говорит, но я провел статистический анализ результатов большого числа опытов, позволивший строго проверить как данный прогноз, так и ряд других. Результаты этих экспериментов соответствовали прогнозам модели пороговых значений внимания, а не более простой модели пороговых значений побуждения.

Шел второй год нашего пребывания в Беркли, когда нас с Мэриан посетили Нико и Лис Тинберген. Нико хотел уговорить нас вернуться в Оксфорд, где ему удалось добыть заманчивый грант на исследования, который он предполагал доверить мне, и где Мэриан могла закончить свою докторскую диссертацию, работа над которой, как Нико мог убедиться, шла в Беркли успешно. Тинбергены вернулись в Оксфорд, а мы остались думать над полученным предложением. В итоге мы решили его принять, но тем временем Нико написал нам еще об одной возможности. В

Оксфорде решили взять на работу нового лектора[99] по этологии на должность, связанную со стипендией Нового колледжа, и Нико предложил мне выдвинуть свою кандидатуру. Преподавание не препятствовало работе по тому исследовательскому гранту, который он обещал мне раньше. Я согласился подать документы на эту должность, и меня вызвали в Оксфорд на собеседование.

Это было волшебное путешествие, сулившее мне новые горизонты. Особенно сильно оно отпечаталось в моей памяти благодаря музыке – скрипичному концерту Мендельсона, что я слушал в самолете, воодушевленный зрелищем Скалистых гор, над которыми пролетал, и открывшимися передо мной заманчивыми перспективами. Оксфорд я застал в его лучшую майскую пору, когда вдоль Банбери-роуд и Вудсток-роуд вовсю цвели вишни и бобовники. Замечательный Новый колледж XIV века тоже был прекрасен, и я чувствовал себя счастливым. Мое настроение не омрачилось даже тогда, когда по прибытии я узнал, что Колин Бир, бывший член оксфордской группы исследований поведения животных, работающий теперь профессором в Ратгерском университете в Нью-Джерси, в последний момент неожиданно подал заявку на ту же должность. Я не утратил оптимизма даже тогда, когда узнал, что Нико передумал и стал всячески поддерживать кандидатуру Колина, а не мою. Несмотря на то что Нико решил сделать ставку на Колина, я по-прежнему мог получить исследовательскую работу, и я сказал комиссии, проводившей собеседование, что буду даже рад, если Колин тоже вернется в Оксфорд. В итоге лектором действительно стал Колин, а я занялся исследовательской работой по гранту.

Дела компьютерные

Мы с Мэриан уехали в 1969 году из Беркли со смешанными чувствами. Он остался в моей памяти волшебным пристанищем, временем мечты и прошедшей юности, умных и дружелюбных коллег, в основном ясного солнечного неба, но иногда – прохладной дымки, окутывавшей Золотые Ворота, бодрящего сосново-эвкалиптового аромата и “детей-цветов”, искренне, хотя и наивно, веривших в славные либеральные ценности.

Мы упаковали и отправили в Англию немногочисленные пожитки из нашей квартиры в Беркли и поехали через весь континент в Нью-Йорк на своем “форде-универсале” “Фалкэн”, толстым слоем покрытом антивоенными лозунгами и наклейками, агитирующими голосовать за Юджина Маккарти. Мы продали эту машину на пристани, о чем заранее договорились (как то ни удивительно, покупатель, тоже неспешно, как это принято в Беркли, добиравшийся в Нью-Йорк своим ходом, явился на встречу вовремя), сели на лайнер “Франция” и отплыли в Саутгемптон, готовясь к возвращению в Оксфорд, где оставались многие наши старые друзья и куда недавно прибыл Колин Бир. Однако Колин, ко всеобщему разочарованию, предпочитал проводить время в Новом колледже и почти не появлялся на отделении. Он проработал в новой должности всего год. Дэнни Лерман (тот самый Дэниэл Лерман, чья теоретическая критика этологии оказала такое существенное влияние на мою диссертацию) предусмотрительно никому не стал отдавать насовсем ставку Колина в Ратгерском университете, и, когда стало ясно, что для жены Колина, которая занималась средневековым французским и была в Америке профессором, не найдется аналогичной должности в Оксфорде, Колин решил вернуться на прежнюю работу. Должность лектора по этологии вновь оказалась вакантной, многострадальный Новый колледж вновь согласился связать с этой должностью стипендию, и Нико вновь посоветовал мне предложить свою кандидатуру. Вновь собеседование со мной и немногими другими кандидатами проводили две комиссии: одна от университета, под председательством “смешливого” Джона Прингла, а другая от Нового колледжа, под председательством его действительно смешливого и до невозможности доброжелательного ректора – сэра Уильяма Хейтера, бывшего британского посла в СССР.

На сей раз я очень хотел получить эту работу, и я ее получил. Мы с Мэриан узнали об этом после томительного ожидания, сидя с друзьями в индийском ресторане в Оксфорде. Внезапно мы

услышали звук подъехавшего мотороллера, после чего в ресторан ворвался Майк Каллен, направил на меня, не говоря ни слова, указательные пальцы обеих рук и исчез так же быстро, как появился. Должность лектора досталась мне. Теперь мне кажется, что по-хорошему я не должен был ее получить, учитывая, что моим главным соперником был блистательный Хуан Делиус, хотя мне хотелось бы думать, что я совершенствовался на этой работе и в итоге стал достойным ее. Хуан, мой дорогой друг и наставник, был необычайно умным, знающим и веселым немцем с аргентинскими корнями. Однажды он так объяснил мне суть аргентинского юмора: “Аргентинцам нравятся грубые шутки, но, когда кто-то поскальзывается на банановой кожуре, это *по-настоящему* смешно только в том случае, если он сломает ногу”. Доска объявлений в доме номер 13 по Бевингтон-роуд нередко была украшена замечательными записками, составленными на той неповторимой разновидности английского, которой пользовался Хуан: “Какой негодяй укрыл мои отверстия?” (“Кто взял мой шаблон для черчения кругов разного диаметра?”)

Жизнь преподавателя – стипендиата оксфордского колледжа во многих отношениях сказочна. Я получил кабинет в потрясающем средневековом здании из оолитового известняка, окруженном славящимися своей красотой садами, деньги на книги, жилищную субсидию и бесплатное питание (но не бесплатное вино – вопреки слухам, распускаемым завистниками) в интересной и приятной компании ведущих специалистов по всевозможным предметам, кроме моего собственного. Ведущих специалистов по моему собственному предмету, в свою очередь, хватало на отделении зоологии, где я и проводил бóльшую часть времени.

Я познакомился со странным миром разговоров за преподавательским высоким столом. После ужина иногда приносили “Книгу для записей пари в профессорской” – чтобы зафиксировать какой-либо новый спор или просмотреть старые записи, сделанные в том же манерном стиле, в каком велись сами застольные разговоры. Вот несколько отрывков из этой книги, начатой еще в двадцатых годах, когда самым заядлым спорщиком был блистательный и эксцентричный математик Годфри Гарольд Харди, чье чувство юмора, вызывающее в памяти произведения Льюиса Кэрролла, судя по всему, было заразительным и передавалось его коллегам:

(7 февр. 1923 г.) Заместитель директора спорит с проф. Харди на все свое состояние до самой смерти против полпенни, что завтра взойдет солнце.

(6.8.27) Проф. Харди спорит с м-ром Вудвардом на 10 000

против 1 монетами по полпенни, что он (проф. Харди) не будет следующим президентом Магдален-колледжа, и м-р Вудвард спорит с проф. Харди на 1 против 5000, что он (м-р Вудвард) не будет следующим президентом Магдален-колледжа.

(февр. 1927) Профессор Харди спорит с м-ром Кридом на 2/6[100] против 1/6, что новая редакция “Книги богослужения” будет провальной. Рассудят в случае надобности м-р Смит, м-р Кассон и м-р Вудвард.

Меня забавляет, что предметом пари могло стать столь очевидно оценочное суждение. Неудивительно, что людей, которых назначили рассудить при необходимости спор, было нечетное число.

Еще в одном пари даже размер ставки оставлен неопределенным:

(2 дек. 1923) Профессор Тернер спорит с экономом профессорской на большую сумму, что хорошо будет иметь в профессорской экземпляр алфавитного железнодорожного справочника (лондонского). (Выиграл проф. Тернер, А. Г. С.)

(15 февр. 1927 г.) М-р Кокс спорит с проф. Харди на 10/– против 1/-, что преп. каноник Кокс (Фред) не будет следующим епископом Ньясаленда.

Мне безумно нравится взятое в скобки имя Фред. К сожалению, результат этого пари не был записан. Интересно было бы узнать, возглавил ли “епископ Фред” епархию страны, где я жил в детстве. Гугл не помог мне найти ответ на этот вопрос, но позволил узнать, что в XIX веке одним из епископов Ньясаленда был Чарльз Алан Смитис, который вполне мог состоять в родстве с семью поколениями моих предков Смитисов – приходских священников.

(11 марта 1927 г.) М-р Йорк спорит с м-ром Коксом на 2/6, что в Евангелии от св. Матфея нет стиха, буквальное толкование которого оправдывало бы или поощряло самокастрацию. (Выиграл м-р Кокс.)

(26 октября 1970) Проф. сэр А. Айер спорит с м-ром Кристиансеном, что наш капеллан не сможет, если не предупредить его заранее, воспроизвести 12 из 39 молитв “Книги общественного богослужения”. Ставка – бутылка кларета.

(24 нояб. 1985) Капеллан спорит с д-ром Ридли на бутылку кларета, что на ужине по случаю визита епископа Лондонского д-р Беннетт будет в пасторском воротнике. (Выиграл капеллан.)

(4 августа 1993 г.) М-р Докинз спорит с м-ром Рейном на 1 фунт стерлингов, что Бертран Рассел был женат на леди Оттолайн Моррелл. Рассудит мадемуазель Брюно. (Проиграл и заплатил Докинз, 20 лет спустя.)

Такие пари, как последнее, более невозможны, потому что справки о любом подобном факте можно моментально навести с помощью смартфона, не вставая со своего кресла в профессорской. Но даже тогда едва ли нужно было назначать человека, чтобы рассудить спор о таком вполне конкретном факте.

Но вернемся в семидесятый, когда мне было 29 и я лишь недавно прибыл обратно в Оксфорд. Поющий “Эллиотт” к тому времени уже отправился туда, куда уходят все создания из кремния, но закон Мура и исследовательский грант, которым меня годом раньше заманили в Оксфорд, дали мне возможность обзавестись “собственным” компьютером, PDP-8, превосходившим “Эллиотт” по всем параметрам, кроме размеров и цены. Также в соответствии с законом Мура (который уже хорошо выполнялся в те времена) возможности того компьютера были намного меньше, а размеры намного больше, чем у современного ноутбука. Кроме того, как то ни смешно, к нему прилагался журнал учета, в который нужно было записывать время каждого включения (чего я и не думал делать). Этот компьютер был для меня радостью, гордостью и ценным источником данных. Я был единственным программистом в нашей группе на Бевингтон-роуд, что отнимало у меня немало времени, но теперь, когда я мог по-настоящему отдаться своей компьютерной зависимости, мне больше не приходилось делать это по ночам, как было во время моего постыдного романа с “Эллиоттом”.

До этого я пользовался языками только высокого уровня – простыми в обращении, которые компьютер переводит на свой собственный бинарный машинный язык. Но теперь, чтобы использовать PDP-8 как орудие исследований, от меня требовалось овладеть его двенадцатибитным машинным языком, и я увлеченно погрузился в его изучение. Первым проектом, для которого я написал программу в машинном коде, было создание “орга́на Докинза” – устройства для регистрации поведения животных, аналогичного “системе получия данных” Джорджа Барлоу, но во много раз более дешевого. Идея была в том, чтобы сделать клавиатуру, которой наблюдатель сможет пользоваться в полевых условиях, нажимая на клавиши, соответствующие различным действиям наблюдаемого животного. Каждое такое нажатие будет записываться на магнитофонной ленте, с которой компьютер впоследствии автоматически считает информацию о точном времени каждого действия.

Моя клавиатура была не чем иным, как самодельным электронным органом, все клавиши которого играли разные ноты (слышные только магнитофону). Сделать эту часть системы было

довольно просто. В ящик помещался простой двухтранзисторный генератор импульсов, частота которых регулировалась сопротивлением. Каждая клавиша была связана со своей катушкой сопротивления и поэтому генерировала звук своей высоты. Наблюдатель мог брать этот орган с собой в поле и наблюдать за поведением животных, подобно специалисту по анализу рабочего времени, нажимая ту или иную клавишу в зависимости от наблюдаемой формы поведения. Получаемая в итоге магнитофонная запись последовательности нот будет записью изменений поведения животного во времени. Человек с хорошим музыкальным слухом, прослушивая такую запись, в принципе мог бы улавливать, какая именно клавиша была нажата в каждый конкретный момент, но от этого было бы мало пользы. Вместо такого человека с хорошим слухом мне хотелось использовать компьютер. Это можно было сделать с помощью электронного приспособления, включающего ряд настроенных на определенную частоту детекторов, но такое приспособление было бы и сложным в изготовлении, и дорогостоящим. Нельзя ли было добиться того же исключительно с помощью компьютерной программы?

Я обсуждал эту проблему со своим тогдашним компьютерным гуру Роджером Эбботтом, способным инженером (а также, кстати, органистом), работавшим по большому исследовательскому гранту у профессора Прингла, и Роджер предложил остроумное решение. Каждой ноте соответствует определенная длина звуковой волны. Компьютеры работают (и работали, даже в те времена) настолько быстро, что за время, проходящее между гребнями звуковых волн, могут выполняться сотни циклов программы. Роджер предложил мне написать в машинном коде программу, которая позволит регистрировать продолжительность таких промежутков, то есть будет работать подобно секундомеру, подсчитывая, сколько циклов программы успевает пройти за время от одного до другого гребня волны (среднее значение величины, обратной этому показателю, будет соответствовать частоте – высоте звука). Как только звук данной высоты смолкает (когда со времени предыдущего пика проходит больше определенного периода времени), компьютер может заметить время этого события, а затем ждать, когда раздастся следующая нота. Иными словами, такие циклы можно использовать не только для распознавания высоты ноты, но также, в намного большем временно́м масштабе, для измерения продолжительности звучания каждой ноты и промежутков между ними.

После того как эта основа была готова, мне оставалось только

потрудиться над написанием и отладкой удобной в использовании программы. На это ушло довольно много времени, но в итоге мне удалось добиться успеха. Орган Докинза неплохо показал себя в работе. Каждый сеанс его использования начинался с воспроизведения записанной на магнитофонную ленту гаммы – всех нот, издаваемых органом, проигранных в порядке возрастания высоты. С помощью этой гаммы осуществлялась калибровка программы – “обучение” компьютера набору нот, которые ему предстояло распознавать. После калибровки (завершаемой нажатием клавиши, соответствующей первой ноте гаммы) на той же магнитофонной ленте записывалась последовательность нот, соответствующая действиям животного, за которым велись наблюдения. Система калибровки была хороша тем, что не требовала точной настройки органа: для регистрации поведения животного можно было использовать любой набор нот, достаточно сильно отличающихся друг от друга, потому что компьютер быстро “научался” их распознавать.

Итак, когда исследователь приносил из полей магнитофонную запись и проигрывал ее компьютеру, тот точно узнавал, что и когда делало животное, за которым велись наблюдения. В основе программы лежал цикл, занимающий определенное время, но программа также включала в себя существенное количество кода, позволяющего выбивать на перфоленте названия всех наблюдаемых форм поведения и точных сроков, в которые каждая из них наблюдалась.

Я опубликовал об органе Докинза статью[101] и сделал свою программу доступной бесплатно для всех желающих. В течение следующих нескольких лет органами Докинза пользовались многие мои коллеги из оксфордской группы исследований поведения животных, а также некоторые этологи из других стран, в частности из университета Британской Колумбии.

Моя зависимость от программирования в машинном коде прогрессировала и зашла довольно далеко. Я даже разработал свой собственный язык BEVPAL и написал руководство для программирования на нем, оказавшееся практически бесполезным, потому что этим языком не пользовался никто, кроме меня и (недолго) Майка Каллена. Именно такую зависимость, как та, что выработалась у меня, хорошо высмеял Дуглас Адамс. Предметом его сатиры был программист, которому нужно было решить конкретную задачу *X*. Он мог за пять минут написать программу, которая позволила бы найти решение данной задачи и перейти к следующему делу. Но вместо этого он потратил не один день и не одну неделю на написание более

общей программы, которую мог бы использовать кто угодно для решения любой задачи того же типа. В подобной работе привлекает вовсе не возможность найти решение конкретной задачи, а именно сила обобщения и то удовлетворение, которое приносит создание красивой и удобной программы, доступной для всех предполагаемых (и, весьма вероятно, несуществующих) пользователей. Один из симптомов подобной компьютерной зависимости выражается в том, что всякий раз, когда страдающий ею программист решает ту или иную частную задачу и заставляет компьютер проделать очередной цикл вычислений, ему хочется выбежать на улицу и зазвать к себе первого попавшегося прохожего, чтобы показать ему, как красиво этот цикл работает.

Примерно в то же самое время группа исследователей поведения животных покинула небольшую пристройку на Бевингтон-роуд с ее плодотворной атмосферой товарищества и переехала в свежепостроенный корпус зоологии и психологии – жуткое сооружение на Саут-Паркс-роуд, похожее на военный корабль. Это здание в то время неофициально называли “крейсер ‘Прингл’” в честь амбициозного профессора, убедившего администрацию университета его построить, но не сумевшего уговорить ее сделать новый корпус похожим на карандаш небоскребом, который возвышался бы над воспетыми Мэтью Арнольдом “дремлющими шпилями” и катастрофически испортил облик Оксфорда. Я не уверен, что поступил правильно, приняв участие в успешной кампании по официальному переименованию “крейсера” в корпус имени Тинбергена, потому что, по мнению многих, это самое уродливое здание во всем Оксфорде. О многом говорит уже тот факт, что оно получило архитектурную премию Железобетонного общества.

Примерно тогда же я опубликовал небольшую заметку в журнале “Нейчур”[102]. Каждый день у нас в мозгу умирают сотни тысяч нервных клеток, и уже в 29 лет меня это расстраивало. Мой одержимый дарвинизмом разум искал утешения в мысли о том, что если смерть этих клеток неслучайна, то их кажущееся массовое истребление может быть даже конструктивным, а не чисто деструктивным процессом:

Когда скульптор превращает однородную глыбу мрамора в сложную статую, он отсекает, а не добавляет материал. Электронное устройство, обрабатывающее данные, скорее всего, будет состоять из соединенных сложным образом компонентов, и его дальнейшее усложнение может быть вызвано увеличением числа связей между ними. Вместе с тем такое устройство вполне реально соорудить, начав с огромного числа связей, даже случайных, систему которых впоследствии можно сделать более

осмысленной, избирательно перерезая лишние провода.

‹…›

Выдвинутая здесь теория может на первый взгляд показаться неправдоподобной. Но если задуматься, ее кажущаяся неправдоподобность связана прежде всего с той невероятной аксиомой, на которой она зиждется, а именно с представлением о том, что число нервных клеток ежедневно и с большой скоростью сокращается. Но поскольку эта аксиома, какой бы невероятной она ни была, есть твердо установленный факт, данная теория не добавляет к тому, что нам известно, ничего неожиданного и – даже напротив – предполагает, что процесс гибели нервных клеток не так расточителен, как может показаться. Весь вопрос в том, случайна ли гибель нейронов или избирательна и обеспечивает ли сохранение информации.

Эта заметка была для меня лишь единичным отступлением от моих основных занятий. Пожалуй, она представляет некоторый интерес как ранний пример теории вошедшего впоследствии в моду так называемого *апоптоза.* [103] *(сам термин был предложен год спустя, так что я его, разумеется, не использовал).*

Мэриан вскоре получила свою докторскую степень, и мы с ней начали работу над совместным проектом, выросшим из многочисленных разговоров (взаимных консультаций) времен нашей жизни в Беркли. Мы запланировали исследование, призванное проиллюстрировать одну из фундаментальных концепций этологической школы исследований поведения животных – концепцию фиксированных последовательностей действий – и внести в нее ясность.

Лоренц, Тинберген и их последователи считали, что поведение животных во многом состоит из последовательностей небольших программ – фиксированных последовательностей действий (ФПД), напоминающих работу заводных игрушек. Считалось, что каждая ФПД так же постоянна, как любая анатомическая структура, например ключица или левая почка. Разница между ними лишь в том, что почка или ключица вещественны и занимают место в пространстве, а ФПД существует во времени: ее нельзя взять в руки и положить в ящик, можно лишь наблюдать за ее ходом. В качестве одного из общеизвестных примеров ФПД можно назвать движения морды собаки, зарывающей кость. Собака совершает точно такие же движения и тогда, когда кость лежит на ковре, где нет земли, в которую ее можно зарыть. Собака при этом действительно похожа на очаровательную заводную игрушку, хотя направление ее движений может в какой-то степени меняться в зависимости от положения кости.

У любого животного имеется определенный набор ФПД. Похожий принцип лежит в основе устройства куклы, которую заводят, потянув за шнурок, после чего она говорит одну из фраз, случайным образом выбираемых из некоего ограниченного репертуара. Когда фраза выбрана, кукла проговаривает ее до конца и не переключается посреди нее на какую-либо другую. Выбор конкретной фразы из дюжины возможных непредсказуем, но, когда он сделан, дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо. Так представляли себе работу ФПД и мы с Мэриан, будучи этологами тинбергеновской школы. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос нам и хотелось ответить – точнее, нам хотелось переформулировать его таким образом, чтобы на него можно было дать однозначный ответ.

Теоретически непрерывный ход поведения любого животного может быть записан как последовательность мышечных сокращений. Но если теория ФПД верна, то действия животного должны быть настолько предсказуемы, что запись всех сокращений мышц (если это вообще возможно) оказалась бы трудоемкой и напрасной. Вместо этого можно просто записать все ФПД, тогда последовательность ФПД (исходя из утрированной версии данной теории) и будет полным описанием поведения животного.

Но так должно быть лишь в том случае, если ФПД действительно аналогичны органам или костям, – иными словами, если каждая такая последовательность действий совершается полностью, не прерываясь на середине и не смешиваясь ни с какой другой последовательностью. Нам с Мэриан хотелось найти способ оценить, в какой степени это положение теории ФПД верно. Темы наших диссертаций были по-своему связаны с принятием решений, и для нас казалось естественным перевести проблему ФПД на язык принятия решений. Говоря этим языком, животное принимает решение запустить ту или иную ФПД, но после запуска каждая ФПД осуществляется до конца, и во время ее осуществления никакие решения уже не принимаются. По завершении ФПД в поведении животного наступает период неопределенности, продолжающийся до принятия нового решения запустить (и завершить) ту или иную ФПД.

Мы решили изучить это явление на конкретном примере поведения цыплят, когда они пьют воду, и надеялись, что этот случай окажется репрезентативным[104]. Птицы (за исключением голубей, которые просто всасывают воду) пьют, совершая последовательность действий, напоминающую изящное глиссандо и создающую отчетливое субъективное впечатление, что ее

запускает конкретное решение, после которого она всегда осуществляется от начала до конца. Но можно ли было подтвердить это субъективное впечатление достоверными данными?

Мы снимали пьющих цыплят на кинопленку в профиль, а затем анализировали их поведение кадр за кадром, чтобы разобраться, можно ли установить "структуру принятия решений" такого поведения. Мы измеряли координаты положения головы на каждом кадре и вводили их в компьютер. Идея была в том, чтобы установить степень предсказуемости каждого следующего кадра, исходя из положения головы на предыдущих кадрах.

На следующей странице показаны графики изменений высоты глаза у одного и того же цыпленка во время трех последовательностей действий, которые он совершал, когда пил воду. Все три графика наложены друг на друга так, чтобы на них совпадал момент соприкосновения клюва с водой (ноль на оси времени). Если посмотреть на эти графики, складывается ощущение, что с этого момента (и даже незадолго до него) поведение цыпленка стереотипно и предсказуемо, но более ранний этап движения головы вниз варьирует сильнее и зависит от принимаемых решений, позволяющих цыпленку приостановить движение и даже (как мы показали в другой серии экспериментов) отказаться от питья воды.

Но как можно количественно оценить эту предсказуемость? Один из способов сделать это изображен на графике на следующей странице. На нем тоже представлена последовательность действий цыпленка, пьющего воду, но от каждой точки, отражающей положение глаза на каждом кадре, отходят стрелки, длины которых пропорциональны вероятности (рассчитанной по данным о многих цыплятах, много раз пивших воду) того, что на следующем кадре высота глаза будет меньше, больше или такой же.

Из графика видно, что во время движения головы цыпленка вверх, когда он дает воде стекать ему в горло, велика вероятность того, что это плавное движение вверх продолжится и далее. Цыпленок в данном случае осуществляет решение выполнить соответствующую ФПД, во время выполнения которой никакие другие решения не принимаются. Но во время движения головы вниз дальнейшее поведение цыпленка прогнозировать сложнее. На каждом следующем кадре, сделанном в ходе такого движения, высота глаза может уменьшиться, а может и остаться прежней, и существует даже некоторая вероятность, что она увеличится, то есть что цыпленок откажется от намерения пить воду.

Можно ли рассчитать на основе таких стрелок некий индекс

неопределенности (степени зависимости от принимаемых цыпленком решений)? Тот индекс, который мы в итоге выбрали, был взят из теории информации, разработанной в сороковых годах XX века изобретательным американским инженером Клодом Шенноном. Количество информации в том или ином сообщении можно образно определить как “степень удивительности”. Эта степень представляет собой удобную в использовании противоположность степени прогнозируемости и может быть проиллюстрирована двумя классическими примерами: утверждением “В Англии идет дождь” (количество информации маленькое, потому что в этом нет ничего удивительного) и утверждением “В пустыне Сахара идет дождь” (количество информации большое, потому что сообщается нечто удивительное). Для удобства расчетов Шеннон предложил использовать коэффициент, измеряемый в битах (*bit* – сокращение от *binary digit*, “двоичная цифра”) и определяемый как сумма логарифмов (по основанию 2) априорных вероятностей всего, что до получения сообщения вызывало сомнения. Количество информации в сообщении о результате подбрасывания монетки составляет один бит, потому что априорная неопределенность составляет ½ (оба альтернативных результата, “орел” или “решка”, равновероятны). Количество информации в сообщении о масти вытянутой из колоды карты составляет два бита (альтернативных результатов четыре, а двоичный логарифм от четырех равен двум, что соответствует минимальному числу вопросов, предполагающих ответ “да” или “нет”, которые требуется задать, чтобы узнать масть вытянутой карты). Основной массив примеров, касающихся событий реальной жизни, не так прост, и возможные исходы обычно не равновероятны, но принцип в большинстве из них работает тот же, а количество информации в сообщении об исходе события удобно рассчитывать по одной из разновидностей той же формулы. Именно в связи с удобством подобных расчетов мы и выбрали в качестве меры предсказуемости (или неопределенности) информационный индекс Шеннона.

Рассмотрим еще один график (на следующей странице), показывающий изменения высоты глаза цыпленка, пьющего воду. Тонкие линии соответствуют периодам низкой прогнозируемости, то есть высокой вероятности принятия цыпленком решения, которое повлияет на его дальнейшее поведение. Жирные линии, в свою очередь, соответствуют периодам высокой прогнозируемости (когда количество информации в сообщении о положении глаза меньше условного порогового значения в 0,4 бита), во время которых цыпленок осуществляет принятое

решение, а новых решений, скорее всего, не принимает. Движение головы вверх, когда оно уже началось, оказывается высоко прогнозируемым, а движение вниз – нет. Неподвижность головы цыпленка в промежутке между эпизодами питья воды высоко прогнозируема по той банальной причине, что если цыпленок в тот или иной момент неподвижен, он, скорее всего, будет неподвижен и в следующем кадре (момент начала следующего эпизода питья прогнозировать трудно).

Здесь, как всегда, не следует забывать о том, что та или иная конкретная форма поведения (в данном случае – питье воды) интересовала нас не сама по себе. Поведение цыплят, пьющих воду, мы рассматривали как пример поведения вообще, точно так же, как я рассматривал в ходе работы над диссертацией поведение цыплят, клюющих мишени разного цвета. Мы хотели разобраться в самом принятии решений, а также (в случае с питьем воды) в том, можно ли выявить момент принятия решения, и пытались найти способ продемонстрировать само существование фиксированных последовательностей действий, не считая его не требующим доказательств, как это было принято у этологов.

В своем следующем проекте, тоже посвященном принятию решений, мы воспользовались другим подходом. Теперь мы обратились к действиям, совершаемым падальными мухами, когда они чистятся. Этологи часто задаются вопросом, можно ли в том или ином случае прогнозировать дальнейшее поведение животного по его поведению в настоящий момент. Мы с Мэриан хотели выяснить, бывает ли так, что поведение животного в ближайшем будущем прогнозировать сложнее, чем его поведение в более отдаленном будущем. Это возможно, например, если поведение устроено как человеческая речь. Бывает так, что по началу предложения проще прогнозировать его окончание, чем середину (в которую можно вставить сколько угодно определительных придаточных предложений). Например, начало предложения “Девушка ударила по мячу” требует некоторого окончания независимо от того, будут ли в середине добавлены какие-либо прилагательные, наречия и придаточные предложения: “Девушка с рыжими волосами, живущая в соседнем доме, с силой ударила по мячу”.

В действиях чистящихся мух нам не удалось выявить свидетельств устройства, подобного грамматической структуре языка (впрочем, см. ниже). Но нам удалось выявить интересную зигзагообразную кривую снижения прогнозируемости дальнейшего поведения. Иными словами, мы установили, что ближайшее будущее действительно может труднее

прогнозироваться, чем немного более далекое. Чтобы не вдаваться в сложные подробности, я расскажу здесь об этом исследовании лишь вкратце.

Обычно мух не считают красивыми, но они выглядят довольно мило, когда “умываются”, очищая себе голову и лапки. Обратите на это внимание, когда на вас в следующий раз сядет муха. Вполне вероятно, что вы сможете увидеть такое поведение. Муха при этом обычно либо трет передние ноги друг о друга, либо протирает ими свои огромные глаза. Кроме того, она может тереть средней ногой о заднюю, расположенную с той же стороны тела, или чистить брюшко или крылья задними ногами. Где-то внутри ее крошечной головы спонтанно принимаются решения, довольно многие из которых определяют, какую именно часть тела муха будет чистить в дальнейшем. Нас с Мэриан привлекало прежде всего то, что на выбор мухой дальнейших действий, по-видимому, не влияют никакие внешние факторы. Мы исходили из того, что внешняя стимуляция ограничивается постоянной необходимостью поддерживать тело в чистоте – постоянной, но при этом, по-видимому, не определяющей точный момент выбора тех или иных действий чистящейся мухи. Грязные крылья затрудняли бы полет, а грязь на ногах – работу чувствительных вкусовых рецепторов, расположенных на лапках и используемых мухой при принятии решений о том, высовывать ли хоботок и начинать ли питание. Поэтому такое поведение играет важную роль в жизни мух. Но решение, какую часть тела очищать, предположительно не определяется внезапным появлением на теле нового комочка грязи. Мы полагали, что быстрые, сиюминутные решения о дальнейших действиях по очистке возникают независимо от внешних влияний – за счет невидимых колебаний, происходящих в глубине нервной системы.

Мы выделили восемь разных форм поведения чистящихся мух и исходили из предположения, что если бы у нас было время проанализировать эти действия кадр за кадром, как мы делали с движениями цыплят, пьющих воду, то каждая из этих форм поведения тоже оказалась бы ФПД: ПТ (передние лапки трутся друг о друга), ХБ (хоботок трется между передними лапками), ГЛ (голова протирается передними лапками), ПС (одна из средних лапок трется между передними), ЗС (одна из средних лапок трется между задними), ЗЛ (задние лапки трутся друг о друга), БР (брюшко трется задними лапками) и КР (крылья трутся задними лапками). С помощью органа Докинза мы записывали последовательности этих восьми форм поведения, а также еще двух: УХ (уход мухи из места наблюдения) и НЕ (неподвижность).

На приведенном ниже графике показана вероятность того,

что муха, в данный момент делающая ГЛ, будет делать ПТ сразу после этого (“задержка” = 1, вероятность очень высокая), после одной иной формы поведения (“задержка” = 2, вероятность очень низкая), после двух иных форм поведения (вероятность высокая), после трех иных форм поведения (вероятность низкая) и так далее. Здесь налицо тенденция к чередованию форм поведения, а также (как и можно было ожидать) к постепенному затуханию прогнозируемости происходящего в более далеком будущем, после более долгой “задержки”.

На этом графике показан именно данный случай – ПТ после ГЛ. Мы начертили такие же графики для всех возможных переходов и собрали их в таблицу (приведенную на следующей странице).

Из таблицы видно, что графики многих переходов демонстрируют такое же зигзагообразное затухание, хотя некоторые из них находятся ровно в противофазе с другими. В нижнем ряду (НПР) показана степень неопределенности прогнозирования, рассчитанная с помощью информационного индекса Шеннона, – тем же способом, что и в исследовании, посвященном цыплятам, которые пили воду.

В ходе этого исследования мы также провели эксперимент со считыванием полученной с помощью органа Докинза информации на слух. Для этого мы использовали записи наблюдений за поведением чистящихся мух, удалив с помощью написанной мною компьютерной программы реальные промежутки между нотами и заменив их одинаковыми промежутками стандартной продолжительности. После этого мы просто прослушивали полученную “музыку”. Она была чем-то похожа на модерн-джаз (больше, чем на традиционный джаз), а также на “пение” компьютера “Эллиотт”, за которым я в юности провел не одну бессонную ночь, и мне представляется любопытной эта аналогия. Я полагал, что человеческий слух может оказаться перспективным устройством для считывания информации о поведении животных, но не стал всерьез разрабатывать эту тему и пишу здесь о ней лишь как об интересной диковинке. Если бы в то время существовал интернет, я наверняка загрузил бы в сеть музыку умывающихся мух, и под нее теперь можно было бы танцевать. Но никакого интернета тогда не было, и теперь эти “Мелодии двукрылых”, боюсь, утрачены навсегда, как “Потерянный аккорд”.

Я не стану утверждать, будто наше исследование мух, как и предшествовавшие ему другие исследования, посвященные принятию решений у животных, многое говорит нам о реальных механизмах работы мозга. Я считаю эти исследования скорее

методологическими, но проливающими свет не только на методы изучения поведения животных, но и на методы работы *мышления*. Мы с Мэриан провели и целый ряд других работ, посвященных мухам, но все они опубликованы, поэтому здесь я не буду о них рассказывать. Стоит, однако, отметить, что я использовал их результаты в своем следующем большом проекте – теоретической работе “Иерархическая организация как один из возможных базовых принципов экологии”.

Тем временем в 1973 году Нико Тинберген получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине (которую разделил с Конрадом Лоренцем, основавшим вместе с Нико науку этологию, и Карлом фон Фришем, расшифровавшим легендарный танец пчел[105]). Всего год спустя, в 1974-м, Нико исполнилось 67 – возраст, в котором сотрудники Оксфорда обязаны уходить на пенсию, и администрация университета решила назначить ему преемника на должность ридера по поведению животных. Когда-то должность такого ранга была в Оксфорде в большой чести, но теперь это звание, кажется, вышло из употребления, оттого что понятие “профессор” решили привести в соответствие с американской практикой, трактующей его шире (в связи с чем американских профессоров у нас довольно пренебрежительно называли “микки-маусовскими профессорами”). Меня вполне устраивала моя работа лектора, поэтому на должность Нико я не претендовал.

По мнению большинства, на место Нико естественнее всего было назначить Майка Каллена. Возможно, именно поэтому – чтобы явно открыть новую страницу в истории отделения зоологии, – бóльшая часть членов комиссии, принимавшей соответствующее решение, проголосовала за Дэвида Мак-Фарленда. Как писал Ханс Круук в уже упоминавшейся биографии Тинбергена, “трудно было найти человека, более непохожего на Нико”. Хотя во многих кругах это назначение встретили в штыки, в каком-то смысле оно было удачным, по крайней мере если исходить из того, что новое назначение должно открывать новые перспективы. Научная деятельность, которой занимался Дэвид, была в высшей степени теоретического и даже математического свойства. Он активно использовал в ней свою математическую интуицию и окружил себя профессиональными математиками и инженерами, умевшими работать с формулами и расчетами. Разговоры в кофейной комнате переключились с чаек и колюшек на системы управления с обратной связью и компьютерные модели.

Пожалуй, эти изменения отражали в миниатюре происходящее в то время в биологии в целом. Я был молод, еще

не утвердился на собственном пути и действовал по принципу: “Не можешь победить – присоединяйся”. Поэтому я стал учиться теории управления у инженеров и математиков, среди которых теперь оказался. А ведь лучший способ чему-либо научиться – заняться этим на практике. Поэтому я вернулся к своей страсти (или вредной привычке) – к программированию и написал для цифрового компьютера (“моего собственного” PDP-8) программу, которая позволяла ему вести себя как аналоговый компьютер. Для этого я разработал еще один язык программирования, который назвал *SysGen*.

В отличие от выполняемых последовательно команд обычных языков программирования, таких как Фортран, команды языка *SysGen* выполнялись “одновременно” (*на самом деле*, разумеется, не одновременно, потому что в основе работы любого цифрового компьютера лежит последовательное выполнение операций, но записать такие команды можно было в любом порядке). Работая над программой-интерпретатором *SysGen Interpreter*, я ставил перед собой задачу заставить цифровой компьютер вести себя так, как *если бы* он выполнял операции одновременно, то есть создать виртуальный аналоговый компьютер. Результаты работы при этом отображались, как и положено аналоговому компьютеру, в виде набора кривых на экране осциллографа.

Не знаю, насколько практичным был *SysGen*, но создание этого языка и написание для него программы-интерпретатора, несомненно, помогли мне разобраться не только в теории управления, но и в интегральном исчислении и позволили намного лучше понять суть интегрирования. Я помнил, что мой дедушка по материнской линии рекомендовал мне книгу “Математический анализ в доступном изложении” Сильвануса Томпсона (излюбленные слова которого – “Что может один дурак, может и другой” – я уже цитировал). В этой книге Томпсон начинает объяснение интегрирования с еще одной запомнившейся мне фразы: “Итак, давайте не будем терять времени и немедленно научимся интегрировать”. На уроках Эрни Дау я разобрался в интегрировании лишь отчасти, а работа над языком *SysGen* позволила мне вникнуть в этот предмет на практике, что всегда способствует пониманию.

Исходя из похожих соображений, я попытался на практике разобраться и в лингвистических теориях школы Ноама Хомского, что оказалось намного проще и отняло у меня намного меньше времени. Для этого я написал компьютерную программу, генерирующую случайные предложения – быть может, не особенно осмысленные, но всегда грамматически корректные. Сделать это нетрудно (что само по себе говорит о многом), если

использовать язык программирования, позволяющий процедурам (подпрограммам) рекурсивно обращаться к самим себе. К таким языкам относился Алгол-60, ставший к тому времени моим любимым языком программирования под влиянием Роджера Эбботта, блестяще преуспевшего в написании программы-компилятора, которая позволяла использовать Алгол на компьютере PDP-8. Подпрограммы Алгола могли обращаться к самим себе, в отличие от подпрограмм современной версии разработанного корпорацией IBM Фортрана – этого традиционного орудия программистов, работающих в естественных науках. По поводу Фортрана мне вспоминается удачная программистская шутка, которую я услышал от Терри Винограда – одного из первопроходцев в области искусственного интеллекта. В семидесятых годах я как-то раз был в Кембридже на интереснейшей конференции, посвященной последним успехам программирования в этой области. Самым почетным гостем той конференции был именно Виноград, и в ходе своего доклада он с отменным сарказмом заметил: “Хотя, быть может, вы из тех, кто говорит: «Фортран устраивал моего *дедушку*, устроит и меня»”.

Пользуясь языком программирования, позволяющим процедурам рекурсивно обращаться к самим себе, очень легко – просто загляденье как – написать программу, которая будет генерировать грамматически корректные предложения. В написанной мною программе процедуры назывались *NounPhrase* (ГруппаСуществительного), *AdjectivalPhrase* (ГруппаПрилагательного), *PrepositionalClause* (ПредложнаяГруппа), *RelativeClause* (ОпределительноеПридаточное) и так далее, и любая из них могла обращаться к любой другой, в том числе к самой себе. Эта программа позволяла генерировать случайные предложения, такие как следующее:

(Прилагательное существительное (прилагательного существительного (которое наречно наречно глаголилось (в существительном (существительного (которое глаголилось))))) наречно глаголилось)

Если провести аккуратный грамматический разбор такого предложения (что я и сделал здесь с помощью скобок, которые компьютер не генерировал, а только подразумевал), можно убедиться, что оно грамматически корректно, хотя и мало что может нам сообщить. Оно синтаксически наполнено, но семантически пусто. Компьютер может без труда наполнить его семантикой (если не смыслом), заменив слова “существительное”, “прилагательное” и так далее конкретными случайно выбранными существительными, прилагательными и другими частями речи. Это могут быть, например, слова, связанные с

определенной темой, такой как порнография – или орнитология. Можно также использовать словарь пришедшего из Франции напыщенного метабреда, как впоследствии сделал Эндрю Булхак, когда написал свою уморительную программу “Генератор постмодернизма”, одно из произведений которой я цитировал в “Капеллане дьявола”:

Исследуя теорию капитализма, мы сталкиваемся с выбором: отвергнуть неотекстуальный материализм либо заключить, что социум имеет объективную ценность. Если справедливы положения диалектического деситуационизма, то необходимо выбрать между хабермасовским дискурсом и подтекстовой парадигмой контекста. Можно сказать, что субъект контекстуализируется в текстуальный национализм, который включает истину как реальность. В некотором смысле предпосылка подтекстовой парадигмы контекста гласит, что реальность происходит из коллективного бессознательного.

Смысла в этой случайным образом генерируемой чуши примерно столько же, сколько во множестве журналов, посвященных метабредням “теории литературы”, и программа Булхака способна генерировать в буквальном смысле бесконечное их количество.

Примерно в тот же период я занимался еще двумя проектами, связанными с программированием. Результаты этих проектов не нашли непосредственного применения на практике, но позволили мне развить навыки, пригодившиеся впоследствии. Первым было написание программы, позволяющей переводить с одного языка программирования на другой – прежде всего с Бейсика на Алгол-60. Для этих двух языков моя программа работала хорошо и, если изменить в ней некоторые детали, позволяла переводить с любого языка, использующего алгоритмы того же типа, на любой другой. Вторым проектом было написание программы STRIDUL-8, позволяющей компьютеру PDP-8 петь, как сверчок.

Я решил заняться сверчками под влиянием своего друга из Беркли нейробиолога Дэвида Бентли, а мой аспирант Тед Берк (теперь профессор в Небраске), имевший склонность к энтомологии, с энтузиазмом выбрал для своей диссертации связанную с ними тему. Дэвид любезно прислал мне яйца тихоокеанского сверчка *Teleogryllus oceanicus*. В Оксфорде насекомые вывелись из яиц, и мы завели у себя процветающую колонию, о которой заботился Тед, кормивший сверчков салатом-латуком. Пока Тед успешно занимался собственными исследованиями поведения питомцев, я затеял параллельный проект с использованием генерируемой компьютером песни ухаживания. Этот проект так и не был закончен, но мне, по

крайней мере, удалось завершить программу STRIDUL-8, и она работала совсем неплохо.

Устройство, с помощью которого я изучал поведение сверчков, было не чем иным, как качелями, изготовленными из древесины бальсы и поэтому очень легкими, – какими они и должны быть, чтобы их мог приводить в движение сверчок. Они представляли собой всего лишь длинный желобок, перекрытый на концах и сверху сеткой и укрепленный посередине на единственной вращающейся оси. Для каждого опыта в желобок помещался только один сверчок, который мог свободно ходить по желобку из конца в конец так часто, как ему хотелось. Когда он переходил на другую половину желобка, качели, как положено, склонялись в другую сторону, и это регистрировалось микропереключателем, который (что существенно) при этом также менял положение источника звука на противоположное. У обоих концов качелей располагались два маленьких динамика. Песня ухаживания всегда звучала из динамика, расположенного на противоположном конце качелей по отношению к тому, ближе к которому находился сверчок. Итак, представьте, что вы самка сверчка, сидящая ближе к западному концу желобка. Со стороны восточного конца вы слышите песню. Вам она нравится, поэтому вы начинаете ползти на восток, в направлении ее источника. Но когда вы переползаете на восточную половину желобка, под действием вашего веса восточный конец качелей опускается вниз и приводит в действие микропереключатель, что регистрируется компьютером, прекращающим передавать песню из восточного динамика и начинающим передавать ее из западного. Тогда вы поворачиваетесь и идете на запад, где повторяется та же история. Таким образом, чем больше вам нравится песня, тем чаще происходят такие переключения, которые автоматически подсчитываются компьютером. Невозможно было сказать, думает ли при этом самка сверчка, что она следует на зов подсадного самца, положение которого постоянно меняют, или что самец по собственной прихоти прыгает у нее над головой, как невозможно было сказать, думает ли она вообще. Так или иначе, та песня, которая меньше нравилась самке, неизбежно вызывала меньше переключений, чем та, что нравилась ей больше. Более того, если песня была ей просто неприятна, самка так и оставалась с противоположной от динамика стороны желобка, и качели не меняли своего положения ни разу.

Вот какое устройство я использовал для измерения степени предпочтения разных песен сверчками. В течение пяти минут проигрывал песню *A*, затем песню *B* и так далее, много раз, в хорошо продуманном случайном порядке, с разными самками,

подсчитывая число переключений, которое и рассматривалось как мера предпочтения той или иной песни. Чтобы попытаться разобраться (в лучших традициях школы Тинбергена), что именно в песнях своего вида нравится сверчкам, и нужны были генерируемые компьютером, а не настоящие песни. Компьютер позволял определенным образом методично менять проигрываемую сверчкам искусственную песню. Первоначальный замысел состоял в том, чтобы начать с компьютерного аналога настоящей песни данного вида, а затем менять ее (удаляя или усиливая те или иные фрагменты, меняя интервалы между трелями и так далее). Впоследствии у меня возникла идея (довольно смелая), что вместо этого можно запрограммировать компьютер так, чтобы он вначале генерировал песню случайным образом, а затем “научился”, как бы эволюционируя, шаг за шагом отбирать подходящие “мутации” до тех пор, пока не выработает искусственную песню, наиболее предпочтительную для сверчков. Разве не замечательно было бы, если бы эта песня в точности совпала с естественной песней *Teleogryllus oceanicus*, а потом, когда я сделал бы то же самое для другого вида сверчков, *Teleogryllus commodus*, компьютер выработал бы песню, совпадающую с песней второго вида, которая ощутимо отличается от песни первого? Какое счастье это было бы для исследователя!

Программируя компьютер на пение, я хотел добиться от него как можно большей изменчивости параметров генерируемых песен. В целом компьютеры неплохо справляются с подобными задачами. Как и в случаях с моделью аналогового компьютера и с программой, переводившей с одного языка программирования на другой, я хотел, чтобы мою программу можно было использовать для всех задач того же типа. Так и возникла STRIDUL-8, позволявшая генерировать любые последовательности звуковых импульсов и промежутков между ними, а значит, и песню любого сверчка на свете. В этой программе применялась интуитивно понятная система скобок, дающая пользователю возможность вводить в песню повторы, повторы в рамках повторов и так далее, по принципу, напоминающему грамматику языка (см. с. 270 и 277).

Моя программа неплохо работала. Генерируемая с ее помощью песня сверчка звучала для человеческого уха как настоящая и могла соответствовать естественной песне любого вида сверчков. Однако, когда на работу в Оксфорд прибыл из Эдинбурга один из лучших в мире специалистов по акустике насекомых доктор Генри Беннет-Кларк и ознакомился с моей программой, он скривил лицо и сказал: “Фи!” Дело в том, что она

позволяла варьировать лишь последовательности звуковых импульсов, каждый из которых соответствовал одному движению трущихся друг о друга крыльев насекомого. Я даже не пытался добиться от своей программы, чтобы она позволяла воспроизводить реальные звуковые волны, возникающие при каждом движении крыльев. Именно это и вызвало у Генри такое неприятие. И он был прав. В своем нынешнем виде моя программа никак не могла воздать должное настоящим сверчкам, таким как трубачик обыкновенный, о песне которого Генри некогда писал, что, если бы можно было услышать лунный свет, он звучал бы именно так. Несколько обескураженный, я отложил свой проект с пением сверчков в долгий ящик и занялся более срочными делами (к примеру, поступившим из Кембриджа приглашением, потребовавшим от меня серьезного внимания). К сожалению, я так и не вернулся к этой работе и больше никогда уже не занимался сверчками. Мне не раз доводилось жалеть об этом. Наверное, у большинства ученых есть свои поводы для подобных сожалений – начатые, но так и не законченные проекты. Если когда-то впоследствии мне и приходила в голову мысль вернуться к своим сверчкам, осуществить ее мешал закон Мура. Компьютеры меняются столь стремительно, что, если оставить какой-либо компьютерный проект недоделанным так надолго, как я оставил свой, окажется, что все компьютеры стали намного лучше и современнее и ни на одном из них уже не будет работать старая программа. Сегодня разве что в музее мне удалось бы найти компьютер, на котором можно было бы запустить мою программу STRIDUL-8.

Грамматика поведения

Возглавляемая Тинбергеном оксфордская группа исследований поведения животных с давних пор поддерживала прекрасные отношения с соответствующим кембриджским подразделением, базировавшимся в деревне Мэдингли под Кембриджем. Группу из Мэдингли основал в 1950 году Уильям Хоман Торп – выдающийся ученый, столь чинно благородный, что напоминал духовное лицо. Его лучше всех охарактеризовал Майк Каллен, пошутивший, что, когда Торпу нужно записать птичью песню на бумаге, он делает ее переложение для органа. В 1975 году группа из Мэдингли отметила свое двадцатипятилетие проведенной в Кембридже конференцией, которую организовали Патрик Бейтсон и Роберт Хайнд, ставшие руководителями группы после ухода Торпа на пенсию, а впоследствии возглавившие два кембриджских колледжа. Многие из докладчиков, выступавших на той конференции, работали в Мэдингли в ту пору или ранее, но на нее были приглашены и некоторые специалисты из других учреждений. Мы с Дэвидом Мак-Фарлендом удостоились чести представлять на этом мероприятии Оксфорд.

В последнее время в тех редких случаях, когда я выступаю на подобных конференциях, я честно признаю́сь, что, готовясь к своему докладу, обычно просто стираю пыль с предыдущего аналогичного доклада и освежаю его. Но в 1974 году я был моложе и активнее и взялся подготовиться к юбилейной конференции группы из Мэдингли всерьез, написав для своего выступления и для сборника материалов этого мероприятия нечто совершенно новое. Тема, которую я выбрал, – “Иерархическая организация” – давно стала предметом пристального внимания этологов. Эта тема была основной в одной из самых смелых (и самых критикуемых) глав знаменитого труда Тинбергена – книги “Изучение инстинкта”. Называлась эта глава “Попытка обобщения”. Я тоже попытался обобщить результаты исследований в этой области, хотя воспользовался при этом несколько другим подходом, или, точнее, несколькими другими подходами.

Суть иерархической организации, как я ее трактовал, выражается идеей “многоуровневой вложенности”. Эту идею я могу объяснить через ее противоположность, что и постараюсь сейчас сделать. Здесь есть что-то общее с грамматикой, обсуждавшейся выше. Ход тех или иных событий (например, действий некоего животного) можно попытаться описать через цепь Маркова. Что это такое? Я не стану давать здесь строгих

математических определений, вроде того, которое дал в свое время русский математик Андрей Марков. Неформально, словами, цепь Маркова для поведения животного можно описать как последовательность, в которой действия животного в настоящее время определяются действиями, которые оно совершало в прошлом, за некое постоянное число шагов, но не ранее. В цепи Маркова первого порядка следующее действие животного можно спрогнозировать статистически, исходя исключительно из действия, которое непосредственно ему предшествовало, и не используя сведений ни о каких предпредшествующих действиях, обращение к которым нисколько не делает прогноз более точным. В цепи Маркова второго порядка обращение не только к предшествующему действию, но и действию, которое было до него, позволяет получить более точный прогноз, но сведения о действиях, совершенных еще раньше, ничего не дают. И так далее.

Иерархически организованное поведение устроено совсем иначе. Цепи Маркова (любого порядка) к нему неприменимы. Прогнозируемость такого поведения не убывает постепенно с течением времени, а интересным образом подскакивает и падает – как в случае с чистящимися падальными мухами, но еще интереснее. В некоем идеальном случае такое поведение состояло бы из отдельных блоков, в которые были бы вложены другие блоки, в которые, в свою очередь, были бы вложены третьи – и так далее. Именно это и понимается под многоуровневой вложенностью. Самый наглядный пример такой вложенности нам дает синтаксис – основа грамматики человеческого языка. Вспомним написанную мною программу, позволявшую случайным образом генерировать грамматически корректные предложения, и пример такого предложения, который я приводил:

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, *наречно глаголилось.*

Главное предложение здесь выделено курсивом. Его можно прочитать само по себе, без вложенных придаточных предложений и предложной группы, и убедиться, что оно грамматически корректно. Возможно добавлять в это предложение новые и новые вложенные блоки, причем существенно, что добавлять их можно как непосредственно внутри главного предложения, так и внутри других вложенных в него блоков. Прочитайте про себя выделенные курсивом фрагменты:

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, *наречно глаголилось.*

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, *наречно глаголилось*.

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, *наречно глаголилось.*

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, *наречно глаголилось.*

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Во всех приведенных выше случаях выделенную курсивом часть мы можем прочитать отдельно от всего остального и убедиться, что она грамматически корректна. Все остальное можно удалить, и даже если при этом изменится смысл, на грамматической корректности это не скажется.

Если же добавлять новые блоки просто по порядку, слева направо, то получаемый текст не будет грамматически корректным предложением до тех пор, пока мы не дойдем до самого конца.

Прилагательное существительное [106]

Прилагательное существительное прилагательного существительного [107]

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось [108]

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном [109]

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось [110]

Только в самом последнем случае предложение достигает завершения и становится грамматически корректным. Мне хотелось выяснить, устроено ли поведение животных по принципу

цепи Маркова или же по принципу многоуровневой вложенности, например как синтаксис, или еще каким-либо способом, предполагающим многоуровневую иерархию. Как вы понимаете, некоторые намеки на идею, стоявшую за этой работой, были получены уже в ходе наших с Мэриан предшествующих исследований, посвященных пьющим цыплятам и особенно чистящимся мухам. Теперь же, в статье, которую я готовил для сборника материалов кембриджской конференции, мне хотелось рассмотреть вопрос иерархической организации обобщенно, в теоретическом плане, но при этом опираясь также на результаты реальных исследований поведения животных.

Определив разные типы иерархии в удобных терминах математической логики, я рассмотрел возможные эволюционные преимущества иерархической организации. Чтобы проиллюстрировать то, что я назвал “преимуществом скорости эволюции”, я воспользовался придуманной лауреатом Нобелевской премии по экономике Гербертом Саймоном притчей о двух часовщиках, которых звали Темпус и Хора [111]. Часы, которые они делали, работали одинаково точно, но Темпус тратил на изготовление часов намного больше времени. Изделия обоих часовщиков состояли из 1000 деталей. Хора, работавший производительнее, пользовался в своей работе иерархическим – модульным – принципом. Вначале он изготавливал из деталей модули, каждый из которых включал 100 деталей, а затем собирал из этих модулей часы. Темпус, в свою очередь, старался соединять друг с другом все 1000 деталей последовательно, в один присест. Если он случайно терял какую-то деталь или отвлекался на телефонный звонок, вся работа шла насмарку, и ему приходилось начинать сначала. Ему очень редко удавалось доделать часы, в то время как Хора, с его иерархическим модульным методом, штамповал их одни за другими. Принцип, иллюстрируемый этой притчей, хорошо знаком всем программистам и вполне приложим также к эволюции и построению любых биологических систем.

Превозносил я и еще одну сильную сторону иерархической организации – “преимущество управления на местах”. Пытаясь управлять империей из Лондона (или, в более давние времена, из Рима), центральные власти никак не могут непосредственно руководить всем, что происходит в дальних ее уголках, потому что каналы связи (в обоих направлениях) работают слишком медленно. Вместо этого они назначают многочисленных наместников, дают им общие указания о политике, которую следует проводить, и оставляют повседневные решения на их усмотрение. Тот же самый принцип приходится применять и при

исследовании других планет с помощью автономных модулей. Расстояние между Землей и Марсом радиосигналы преодолевают за несколько минут. Предположим, что марсоход встречается на своем пути с препятствием, например каменной глыбой, и посылает на Землю сообщение, которое достигает центра управления через четыре минуты. Из центра срочно посылают ответ: “Повернуть налево, чтобы избежать столкновения”, – и этот ответ достигает марсохода еще через четыре минуты, когда он давно уже врезался в препятствие. Очевидное решение этой проблемы состоит в том, чтобы передать управление на месте бортовому компьютеру, снабдив его только общими указаниями, например такими: “Исследовать кратер на северо-западе, стараясь избегать столкновений со всеми встречающимися объектами”. Исходя из тех же соображений, если разные части Марса исследуются несколькими марсоходами, разумно передавать с Земли общие указания доставленному на Марс центральному компьютеру, который будет посылать более подробные директивы всем подчиненным ему марсоходам, координируя их деятельность, но оставляя принятие конкретных решений на местах бортовым компьютерам каждого из них. Подобные иерархические уровни используются также в армии, крупных корпорациях и, опять же, биологических системах.

В этой связи особенно радует пример гигантских динозавров, необычайно длинное туловище которых не позволяло головному мозгу быстро обмениваться сигналами с задней частью тела, где располагались огромные задние ноги, игравшие важную роль в передвижении. Естественный отбор решил эту проблему, наделив таких динозавров вторым, задним мозгом (разросшимся участком спинного мозга), расположенным в крестцовом отделе позвоночника:

Вот динозавр: могуч как кит
И справедливо знаменит –
Не только ростом всем на страх,
Но и за умственный размах.
Пусть небольшая голова,
Мозгов имел он целых два:
Один – в коробке черепной,
Другой же – сзади, под спиной.
Умел он мыслить априорно,
Умел и апостериорно.
Он был немного тугодум,
Но в нем был крепок задний ум,

И мысли мудрые вполне
Бежали по его спине.
Когда один был ум без сил,
Другой на помощь приходил.
Один забудет что-нибудь –
Другой всегда напомнит суть.
Без задней мысли или с ней
Он сам себя бывал умней
И, не подумав пару раз,
Не начинал вести рассказ.
Любой вопрос был в силах он
Обдумать сразу с двух сторон.
Но много миллионов лет
Его на свете больше нет.

Берт Лестон Тейлор
(1866–1921)

"Умело он мыслить априорно, / Умел и апостериорно," – жаль, что не я это придумал. Не так-то много написано стихотворений, где почти каждая строчка искрится таким остроумием!

Обсудив преимущества иерархической организации в целом, я перешел к вопросу о данных, указывающих на такие преимущества в частных случаях, касающихся конкретных форм поведения животных. Заново проанализировав результаты нашего с Мэриан исследования падальных мух, я обратился к сведениям о других формах поведения животных, почерпнутым из раскопанных в библиотеке литературных источников. В числе прочих там была масштабная работа о поведении рифовых рыб, а также публикации о поведении чистящих свои мордочки мышей и об ухаживании у гуппи.

Мне хотелось разработать математические методы, позволяющие выявлять иерархическую вложенность более объективно, независимо от собственных предвзятых представлений исследователя. Один из нескольких компьютерных методов, которые я придумал, описан ниже. Я назвал его "кластерный анализ взаимозаменяемости". Вначале нужно было подсчитывать частоту встречаемости переходов между разными формами поведения, а после этого особым способом анализировать полученные данные. Я вводил в компьютер таблицу, содержащую сведения о том, насколько часто за каждой формой поведения того или иного животного следует каждая из

других свойственных ему форм поведения, а затем компьютер методично анализировал эти данные в поисках *взаимозаменяемых* форм. Под взаимозаменяемостью здесь понималась возможность подставить одну форму поведения на место другой без изменений в картине частоты переходов (точнее, без достаточно существенных изменений, определяемых в соответствии с неким заранее заданным критерием). Выявив пару взаимозаменяемых форм поведения, я переименовывал обе эти формы, давая им *общее* название, в результате чего таблица переходов сокращалась: в ней оставалось на одну строку и один столбец меньше. Затем сокращенная таблица снова вводилась в программу для кластерного анализа, и та же операция повторялась столько раз, сколько требовалось, чтобы пройти весь список форм поведения исследуемого животного. Когда каждая пара форм поведения поглощалась неким кластером или каждый такой кластер поглощался следующим кластером большего размера, программа переходила на следующий узел иерархического древа. Например, на предыдущей странице показаны схемы взаимозаменяемости, полученные мною для форм поведения гуппи, изученных группой голландских исследователей под руководством профессора Герарда Берендса (который, кстати, был первым аспирантом Нико Тинбергена и впоследствии стал одним из ведущих европейских этологов).

На верхней диаграмме показаны измеренные голландскими учеными частоты переходов между разными формами поведения гуппи. Каждый кружок соответствует одной форме поведения и помечен ее кодовым названием, а толщина линий отражает частоты переходов от одной формы к другой (сплошные черные линии соответствуют переходам слева направо, а серые и штриховые – переходам справа налево). На нижней диаграмме представлены результаты ввода тех же данных в мою программу для кластерного анализа взаимозаменяемости. Число при каждом узле иерархического древа – это значение показателя взаимозаменяемости, которое я проверял на соответствие заранее заданному критерию (если вам интересно, могу сообщить, что это был коэффициент ранговой корреляции), чтобы решить, объединять или не объединять две формы поведения друг с другом. Аналогичные деревья я получил для поведения рифовых рыб, мышей, наших с Мэриан падальных мух и ряда других животных.

Еще один подход к иерархии, который я использовал в своей статье для кембриджского сборника, связан с иерархией *целей*. Это понятие рассматривается здесь широко и включает в себя не только цели, сознательно преследуемые животным (хотя и их в

том числе), но и любые закономерные результаты той или иной формы поведения. Например, целью сложной последовательности действий охотящегося гепарда можно считать успешное убийство жертвы. Такого рода цели могут быть иерархически вложены одна в другую, и один из плодотворных способов анализа поведения состоит именно в анализе их иерархии. При этом я выделял два типа правил, которым подчиняется поведение: “правила действия” и “правила остановки”. Правило действия говорит животному (или компьютеру, если речь идет о компьютерной модели поведения), что конкретно и когда ему делать, и оговаривает всевозможные условия совершения данного действия (ЕСЛИ…, ТО…; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ… – и так далее), а правило остановки говорит: “Веди себя случайным образом (или пробуй множество возможных действий) и не останавливайся, пока не будет достигнуто следующее *целевое состояние*”, – например, наполненный желудок.

Программа, задающая любую сложную форму поведения, например охоту гепарда, исключительно через правило действия, была бы до невозможности сложной. Намного проще использовать в таких программах правила остановки. Но единственного правила остановки (предписывающего вести себя случайным образом, пока не будет достигнута цель, например наполненный желудок) было бы недостаточно. Гепард, живущий по такому правилу, умер бы от старости, так ни разу и не пообедав! От программы поведения гепарда, выработанной путем естественного отбора, уместно ожидать, что она будет состоять из иерархически вложенных друг в друга правил остановки разных уровней. При этом конечная цель (наполненный желудок) будет достигаться посредством имеющих промежуточные цели вспомогательных правил остановки, таких как “Рыскай по саванне, пока в поле зрения не окажется газель”. Достижение цели “газель в поле зрения” прекратит следование данному правилу и вызовет переход к следующему: “Прижмись к земле и медленно крадись в сторону газели, пока она не окажется на расстоянии прыжка”. И так далее. Каждое из вспомогательных правил будет вызывать переход к следующему вложенному в него правилу, имеющему собственную цель. На очень низких уровнях сокращение каждой мышцы часто подчиняется аналогичному принципу, который инженеры называют “сервоуправление”. Нервная система устанавливает для мышцы цель, и мышца сокращается до тех пор, пока эта цель не оказывается достигнутой.

Понятие иерархической вложенности я уже разъяснял выше по аналогии с грамматикой языка. В конце своей статьи для

кембриджского сборника я вернулся к этой увлекательной теме и задался вопросом, свидетельствуют ли какие-либо данные о наличии некоего подобия грамматической структуры в поведении животных. Было бы очень интересно, если бы такая структура обнаружилась, потому что она могла бы пролить свет на эволюционные предпосылки возникновения языка. Нельзя ли предположить, что, когда эволюция наконец наделила людей настоящим языком с настоящим иерархическим синтаксисом, здание языка было воздвигнуто на уже готовом фундаменте нейронных структур, возникших намного раньше, по другим причинам и не имевших никакого отношения к языку?

Самую первую попытку ответить на этот вопрос предпринял в свое время мой коллега по Оксфорду – лингвист Джон Маршалл. В качестве примера поведения животных он взял ухаживание самцов голубей за самками, почерпнув данные о нем из опубликованных работ по этологии. В лексиконе голубей было семь “слов” – таких, как “кланяться” (самке), “спариваться”, и подобных. Квалификация лингвиста позволила Маршаллу предположить наличие в этом поведении “грамматики с фразовой структурой”, которую в свое время выделил в человеческом языке Хомский. Для своей статьи я перевел грамматику Маршалла на особенно нравившийся мне в то время язык программирования (с тех пор почти вышедший из употребления) – Алгол-60. Читатели, знакомые с программированием, заметят, что такая программа, опять же, должна быть в высокой степени рекурсивной, то есть процедуры в ней должны обращаться к самим себе, в чем, как я уже объяснял, и состоит самая суть иерархической вложенности. Вместо “p” в этой программе стояло “Если выполняется некое вероятностное условие, такое как 0,3, то…”.

На следующей странице вверху приведена схема “грамматики с фразовой структурой”, выделенной Маршаллом для ухаживания голубей, в середине расположен мой перевод этой грамматики на Алгол-60, а внизу – несколько примеров генерируемых моей программой последовательностей “действий”.

К сожалению, проведенный Маршаллом анализ на самом деле не позволяет делать надежные выводы о структуре поведения голубей. Откуда мы знаем, что предложенная им грамматика “корректна”? В случае с синтаксисом человеческого языка любой его носитель может сразу сказать, корректна ли его грамматика, но аналогичного механизма проверки грамматики поведения у Маршалла не было. Как и во многих моих работах того периода, моя цель была не столько в том, чтобы установить какие-либо непреложные истины о поведении конкретных животных, сколько в том, чтобы найти новые интересные

подходы, которые можно будет использовать в исследованиях поведения животных в будущем.

Статья для кембриджского сборника[112] стала для меня неким итогом, завершающим этапом первого периода моей научной карьеры, начавшегося, когда мне было чуть больше двадцати, и закончившегося, когда мне было под сорок. После этого я двинулся в совсем ином направлении и уже никогда не возвращался на математические пастбища своей молодости. Движение в этом новом направлении, определившем всю мою дальнейшую карьеру, а также практически и всю вторую половину моей жизни, началось с публикации моей первой книги – “Эгоистичного гена”.

Бессмертный ген

В 1973 году Национальный профсоюз шахтеров объявил забастовку, вызвавшую в Великобритании серьезный кризис. В ходе этого кризиса правительство консерваторов, которое возглавлял Эдвард Хит, ввело в стране так называемую трехдневную неделю. В целях экономии запасов топлива расходы электроэнергии на все нужды, кроме важнейших, были ограничены. Мы получали электричество только три дня в неделю, и то с частыми перебоями. Заниматься своей работой со сверчками без электричества я не мог, но вполне мог писать, ведь в то время я делал это с помощью портативной пишущей машинки – на таком странном материале, как белые листы так называемой бумаги. Поэтому я решил временно приостановить исследования сверчков и сесть за свою первую книгу. Так на свет появился “Эгоистичный ген”.

Эгоизм и альтруизм, а также идея “общественного договора” были в то время у всех на слуху. Те из нас, кто придерживался левых политических взглядов, пытались как-то примирить свои симпатии к шахтерам с неприятием их агрессивной тактики, делавшей все общество заложником их борьбы. Могла ли эволюционная теория что-либо сказать об этой важной дилемме? В течение предыдущего десятилетия вышел целый ряд научно-популярных книг и документальных фильмов, авторы которых предпринимали смелые попытки применить дарвиновскую теорию к проблеме альтруизма и эгоизма, а также общественного и личного блага, но при этом, к сожалению, понимали эту теорию совершенно превратно. Главная ошибка, которую все они допускали, была той или иной разновидностью “эволюционного панглоссизма”.

Покойный ныне Джон Мейнард Смит, мой друг и учитель, рассказывал о своем собственном учителе – великом Джоне Бёрдоне Сандерсоне Холдейне, что тот высмеивал популярность трех ошибочных или, по крайней мере, спорных “теорем”: теоремы тети Джобиски (из Эдварда Лира), гласящей: “Это общеизвестный факт, что…”[113], теоремы Балабона (из Льюиса Кэрролла), утверждающей: “То, что трижды сказал, то и есть”[114], и теоремы Панглосса (из Вольтера), успокаивающей, что “Всё к лучшему в этом лучшем из возможных миров”.

Эволюционные панглоссисты в общих чертах понимают, что естественный отбор неплохо работает, делая живых существ приспособленными к занятию своим делом – жизнью. Альбатросы кажутся прекрасными плодами замысла по созданию существ,

летающих над водой, а пингвины – замысла по созданию существ, летающих, напротив, под водой (я пишу эти строки на корабле в Антарктике и время от времени смотрю в бинокль на этих пернатых виртуозов). Но панглоссисты забывают (и об этом действительно нетрудно забыть), что вырабатываемая естественным отбором приспособленность относится к *особям,* а не к *видам*. Отбор и правда имеет тенденцию делать особей приспособленными к полету, плаванию, выживанию, размножению – и так далее. Но у нас нет никаких оснований ожидать, что естественный отбор будет делать *виды* приспособленными к тому, чтобы избегать вымирания, уравновешивать соотношение полов, ограничивать ради общего блага численность популяций, экономить запасы пищи и беречь окружающую среду в интересах будущих поколений. Приписывать все это естественному отбору значит впадать в панглоссизм. Более успешное выживание групп может быть следствием более успешного выживания особей, но это следствие будет лишь счастливым побочным эффектом. На выживание групп работа естественного отбора не направлена.

Впасть в эту ошибку просто, потому что мы, люди, наделены умением прогнозировать будущее и способностью судить о том, какие наши действия в дальнейшем могут пойти на пользу нашему виду, или нашему городу, или нашей стране, или всему человечеству, или какому-либо иному объединению или группе людей. Мы в состоянии предвидеть, что чрезмерный промысел рыбы в конечном итоге может повредить всем рыболовам. Мы в состоянии предугадать, что ограничение рождаемости может обеспечить нам лучшую жизнь в будущем, потому что, если людей будет меньше, в распоряжении каждого из них окажется больше ресурсов. Мы в состоянии принять решение ограничить себя в чем-либо сегодня ради выгоды, которую это принесет в будущем. Но естественный отбор прогнозировать будущее не способен.

Предлагалась, разумеется, и панглоссистская версия теории естественного отбора. Если бы она была верна, мир и правда мог бы стать чем-то вроде “лучшего из возможных миров”. Но она, к сожалению, неверна. По крайней мере одна из целей, которые я преследовал, когда писал “Эгоистичный ген”, состояла именно в том, чтобы убедить своих читателей в неверности этой версии – так называемой теории группового отбора. Этим безумно притягательным заблуждением – “великой ошибкой группового отбора” (ВОГО) – были насквозь пронизаны вышедшая в 1964 году популярная книга Конрада Лоренца “Агрессия” и бестселлеры Роберта Ардри “Территориальный императив” и “Общественный

договор”, в которых меня особенно раздражало сочетание ошибочных выводов и превосходного английского, которым они излагались[115]. Я решил написать книгу на ту же тему, что и “Общественный договор” Ардри, но основанную не на ВОГО, а на строгой теории естественного отбора. Я надеялся исправить этой книгой вред, причиненный Ардри и Лоренцем, а также множеством выходивших в то время документальных фильмов, которые с таким постоянством распространяли данное заблуждение, что в другой своей книге я даже назвал его “теоремой Би-би-си”.

Я был слишком хорошо знаком с панглоссизмом и ВОГО, потому что еженедельно сталкивался с ними в эссе своих студентов. Более того, когда я был студентом колледжа, я и сам вплетал во многие свои эссе ошибочную идею о том, что в естественном отборе по-настоящему важно именно выживание видов (и ни один из моих наставников не замечал этой ошибки). Когда я начал писать “Эгоистичный ген”, я мечтал изменить сложившееся положение дел, но меня пугало осознание, что для этого моя книга должна быть написана не хуже “Общественного договора” Ардри и продаваться не хуже “Агрессии” Лоренца. Я в шутку называл свою будущую книгу “мой бестселлер”, нисколько не веря, что она действительно станет таковым, но сознательно обуздывая свои мечтания некоторой самоиронией.

Естественный отбор – чисто механический, автоматический процесс. Этот процесс постоянно наполняет мир тем, что приспособлено к выживанию, и устраняет из него то, что к выживанию не приспособлено. Естественный отбор не умеет прогнозировать будущее, но наш мозг умеет, и именно поэтому панглоссизм обладает для нас такой притягательностью. Наш мозг может мучительно раздумывать о далеком будущем и предвидеть катастрофу грядущего столетия, которую вызовет наше безответственное поведение сегодня. Естественному отбору это недоступно. Он не в состоянии ни о чем мучительно раздумывать, а может только слепо благоприятствовать получению выгоды в ближайшем будущем, потому что каждое следующее поколение автоматически наполняется потомством тех представителей предыдущего, которые делали все, что нужно, чтобы в ближайшей перспективе произвести потомство успешнее, чем другие.

Если же внимательно и пристально рассмотреть то, что именно происходит при стремительной смене поколений, наш взор будет неумолимо привлечен к генам, на уровне которых на самом деле и работает естественный отбор. Естественный отбор автоматически благоприятствует своекорыстию тех единиц,

которые имеют шанс пройти сквозь фильтр поколений и выжить, сохранившись и в далеком будущем. В эволюции жизни на нашей планете такими единицами оказываются гены. Вот как я писал об этом в книге “Эгоистичный ген”, где ввел термин “машина выживания”, характеризующий роль, которую играют в эволюции отдельные организмы (смертные), в отличие от их генов (потенциально бессмертных):

Гены бессмертны. ‹…› ожидаемая продолжительность жизни генов должна измеряться не в десятках, а в тысячах и миллионах лет.

У видов, размножающихся половым путем, отдельная особь – слишком крупная и слишком преходящая генетическая единица, чтобы ее можно было назвать значимой единицей естественного отбора. Группа индивидуумов – еще более крупная единица. С генетической точки зрения индивидуумы и группы подобны тучам на небе или пыльным бурям в пустыне. Это временные агрегации или федерации. Они не остаются стабильными в эволюционном масштабе времени. Популяции могут сохраняться довольно долго, но они постоянно смешиваются с другими популяциями, утрачивая при этом свою идентичность. Кроме того, они подвержены эволюционному изменению изнутри. Популяция недостаточно дискретна, чтобы служить единицей естественного отбора, и недостаточно стабильна и однородна, чтобы оказаться “отобранной” в ущерб другой популяции.

Отдельный организм кажется достаточно дискретным, пока он живет, но, боже, как недолго это длится! Каждый индивидуум уникален. Эволюция невозможна, если все, чем вы располагаете, – выбор между организмами, каждый из которых имеется лишь в одном экземпляре! Половое размножение – это не репликация. Точно так же, как данная популяция “загрязнена” другими популяциями, так и потомство данного индивидуума “загрязнено” потомством его полового партнера. В ваших детях от вас лишь половина, в ваших внуках – лишь четверть. По прошествии нескольких поколений вы можете надеяться только на то, что каждый из ваших многочисленных потомков будет нести в себе маленькую частичку, полученную от вас, всего несколько генов, даже в том случае, если некоторые среди этих потомков будут носить вашу фамилию.

Индивидуумы не вечны – они преходящи. Хромосомы также уходят в небытие, подобно набору карт, розданных каждому из игроков и отыгранных вскоре после сдачи. Но с самими картами при тасовке ничего не происходит. Карты – это гены. Гены не разрушаются при кроссинговере, они просто меняют партнеров и продолжают двигаться дальше. Конечно, они движутся дальше.

Это их работа. Они – репликаторы, а мы – машины, необходимые им для того, чтобы выжить. После того как мы выполнили свою задачу, нас отбрасывают. Но гены – выходцы из геологического времени, они здесь навеки.

Я уверился в истинности этой мысли десятилетием ранее, еще в 1966 году, сформулировав ее почти слово в слово в той лекции для студентов колледжа, о которой рассказывал в одной из предыдущих глав. На с. 235 я уже вспоминал, как упражнялся в красноречии, пытаясь убедить студентов, что бессмертие генов неизбежно следует из логики естественного отбора. Вот мои слова из той лекции. Можете убедиться, насколько похожи они на соответствующий, но более витиеватый отрывок из “Эгоистичного гена”.

В каком-то смысле гены бессмертны. Они передаются из поколения в поколение, перетасовываясь при каждой передаче от родителей потомкам. Организм всякого животного – лишь временное пристанище его генов, дальнейшее выживание которых зависит от выживания этого организма по крайней мере до тех пор, пока он не оставит потомства, передав их другому организму. ‹…› гены строят себе временное жилище, которое само по себе недолговечно, но служит им ровно столько, сколько нужно ‹…›. Итак, если использовать термины “эгоистичный” и “альтруистичный”, то один из базовых выводов, вытекающих из положений ортодоксального неодарвинизма, будет состоять в том, что *гены должны быть “эгоистичны”*.

Недавно я нашел текст этой своей лекции 1966 года (с той самой ободряющей пометкой Майка Каллена на полях) и с удивлением осознал, что, готовясь к лекции, я еще не читал книгу Джорджа Уильямса “Адаптация и естественный отбор”, опубликованную в том же году[116]:

Когда умер Сократ, перестал существовать не только его фенотип, но и его генотип. ‹…› Значение этой утраты не умаляется тем, что Сократ мог оставить многочисленное потомство. Даже если его гены по-прежнему с нами, его генотипа больше нет, потому что мейоз и рекомбинация разрушают генотипы так же неумолимо, как смерть.

При половом размножении потомкам передаются лишь разрозненные фрагменты генотипа, которые снова дробятся на фрагменты при мейозе в следующем поколении. Если в них и можно выделить какую-либо далее неделимую единицу, то это (по определению) *ген*, как его понимают в отвлеченных терминах популяционной генетики.

Когда я наконец прочитал замечательную книгу Уильямса (стыдно признаться, лишь несколько лет спустя), строки о

Сократе произвели на меня сильное впечатление, и, работая над своей книгой, я всячески воздавал должное значимости Уильямса, наряду с Гамильтоном, для развития представлений об эгоистичных генах.

Уильямс и Гамильтон обладали довольно схожими характерами: они оба были тихими, замкнутыми, скромными, глубокомысленными. Уильямс отличался достоинством и осанкой, многим людям напоминавшими Авраама Линкольна (возможно, также благодаря высокому лбу и характерной бородке). Гамильтон скорее вызывал в памяти милновского Иа-Иа. Но, когда я писал "Эгоистичный ген", я еще не был знаком ни с Уильямсом, ни с Гамильтоном: я знал их лишь по публикациям, но уже сознавал огромную роль этих публикаций в развитии наших представлений об эволюции.

Поскольку гены потенциально бессмертны, если считать бессмертием сохранение точных копий, то разница между успешными и неуспешными генами принципиальна: именно она имеет значение в долгосрочной перспективе. Мир наполняется теми генами, которые хорошо приспособлены к тому, чтобы существовать и передаваться из поколения в поколение. На практике это означает хорошую способность сотрудничать с другими генами в деле строительства организмов, обладающих всем необходимым для выживания достаточно долгого, чтобы оставить потомство. При этом сами организмы представляют собой недолговечные машины, которые передают дальше сидящие в них гены. В "Эгоистичном гене" я постоянно использовал для обозначения организма свой термин "машина выживания". Организм – это то, что реально действует: передвигается, демонстрирует то или иное поведение, занимается поисками, охотится, плавает, бегает, летает, выкармливает детенышей. И самое лучшее объяснение всех действий организма исходит из представления, что он запрограммирован катающимися в нем генами на то, чтобы сохранять их и передавать дальше до того, как сам этот организм умрет.

В своей книге я называл организмы "машинами выживания" и просто "машинами". В связи с этим мне вспоминается один забавный случай, когда ко мне приехала команда телевизионщиков из Японии, чтобы взять интервью об "Эгоистичном гене". Все они прибыли в Оксфорд из Лондона, набившись в одно черное такси, из каждого окна которого торчали треножники, прожектора и чуть ли не руки и ноги. Режиссер сообщил мне на ломаном английском (прибывшего с ним переводчика я вообще понять не мог, и он был с позором изгнан), что хочет снять меня разъезжающим по Оксфорду на

такси. Это меня озадачило, и я спросил почему. “Хо! – ответил озадаченный, в свою очередь, режиссер. – Разве вы не автор *таксомоторной теории эволюции*?” Впоследствии мне пришло в голову, что японские переводчики моих книг, вероятно, перевели слово “машина” (*vehicle*) как “таксомотор”.

Само интервью тоже вышло довольно забавным. Я разъезжал на такси в одиночестве, если не считать оператора и звукооператора. За неимением официального переводчика не было и интервьюера, и меня попросили просто рассказывать что угодно об “Эгоистичном гене”, пока машина ехала по живописным улицам Оксфорда. Можно не сомневаться, что карта Лондона была надежно сохранена в памяти таксиста его внушительным гиппокампом, но Оксфорда он не знал. Поэтому мне пришлось выступать также в роли навигатора, и мой в остальном размеренный рассказ об эгоистичных генах то и дело прерывался моими же отчаянными возгласами “Здесь налево!” или “За светофором направо, а там во второй ряд!” Надеюсь, что незадачливого переводчика удалось отыскать до того, как вся команда вернулась в Лондон.

Я раскритиковал в “Эгоистичном гене” такой панглоссизм как идею о том, что у животных есть своего рода дар предвидения, позволяющий им преследовать долгосрочные интересы своего вида или группы. Проблема здесь не в том, что животные не могут сознательно “преследовать долгосрочные интересы”. Никто и не считает, что они делают это сознательно. Проблема в том, что многие ошибочно полагают, будто единицей, на максимальный успех которой работают эволюционные механизмы, может оказаться вид или группа. Биологи нередко с полным на то основанием пользуются метафорами вроде “преследования интересов”, подразумевая результаты действия дарвиновских механизмов. Но не всем удается правильно выделить тот уровень в иерархии жизни, на котором подобные метафоры применимы. Дарвиновские механизмы, как мы их теперь понимаем, предполагают возможность мысленно поставить себя на место отдельной особи и задаться вопросом: “Что нужно сделать в интересах распространения моих генов в следующих поколениях?”

В “Эгоистичном гене” полно воображаемых монологов, в которых то или иное гипотетическое животное “рассуждает”: “Следует ли мне поступить *так* или *эдак*?” Это “следует ли мне” означает не что иное, как “будет ли лучше для моих генов”. И так вполне можно говорить, но только оттого, что подобный вопрос можно переформулировать следующим образом: “Станет ли ген, заставляющий особь поступить *так* (в данной ситуации), чаще

встречаться в генофонде?” Подобные монологи оправданны именно потому, что их можно переформулировать в терминах выживания генов.

Кто-то может понять вопрос “Следует ли мне поступить *так* или *эдак*?” как “Следует ли мне поступить *так* или *эдак*, чтобы продлить свою собственную жизнь?”. Но если долгая жизнь будет достигаться в ущерб размножению, то есть если долгожительство особи будет противопоставлено выживанию ее генов, естественный отбор не поддержит его. Размножение бывает опасным делом. Самцы фазанов обладают великолепной окраской для привлечения самок, но эта окраска привлекает и хищников. Тускло окрашенный, малозаметный самец, вероятно, проживет дольше, чем ярко окрашенный и неотразимо привлекательный. Но первый с большей вероятностью умрет, не оставив потомства, поэтому гены, делающие фазанов мужского пола безопасно тусклыми, с меньшей вероятностью передадутся следующим поколениям. При естественном отборе принципиальное значение имеет именно выживание генов.

Вот какие слова можно было бы с полным основанием вложить в клюв самца фазана: “Если я отращу себе тусклое оперение, я, вероятно, долго проживу, но не найду себе пары. Если же я отращу себе яркое оперение, то, вероятно, погибну молодым, но успею передать своим потомкам множество генов, в том числе гены яркого оперения. Следовательно, я должен «принять решение» отрастить яркое оперение”. Стоит ли говорить, что слова “принять решение” здесь означают не то, что обычно понимают под этими словами люди, когда имеют в виду себя? Осознанный выбор здесь не задействован. Подобные метафоры, относящиеся к уровню организма, могут сбивать с толку, но их позволительно использовать, если всегда помнить, как их можно переформулировать в терминах выживания генов. Ни один фазан на самом деле не решает, яркое или тусклое оперение ему отращивать. Но гены, делающие оперение ярким или тусклым, имеют разную вероятность выживания и передачи следующим поколениям фазанов.

Когда мы пытаемся разобраться в действиях животных, исходя из современных представлений о дарвиновских механизмах, бывает весьма удобно рассматривать самих животных как роботов, “думающих”, какие шаги им предпринять для передачи своих генов следующим поколениям. Такие шаги могут включать определенные формы поведения или отращивание органов определенного строения. Кроме того, бывает удобно метафорически представлять себе *гены*, “думающие”, какие шаги им предпринять для собственной

передачи следующим поколениям. Такие шаги обычно включают воздействие на отдельные организмы путем изменения процессов эмбрионального развития.

Но у нас нет никаких оснований даже *метафорически* представлять себе животных, думающих о том, какие шаги им предпринять для сохранения своего вида или своей группы. Естественный отбор не предполагает избирательного выживания групп или видов. Он включает в себя лишь избирательное выживание генов. Поэтому уместны такие метафоры, как: “Если бы я был неким геном, что бы я сделал для собственного сохранения?” – или (в идеале означающие в точности то же самое): “Если бы я был неким организмом, что бы я сделал для сохранения своих генов?” Но совсем неуместны метафоры, подобные следующей: “Если бы я был неким организмом, что бы я сделал для сохранения своего вида?” Аналогичным образом неуместны (хотя и по другой причине) такие метафоры: “Если бы я был видом, то что бы я сделал для собственного сохранения?” Последняя метафора не годится потому, что виды, в отличие от отдельных организмов, даже в метафорическом смысле не ведут себя как деятельные существа, делающие что-либо, исходя из принятых решений. У видов нет ни мозгов, ни мышц, они представляют собой лишь наборы отдельных организмов, у которых мозги и мышцы имеются. Виды и группы – это не “машины”, в которых ездят гены. А вот организмы – “машины”.

Стоит отметить, что ни в своих лекциях, которые я читал в шестидесятых годах, ни в “Эгоистичном гене” я не подавал идею о гене – фундаментальной единице естественного отбора как что-то особенно новое. Я считал ее (прямым текстом говоря об этом) одним из положений, подразумеваемых ортодоксальным неодарвинизмом, то есть теорией эволюции, как она была впервые сформулирована в тридцатых годах Фишером, Холдейном, Райтом и другими отцами-основателями так называемой синтетической теории эволюции, в числе которых были также Эрнст Майр, Феодосий Добржанский, Джордж Гейлорд Симпсон и Джулиан Хаксли. Лишь позже, уже после публикации “Эгоистичного гена”, как критики, так и поклонники этой идеи стали считать ее революционной. В то время она не казалась мне таковой.

При этом, однако, следует добавить, что не все отцы-основатели синтетической теории эволюции сами четко представляли себе это важное положение, подразумеваемое совместно разработанной ими теорией. Такой влиятельный ученый-систематик, как Эрнст Майр, немец, работавший в Америке, прожил больше ста лет, но до последнего продолжал

враждебно отзываться об идее гена как единицы отбора. Из его возражений у меня создавалось ощущение, что он превратно ее понимал. А Джулиан Хаксли, предложивший для неодарвинизма название “современный синтез”[117], был, сам того до конца не осознавая, закоренелым приверженцем идеи группового отбора. Еще в студенческие годы, едва познакомившись с великим Питером Медаваром, я был поражен, услышав прелестное святотатство, высказанное в характерной для него манере, исполненной достоинства и одновременно проказливой: “Беда Джулиана в том, что на самом деле он не *понимает*, в чем суть эволюции”. Сказать такое – об одном из Хаксли! Я не поверил своим ушам и, как вы можете убедиться, до сих пор не забыл этот случай. Впоследствии я услышал подобное мнение (хотя и не о Хаксли) от еще одного нобелевского лауреата, французского специалиста по молекулярной биологии Жака Моно, который сказал: “Беда с естественным отбором в том, что все *думают*, будто понимают, что это такое”.

Я уже упоминал, что начал работать над “Эгоистичным геном” во время вынужденного перерыва в своих опытах со сверчками из-за отключений электричества. У меня была завершена только первая глава, когда я случайно познакомился с одним из редакторов издательства “Аллен энд Ануин”. Он прибыл на оксфордское отделение зоологии с регулярным визитом для переговоров о возможных публикациях книг, и я рассказал ему о своем находящемся в зачаточной стадии проекте. Он сел и тут же прочитал мою первую главу, которая ему понравилась, после чего посоветовал мне непременно продолжать. Но вскоре (в каком-то узком смысле – к сожалению, а в других смыслах – к счастью) забастовки прекратились, и электричество снова включили. Я засунул написанную главу в ящик и забыл о ней, вернувшись к своим исследованиям сверчков.

В течение следующих двух лет я время от времени думал, не вернуться ли мне к работе над книгой. Особенно сильно мне этого хотелось, когда я читал и освещал в своих лекциях новые публикации, которые начали появляться в начале семидесятых и оказались замечательно созвучными замыслу моей зарождавшейся книги. Наиболее примечательными были статьи молодого американского биолога Роберта Триверса и заслуженного британского профессора Джона Мейнарда Смита. Оба автора успешно использовали упоминавшийся парой страниц выше мысленный прием (философ Дэниэл Деннет теперь назвал бы это интуитивным насосом)[118]: представлять себе, что отдельный организм ведет себя так, будто сознательно вычисляет наилучшую тактику для сохранения и умножения своих генов.

Триверс рассматривал каждое животное так, *как будто* оно намеренно рассчитывает применительно к своим действиям то, что экономисты называют альтернативными издержками. Каждый детеныш требует определенных издержек, таких как пища (учитывая время и усилия, затраченные на ее добывание) или защита от хищников и связанный с нею риск. Триверс объединил все эти издержки в один параметр, который назвал родительским вкладом (*parental investment*), или РВ. Важнейшее наблюдение Триверса состояло в том, что РВ неизбежно подразумевает *альтернативные издержки*, то есть вклад в каждого детеныша следует оценивать через *упущенные* в ходе его выращивания *вложения в других детенышей*. На основе этих представлений Триверс разработал остроумную теорию конфликта родителей и потомства. В соответствии с этой теорией, например, решение о том, когда матери перестать кормить детеныша молоком, должно быть предметом "разногласий" между матерью и детенышем, которые будут вести себя как последовательные экономисты, чья "функция выгоды" есть долгосрочное выживание собственных генов. Мать "хочет" перестать кормить детеныша молоком раньше, чем этого "хочет" детеныш, потому что для нее бóльшую, чем для него, "ценность" имеют его будущие братья и сестры, которым будет выгодно, чтобы его раньше перестали кормить. Для самого детеныша будущие братья и сестры тоже имеют "ценность", но вдвое меньшую, чем для его матери, – в соответствии с правилом Гамильтона. Поэтому ближе к концу кормления детеныша молоком наступает конфликтный период – непростой этап перехода от фазы, когда обе стороны "согласны", что кормление должно продолжаться, к фазе, когда обе стороны "согласны", что его пора прекратить. В течение конфликтного периода, когда мать "хочет" перестать кормить детеныша молоком, а детеныш "не хочет" этого, мы должны наблюдать в поведении животных признаки скрытой битвы. Кстати, замечу, что через много лет после публикации "Эгоистичного гена" австралийский биолог Дэвид Хейг остроумно продемонстрировал, что многие нарушения беременности можно объяснить подобным триверсовским конфликтом, происходящим в утробе матери, только в данном случае касающимся не прекращения кормления молоком, а другими аспектами распределения ресурсов, которых всегда не хватает.

Тема конфликта родителей и потомства подходила для моей книги как нельзя лучше, и уже упомянутая блистательная статья Триверса стала одним из стимулов, побудивших меня достать рукопись первой главы из ящика, где она томилась со времен окончания последней забастовки. Теперь этой теме посвящена

восьмая глава “Эгоистичного гена” (“Битва поколений”). Девятая глава (“Битва полов”) тоже содержит идеи Триверса, в данном случае касающиеся разницы в воображаемых вычислениях самцами и самками своих альтернативных издержек. Например, в какой ситуации самец может бросить свою спутницу с ребенком “на произвол судьбы” ради поиска другой самки? Триверс также повлиял на десятую главу (“Почеши мне спину, а я тебя оседлаю”). Его статья по теме этой главы – взаимном альтруизме – была одной из первых, в которых было показано, что родственный отбор не единственный эволюционный фактор, способствующий альтруизму. Огромную роль в возникновении альтруизма может также играть взаимность (плата добром за добро), работающая, в отличие от родственного отбора, и в межвидовых взаимодействиях. Так Триверс, наряду с Гамильтоном и Уильямсом, оказался в числе четырех авторов, более всех повлиявших на “Эгоистичный ген”. Кроме того, я попросил Триверса написать предисловие к моей книге, что он любезно согласился сделать, хотя к тому времени мы с ним еще ни разу не встречались.

Четвертым был Джон Мейнард Смит, впоследствии ставший одним из моих любимых наставников. Еще в детстве мне попала в руки его книга, которую он называл “мой маленький пингвин”[119], и на меня произвела большое впечатление фотография улыбающегося автора: настоящий чокнутый профессор с гривой волос, так же косо сидящей у него на голове, как и трубка, сидящая у него во рту, и в толстых круглых очках, которые не худо было бы протереть. Этот типаж сразу вызвал у меня симпатию. Еще мне понравилась биографическая справка, сообщавшая, что когда-то он работал авиаинженером, но бросил это дело и снова поступил в университет, чтобы получить биологическое образование, поскольку заметил, что “авиация – это шумно и старомодно”. Много лет спустя издательство Кембриджского университета подготовило новое издание той книги (“Теория эволюции”), и мне оказали высокую честь, доверив написать к ней предисловие[120]. В нем я рассказал об этом светлом человеке следующее:

Читатели “университетских романов” знают, что конференции – это мероприятия, где ученые показывают себя с наихудшей стороны, особенно когда собираются в баре, который демонстрирует нам научное сообщество в миниатюре. Они разбиваются на группки, распределяются по потайным углам и ведут задушевные беседы не о науке, а о “бессрочных контрактах” (так они называют работу) и “финансировании” (так они называют деньги). Если же им все-таки случается говорить на

профессиональные темы, очень часто они делают это не для того, чтобы поделиться знаниями, а лишь для того, чтобы произвести впечатление. Джон Мейнард Смит представляет собой замечательное, блестящее, великолепное исключение из этого правила. Он ценит яркие идеи больше денег, а понятный язык – больше наукообразного жаргона. Вокруг него всегда собирается толпа активных, смеющихся студентов и молодых ученых обоих полов. Выбросьте из головы доклады и семинары, к черту автобусные экскурсии к местным достопримечательностям, забудьте о проекторах и радиомикрофонах: если вы организуете конференцию, по-настоящему нужно совсем немногое – чтобы там был Джон Мейнард Смит и чтобы нашелся добротный просторный бар. Если окажется, что намеченные вами даты ему неудобны, необходимо перенести конференцию на другие дни. Не обязательно, чтобы он официально выступил с докладом (хотя он делает это потрясающе), и не обязательно, чтобы он председательствовал на одной из сессий (хотя и это он делает замечательно, да к тому же ведет сессии вдумчиво и доброжелательно, украшая их остроумными замечаниями). Чтобы ваша конференция удалась, достаточно, чтобы он в ней участвовал. Он очарует и развлечет молодых ученых, выслушает их, вдохновит, поддует угасающий интерес, и они отправятся по своим лабораториям или по своим грязным полям, исполненные живого энтузиазма, и увлеченно будут проверять новые идеи, которыми он с ними щедро поделился.

Однако в самом начале мои отношения с Джоном были не такими уж радужными. Я познакомился с ним в 1966 году, когда проходил у него собеседование в Сассекском университете. Он был там деканом биологического отделения, на которое у меня был шанс устроиться на работу. В то время я уже более или менее решил, что поеду в Беркли. Но в Сассексе освободилось место, и работавший там Ричард Эндрю, тоже занимавшийся поведением животных, всячески уговаривал меня подать заявку на вакантную должность. Мне это было лестно, и, хотя я сказал Ричарду, что, скорее всего, поеду в Беркли, он заверил меня, что ничего плохого не будет, если я все-таки съезжу в Сассекс на собеседование. И я подумал: “Черт возьми, почему бы и нет?” Боюсь, что такое отношение к работе, на которую я пытался устроиться, произвело плохое впечатление на Мейнарда Смита. В ходе собеседования я заявил, что не буду читать лекции по систематике животных. Он ответил, что это одна из обязанностей того, кто получит обсуждаемую должность, на что я довольно нахально сообщил, что мне уже предложили работу в Беркли и я вообще не знаю, зачем прохожу это собеседование. Он не

обиделся и доброжелательно общался со мной позже за обедом, на который они с Ричардом Эндрю меня пригласили, но все же, как я уже сказал, это было не самое хорошее начало отношений, впоследствии, впрочем, переросших в искреннюю дружбу.

В начале семидесятых Мейнард Смит начал работу над большой серией статей, в которой он и его соавторы, в частности Джеффри Паркер и Джордж Прайс, разработали для решения ряда эволюционных проблем новую версию математической теории игр. Их идеи великолепно сочетались с представлениями об эгоистичных генах, и статьи Мейнарда Смита тоже послужили для меня одним из главных стимулов, заставивших смахнуть пыль с заброшенной рукописи первой главы и написать целую книгу.

Главным вкладом Мейнарда Смита в мою книгу стала концепция эволюционно стабильной стратегии (ЭСС). Под стратегией здесь понимается запрограммированное правило. Мейнард Смит разработал математические модели, в которых подобные стратегии, получившие такие названия, как (для конкретного случая соперничества между животными) Ястреб, Голубь, Отпорщик или Задира, испытываются в виртуальном мире, где они взаимодействуют друг с другом. Опять же, здесь важно понимать, что при этом отнюдь не предполагается, будто животные, следующие подобным стратегиям, делают это сознательно или понимают, зачем это нужно. Но каждая стратегия встречается в популяции с некоторой *частотой* (как гены в генофонде, хотя в подобных моделях связь стратегий с ДНК в явном виде не задействована). Эти частоты меняются в зависимости от выигрышей и штрафов. В социологии и экономике, для которых первоначально и была разработана теория игр, выигрыш можно рассматривать в денежном эквиваленте. В эволюционной теории игр выигрыш имеет особое значение: он предполагает репродуктивный успех, то есть высокий выигрыш той или иной стратегии приводит к повышению ее частоты в популяции.

Но вот что главное – успешной стратегией совсем не обязательно оказывается та, которая побеждает в тех или иных конкретных состязаниях с другими стратегиями. Успешной становится та, что в итоге начинает преобладать в популяции. А поскольку численно преобладающая стратегия по определению будет чаще всего сталкиваться с представителями *ее самой*, она останется преобладающей лишь в том случае, если окажется успешной во взаимодействиях с представителями ее же самой. Именно в этом и состоит эволюционная стабильность, предполагаемая эволюционно стабильной стратегией Мейнарда

Смита. ЭСС должны быть широко распространены в природе, потому что, если стратегия эволюционно *не*стабильна, она будет постепенно вытесняться из популяции более успешными стратегиями, размножающимися быстрее.

Я не стану подробно рассказывать здесь об эволюционной теории игр, потому что уже сделал это в “Эгоистичном гене”, это же касается и идей Триверса о родительском вкладе. Здесь достаточно просто упомянуть, что работы Триверса и Мейнарда Смита, опубликованные в начале семидесятых, оживили мой интерес к идеям Гамильтона, вдохновившим меня в шестидесятых, и заставили вернуться к работе над книгой, первая глава которой провалялась в ящике стола с тех пор, как закончились забастовки и отключения света. Эволюционная теория игр Мейнарда Смита стала главной темой главы об агрессии и источником моего вдохновения при обсуждении многих других тем в последующих главах.

И вот наконец в 1975 году, завершив статью об иерархической организации, я взял полагавшийся мне годичный отпуск и каждое утро садился дома за пишущую машинку, погружаясь в работу над “Эгоистичным геном”. Надо сказать, что я так углубился в эту работу, что пропустил заседание сотрудников Нового колледжа, на котором состоялись выборы нового директора. Один из моих коллег ненадолго покинул заседание, чтобы по телефону сообщить мне, что голоса должны разделиться почти поровну, и умолять меня поскорее прийти. Теперь мне представляется, что, хотя отпуск и позволял мне отсутствовать на том заседании, с моей стороны это было самонадеянно и безответственно. Я потратил бы всего несколько часов, а последствия моего никому не отданного голоса могли бы ощущаться многие годы. По счастью, в итоге избран был все же именно тот человек, за которого я стал бы голосовать (причем он оказался замечательным директором), так что моя совесть свободна от груза вины за измененный ход истории колледжа. На самом деле его соперник тоже был бы отличным директором, а кроме того, сделал бы последующие заседания весьма забавными, потому что по праву считался самым остроумным человеком во всем Оксфорде.

Я писал “Эгоистичный ген” в состоянии творческой горячки. Завершив три или четыре главы, я обратился к своему другу Десмонду Моррису с просьбой помочь мне с изданием книги. Будучи сам феерически успешным автором, Моррис без труда устроил мне свидание с заслуженным лондонским издателем Томом Машлером. Я встретился с ним в его заставленном книгами кабинете с высоким потолком в здании издательства

“Джонатан Кейп” в Лондоне. Машлер прочитал написанные мною главы, и они ему понравились, но он стал уговаривать меня изменить название, объясняя, что слово “эгоистичный” имеет “негативную окраску”. Не лучше ли было бы назвать мою книгу “Бессмертный ген”? Теперь мне кажется, что он, возможно, был прав. Не могу вспомнить, почему я не последовал его совету. Мне, наверное, стоило это сделать.

Как бы там ни было, в итоге я не стал обращаться к нему со своей книгой, потому что проблема ее издания вскоре вышла из-под моего контроля. Однажды за обедом в Новом колледже профессор теоретической физики Роджер Эллиотт (теперь сэр Роджер) сказал мне, что слыхал о моей работе над книгой, и расспросил меня о ней. Я немного рассказал ему о своем замысле, и было похоже, что он заинтересовался. Эллиотт был членом совета представителей при издательстве Оксфордского университета, и он сообщил о моей книге Майклу Роджерсу, превосходному редактору, поистине достойному этого древнего издательства. Майкл написал мне и попросил прислать ему уже написанные главы. Я так и сделал.

Дальнейшее было подобно урагану. Все началось с характерного громкого голоса по телефону: “Я прочитал ваши главы. С тех пор не могу спать. Я ДОЛЖЕН ИЗДАТЬ ЭТУ КНИГУ!” Может быть, кого-то и оттолкнул бы подобный способ убеждать, но только не меня. Майкл явно был издателем в моем вкусе. Я подписал договор и с удвоенным усердием продолжил работу над книгой.

Ныне мне трудно понять, как нам удавалось нести груз литературного труда в докомпьютерную эпоху. Едва ли не каждое предложение, которое я пишу, я затем переписываю, играя словами, меняя их порядок, вычеркивая и перерабатывая. Я перечитываю свои тексты как одержимый, подвергая их чему-то вроде дарвиновского отбора, который, как я полагаю и надеюсь, улучшает их с каждым разом. Даже набирая новое предложение, я удаляю и меняю не меньше половины слов еще до того, как довожу его до конца. Я всегда так делал. Но если компьютер подходит для такого стиля работы как нельзя лучше и сам текст после каждого редактирования остается чистым и красивым, при использовании пишущей машинки из него получалась ужасная мешанина. Ножницы и скотч шли в ход не реже, чем сама машинка. Разрастающийся машинописный текст моей книги был испещрен зачеркиваниями в виде “xxxxxxx”, рукописными вставками, кружками и стрелочками, переносящими фрагменты в другое место, и полосками бумаги, неизящно подклеенными на полях и внизу страниц. В наши дни можно подумать, будто одно

из необходимых условий сочинительства состоит в том, чтобы у автора была возможность легко читать свой собственный текст. Пока мы работали на бумаге, это казалось невозможным. Но самое загадочное, что с тех пор, как появились компьютеры и текстовые процессоры, литературный стиль в целом как будто нисколько не улучшился. Как же так?

"Эгоистичный ген" был дважды начисто перепечатан на машинке руками Пэт Серл, заботливой секретарши, работавшей у нас в группе исследований поведения животных. Оба чистовых варианта направлялись Майклу Роджерсу и возвращались от него с полезными рукописными замечаниями. В частности, он вычеркнул некоторые напыщенные фрагменты, в которых мне по молодости и от избытка энтузиазма совершенно не удалось соблюсти меру. Питер Медавар, сравнивая ученого с органистом, писал, что "пальцы представителя естественных наук, в отличие от пальцев историка, никогда не должны соскальзывать в сторону восьмифутового регистра". Заключение второй главы "Эгоистичного гена" осталось одним из самых витиеватых пассажей в научно-популярной литературе, и мне стыдно вспоминать (к счастью, не сохранившийся) абзац, который следовал за ним. Вот тот умеренно напыщенный фрагмент, который устоял против редакторского карандаша Майкла, прошедшегося по крайностям моего текста. Вторая глава посвящена возникновению жизни и самозарождению в первичном бульоне "репликаторов", которые затем переселились в мир "машин выживания" – живых организмов.

Должен ли был иметься какой-то предел постепенному совершенствованию способов и материальных средств, использовавшихся репликаторами для продолжения собственного существования на свете? Времени для совершенствования, очевидно, было предостаточно. А какие фантастические механизмы самосохранения принесут грядущие тысячелетия? Какова судьба древних репликаторов теперь, спустя четыре миллиарда лет? Они не вымерли, ибо они – непревзойденные мастера в искусстве выживания. Но не надо искать их в океане, они давно перестали свободно и непринужденно парить в его водах. Теперь они собраны в огромные колонии и обитают в полной безопасности в гигантских неуклюжих роботах, отгороженные от внешнего мира, общаясь с ним извилистыми непрямыми путями и воздействуя на него с помощью дистанционного управления. Они присутствуют в вас и во мне. Они создали нас, наши души и тела, и единственный смысл нашего существования – их сохранение. Они прошли длинный путь, эти репликаторы. Теперь они существуют под названием

генов, а мы служим для них машинами выживания.

Этот абзац кратко описывает главную метафору, которая легла в основу всей книги, а кроме того, передает ее научно-фантастический дух. Я даже начал свое предисловие со слов о научной фантастике:

Эту книгу следует читать почти так, как если бы это была научная фантастика. Она задумана с целью поразить воображение. Но это не научная фантастика, это наука. Мое отношение к правде точно выражает избитая фраза “превосходит самую смелую фантазию”. Мы всего лишь машины для выживания, самоходные транспортные средства, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных под названием генов. Это истина, которая все еще продолжает изумлять меня. Несмотря на то что она известна мне уже не один год, я никак не могу к ней привыкнуть. Хочется надеяться, что мне хотя бы удастся привести в изумление других.

Похожим настроением проникнуто и начало первой главы:

Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Если высшие существа из космоса когда-либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся с целью установить уровень нашей цивилизации, будет: “Удалось ли им уже открыть эволюцию?” Живые организмы существовали на Земле, не зная для чего, более трех миллиардов лет, прежде чем истина осенила наконец одного из них. Это был Чарльз Дарвин.

Нико Тинбергену, когда моя книга вышла и он прочитал ее, очень не понравились эти строки. Ему была противна сама мысль о человечестве как о разумном виде – так тяжело ему было осознавать, какое чудовищное воздействие мы оказали и продолжаем оказывать на окружающий мир. Но я же писал не об этом.

Мне следует кое-что сказать и о последней главе (“Мемы – новые репликаторы”). Учитывая, что во всех остальных главах основная роль отводилась генам, этим ведущим актерам театра эволюции, важно было, чтобы у читателя не создалось ощущения, будто репликатор непременно должен состоять из ДНК. Продолжая научно-фантастическую тему, которой открывалась моя книга, я обратил внимание на то, что на других планетах жизнь может эволюционировать за счет совсем иной системы самовоспроизведения, но эта система, какой бы она ни была, должна обладать определенным рядом свойств, таких как высокая точность копирования.

Если бы в 1975 году уже были изобретены компьютерные вирусы, я мог бы привести в качестве примера именно их. Но их

еще не было, и в поисках аналога я обратил внимание на такой новый первичный бульон, как человеческая культура:

Но надо ли нам отправляться в далекие миры в поисках репликаторов иного типа и, следовательно, иных типов эволюции? Мне думается, что репликатор нового типа недавно возник именно на нашей планете. Пока он находится в детском возрасте, еще неуклюже барахтается в своем первичном бульоне, но эволюционирует с такой скоростью, что оставляет старый добрый ген далеко позади.

Новый бульон – это бульон человеческой культуры. Нам необходимо имя для нового репликатора, существительное, которое отражало бы идею о единице передачи культурного наследия, или о единице *имитации*. От подходящего греческого корня получается слово “мимема”, но мне хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои получившие классическое образование друзья простят мне, если я сокращу слово “мимема” до “мем”. Можно также связать его с “мемориалом”, “меморандумом” или с французским словом même [121]. Его следует произносить в рифму со словом “крем”.

Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать *имитацией*.

Далее я обсудил различные способы применения идеи мемов, например распространение религии и ее передачу из поколения в поколение. При этом я видел свою главную задачу вовсе не в том, чтобы внести вклад в культурологию, а лишь в том, чтобы развенчать возможное ложное впечатление о генах как о единственных мыслимых репликаторах, которые могут лежать в основе работы дарвиновского механизма эволюции. Таким образом я пытался продвигать идею “вселенского дарвинизма” (так была озаглавлена моя более поздняя статья, основанная на лекции, которую я прочитал в 1982 году на конференции, приуроченной к столетию со дня смерти Дарвина). Тем не менее мне приятно, что философ Дэниэл Деннет, психолог Сьюзан Блэкмор и другие исследователи столь плодотворно продолжили разработку концепции мема. Издано уже более 30 книг, в названиях которых фигурирует слово “мем”, включенное ныне и в “Оксфордский словарь английского языка” (где применяют в качестве критерия факт использования слова в значительном числе публикаций без ссылок на автора и без определения).

Подготовка к публикации первой книги – головокружительная пора в жизни молодого автора. Много раз мне приходилось заходить в величественное здание издательства в стиле неоклассицизма на Уолтон-стрит, а иногда я ездил и в его лондонскую контору на Довер-стрит, где встречался с разными сотрудниками, задействованными в непростом деле производства книги, дизайна, рекламы и так далее. Когда дошло до обложки, научно-фантастический дух моей книги снова привел меня к дверям изящного дома с портиком Десмонда Морриса в северном пригороде Оксфорда. Десмонд – не только биолог, телеведущий, собиратель антропологических реликвий, непревзойденный рассказчик (неправдоподобных) историй[122] и автор бестселлеров, но и признанный художник-сюрреалист. Его картины создают безошибочное ощущение биологического взгляда на мир. Созданный им сюрреалистический ландшафт населен потусторонними существами, которые живут, передвигаются и эволюционируют – правда эволюционируют, ведь они меняются от картины к картине. Это было именно то что нужно для “Эгоистичного гена”. Десмонду было приятно, что я предложил ему стать дизайнером обложки моей книги, и мы с Майклом Роджерсом принялись рассматривать работы, висевшие у него на стенах и стоявшие в мастерской. Выбор картины “Долина Зарождения” был предопределен – не только ее яркими красками и образом рождения новой жизни, но и более приземленными соображениями: на ней как раз имелось удобное место для заголовка. Мы были рады выбрать эту картину, которая, по-моему, способствовала высоким продажам книги.

Так случилось, что у Десмонда именно в то время проходила выставка в небольшой галерее на Уолтон-стрит, неподалеку от здания издательства, и “Долина Зарождения” была одной из работ, которые продавались на этой выставке. Ее цена, 750 фунтов, в точности совпала с суммой аванса, выплаченного мне за книгу. Это совпадение невозможно было так оставить, поэтому после неоднократных визитов в галерею, в результате которых мне полюбились многие картины Десмонда, я купил “Долину Зарождения”. Мне кажется, Десмонда это несколько смутило, и он любезно подарил мне еще одну, немного похожую картину – “Возбуждатель”. Они неплохо сочетаются друг с другом.

“Эгоистичный ген” опубликовали осенью 1976 года. Мне было 35 лет. На книгу поступило множество рецензий, что было удивительно для первой работы неизвестного автора, и я по-прежнему плохо понимаю, чем она привлекла к себе столько внимания. Издательство не устраивало никаких торжеств по поводу ее выхода и никак о ней особенно не трубило. Через

несколько месяцев после публикации на “Эгоистичный ген” обратил внимание Питер Джонс – один из продюсеров сериала “Горизонт”, этого флагмана научно-популярных программ Би-би-си. Питер предложил мне выступить в роли ведущего в документальном фильме, посвященном предмету моей книги, но в те времена я был слишком робок, чтобы рискнуть появиться на телевидении, и поэтому посоветовал обратиться к Джону Мейнарду Смиту. Смит хорошо справился с задачей (в характерной для него дружелюбной и увлекательной манере), и сделанный при его участии фильм, который так и назвали – “Эгоистичный ген”, – должно быть, существенно повысил продажи моей книги, по крайней мере на британском рынке. Но фильм вышел слишком поздно, чтобы повлиять на появившиеся в печати многочисленные рецензии на мою книгу.

Я больше так не делаю, но после выхода моей первой книги я завел себе альбом для рецензий и только что в очередной раз его пролистал. Рецензий появилось больше сотни, и, когда их перечитываешь, в целом не возникает ощущения, что речь идет о какой-то спорной книге, какой она многим кажется. Почти все рецензии были положительными. В числе первых рецензентов были психиатр Энтони Сторр, антропологи Лайонел Тайгер и Фрэнсис Хаксли (сын Джулиана), натуралист Брюс Кэмпбелл, а также философ Бернард Уильямс – один из самых остроумных и интересных собеседников, как я узнал через многие годы, разговор с которым любого может “поднять на новый уровень”. Недоброжелательные рецензии написали двое биологов, придерживающихся левых политических взглядов, Стивен Роуз и Ричард Левонтин, а также представитель противоположного края политического спектра Сирил Дарлингтон, чьи выпады оказались несколько более тонкими. Но подобные отзывы были редки. Большинство рецензентов поняли главный тезис книги, верно его интерпретировали и в целом очень работу хвалили. Меня особенно порадовали крайне доброжелательные рецензии Питера Медавара и Уильяма Гамильтона. Гамильтон даже обратил внимание на то самое заблуждение, против которого был направлен мой давний ответ Лоренцу, Ардри и последователям Панглосса шестидесятых годов, а также приверженцам “теоремы Би-би-си”[123]:

Эту книгу должен прочесть – и может прочесть – едва ли не каждый. В ней весьма искусно описан новый лик теории эволюции. Стиль книги в значительной степени легкий, необременительный, и хотя в последнее время в таком же стиле широкой публике подаются новые и порой сомнительные биологические факты, по моему мнению, она представляет собой

более серьезное достижение. Автору удалось сделать почти невозможное: простым, ненаукообразным языком изложить некоторые довольно заумные и математизированные эволюционные идеи последнего времени. Через призму этой книги они наконец предстанут в широком контексте, удивляя и освежая взгляд даже многих профессиональных биологов, которым, возможно, кажется, что все это им уже известно. По крайней мере, так случилось с автором данной рецензии. И все же, еще раз повторю, эту книгу без труда сможет прочесть любой, кто обладает минимальными естественно-научными знаниями.

Никого на свете мне так не хотелось именно в этом смысле удивить, как “автора данной рецензии”. Кроме того, меня тронули приведенные им в конце стихи Вордсворта и Хаусмана, чей шропширский парень мне самому часто напоминал многогранную натуру Билла Гамильтона:

Издалека, с вечерних
И утренних небес
Звенящий ветер жизни
Принес меня, я здесь.
‹…›
Скажи, и я отвечу,
Ну как тебе помочь?
Пока звенящий ветер
Меня не сдует прочь.

Неплохая эпитафия для ученого-эволюциониста, а Билл Гамильтон был, наверное, величайшим эволюционистом второй половины XX века. Когда этот том автобиографии уже готовился к печати, я выудил из кипы старых бумаг настоящее сокровище: листок, на котором было что-то написано рукой Гамильтона. Это оказалась последняя страница конспекта одной из его лекций, где цитировалось еще одно стихотворение Хаусмана, “Бессмертная часть”, – как иллюстрация к идее бессмертного гена. Я не помню ни что это была за лекция, ни когда этот листок попал мне в руки, да и даты на нем нет. Его можно увидеть в онлайновом приложении к этой книге.

Через многие годы после выхода “Эгоистичного гена” я близко познакомился с Биллом, работая бок о бок с ним в Оксфорде и почти каждый день встречаясь за обедом в Новом колледже. Мне лестно, и я горд, что моя книга помогла донести некоторые из его блестящих идей до широкой аудитории. Но мне

хочется надеяться, что она полезна еще и тем, что помогла многим из моих коллег-биологов научиться по-новому смотреть на предмет своих исследований. Если приехать на биостанцию где-нибудь в Серенгети, или в Антарктиде, или на Амазонке, или в Калахари и послушать, о чем исследователи беседуют вечером за кружкой пива, можно услышать, что в их разговор постоянно вплетается тема генов, – и мне приятно думать, что это неслучайно. Причем говорят они вовсе не о молекулярных выкрутасах ДНК (хотя это тоже интересно) – основополагающим допущением в их разговорах является то, что поведение изучаемых ими животных и растений направлено на сохранение генов и их умножение в будущих поколениях.

Бессмертный ген

В 1973 году Национальный профсоюз шахтеров объявил забастовку, вызвавшую в Великобритании серьезный кризис. В ходе этого кризиса правительство консерваторов, которое возглавлял Эдвард Хит, ввело в стране так называемую трехдневную неделю. В целях экономии запасов топлива расходы электроэнергии на все нужды, кроме важнейших, были ограничены. Мы получали электричество только три дня в неделю, и то с частыми перебоями. Заниматься своей работой со сверчками без электричества я не мог, но вполне мог писать, ведь в то время я делал это с помощью портативной пишущей машинки – на таком странном материале, как белые листы так называемой бумаги. Поэтому я решил временно приостановить исследования сверчков и сесть за свою первую книгу. Так на свет появился “Эгоистичный ген”.

Эгоизм и альтруизм, а также идея “общественного договора” были в то время у всех на слуху. Те из нас, кто придерживался левых политических взглядов, пытались как-то примирить свои симпатии к шахтерам с неприятием их агрессивной тактики, делавшей все общество заложником их борьбы. Могла ли эволюционная теория что-либо сказать об этой важной дилемме? В течение предыдущего десятилетия вышел целый ряд научно-популярных книг и документальных фильмов, авторы которых предпринимали смелые попытки применить дарвиновскую теорию к проблеме альтруизма и эгоизма, а также общественного и личного блага, но при этом, к сожалению, понимали эту теорию совершенно превратно. Главная ошибка, которую все они допускали, была той или иной разновидностью “эволюционного панглоссизма”.

Покойный ныне Джон Мейнард Смит, мой друг и учитель, рассказывал о своем собственном учителе – великом Джоне Бёрдоне Сандерсоне Холдейне, что тот высмеивал популярность

трех ошибочных или, по крайней мере, спорных “теорем”: теоремы тети Джобиски (из Эдварда Лира), гласящей: “Это общеизвестный факт, что…”[102], теоремы Балабона (из Льюиса Кэрролла), утверждающей: “То, что трижды сказал, то и есть”[103], и теоремы Панглосса (из Вольтера), успокаивающей, что “Всё к лучшему в этом лучшем из возможных миров”.

Эволюционные панглоссисты в общих чертах понимают, что естественный отбор неплохо работает, делая живых существ приспособленными к занятию своим делом – жизнью. Альбатросы кажутся прекрасными плодами замысла по созданию существ, летающих над водой, а пингвины – замысла по созданию существ, летающих, напротив, под водой (я пишу эти строки на корабле в Антарктике и время от времени смотрю в бинокль на этих пернатых виртуозов). Но панглоссисты забывают (и об этом действительно нетрудно забыть), что вырабатываемая естественным отбором приспособленность относится к *особям,* а не к *видам*. Отбор и правда имеет тенденцию делать особей приспособленными к полету, плаванию, выживанию, размножению – и так далее. Но у нас нет никаких оснований ожидать, что естественный отбор будет делать *виды* приспособленными к тому, чтобы избегать вымирания, уравновешивать соотношение полов, ограничивать ради общего блага численность популяций, экономить запасы пищи и беречь окружающую среду в интересах будущих поколений. Приписывать все это естественному отбору значит впадать в панглоссизм. Более успешное выживание групп может быть следствием более успешного выживания особей, но это следствие будет лишь счастливым побочным эффектом. На выживание групп работа естественного отбора не направлена.

Впасть в эту ошибку просто, потому что мы, люди, наделены умением прогнозировать будущее и способностью судить о том, какие наши действия в дальнейшем могут пойти на пользу нашему виду, или нашему городу, или нашей стране, или всему человечеству, или какому-либо иному объединению или группе людей. Мы в состоянии предвидеть, что чрезмерный промысел рыбы в конечном итоге может повредить всем рыболовам. Мы в состоянии предугадать, что ограничение рождаемости может обеспечить нам лучшую жизнь в будущем, потому что, если людей будет меньше, в распоряжении каждого из них окажется больше ресурсов. Мы в состоянии принять решение ограничить себя в чем-либо сегодня ради выгоды, которую это принесет в будущем. Но естественный отбор прогнозировать будущее не способен.

Предлагалась, разумеется, и панглоссистская версия теории

естественного отбора. Если бы она была верна, мир и правда мог бы стать чем-то вроде “лучшего из возможных миров”. Но она, к сожалению, неверна. По крайней мере одна из целей, которые я преследовал, когда писал “Эгоистичный ген”, состояла именно в том, чтобы убедить своих читателей в неверности этой версии – так называемой теории группового отбора. Этим безумно притягательным заблуждением – “великой ошибкой группового отбора” (ВОГО) – были насквозь пронизаны вышедшая в 1964 году популярная книга Конрада Лоренца “Агрессия” и бестселлеры Роберта Ардри “Территориальный императив” и “Общественный договор”, в которых меня особенно раздражало сочетание ошибочных выводов и превосходного английского, которым они излагались[104]. Я решил написать книгу на ту же тему, что и “Общественный договор” Ардри, но основанную не на ВОГО, а на строгой теории естественного отбора. Я надеялся исправить этой книгой вред, причиненный Ардри и Лоренцем, а также множеством выходивших в то время документальных фильмов, которые с таким постоянством распространяли данное заблуждение, что в другой своей книге я даже назвал его “теоремой Би-би-си”.

Я был слишком хорошо знаком с панглоссизмом и ВОГО, потому что еженедельно сталкивался с ними в эссе своих студентов. Более того, когда я был студентом колледжа, я и сам вплетал во многие свои эссе ошибочную идею о том, что в естественном отборе по-настоящему важно именно выживание видов (и ни один из моих наставников не замечал этой ошибки). Когда я начал писать “Эгоистичный ген”, я мечтал изменить сложившееся положение дел, но меня пугало осознание, что для этого моя книга должна быть написана не хуже “Общественного договора” Ардри и продаваться не хуже “Агрессии” Лоренца. Я в шутку называл свою будущую книгу “мой бестселлер”, нисколько не веря, что она действительно станет таковым, но сознательно обуздывая свои мечтания некоторой самоиронией.

Естественный отбор – чисто механический, автоматический процесс. Этот процесс постоянно наполняет мир тем, что приспособлено к выживанию, и устраняет из него то, что к выживанию не приспособлено. Естественный отбор не умеет прогнозировать будущее, но наш мозг умеет, и именно поэтому панглоссизм обладает для нас такой притягательностью. Наш мозг может мучительно раздумывать о далеком будущем и предвидеть катастрофу грядущего столетия, которую вызовет наше безответственное поведение сегодня. Естественному отбору это недоступно. Он не в состоянии ни о чем мучительно раздумывать, а может только слепо благоприятствовать

получению выгоды в ближайшем будущем, потому что каждое следующее поколение автоматически наполняется потомством тех представителей предыдущего, которые делали все, что нужно, чтобы в ближайшей перспективе произвести потомство успешнее, чем другие.

Если же внимательно и пристально рассмотреть то, что именно происходит при стремительной смене поколений, наш взор будет неумолимо привлечен к генам, на уровне которых на самом деле и работает естественный отбор. Естественный отбор автоматически благоприятствует своекорыстию тех единиц, которые имеют шанс пройти сквозь фильтр поколений и выжить, сохранившись и в далеком будущем. В эволюции жизни на нашей планете такими единицами оказываются гены. Вот как я писал об этом в книге “Эгоистичный ген”, где ввел термин “машина выживания”, характеризующий роль, которую играют в эволюции отдельные организмы (смертные), в отличие от их генов (потенциально бессмертных):

Гены бессмертны. ‹…› ожидаемая продолжительность жизни генов должна измеряться не в десятках, а в тысячах и миллионах лет.

У видов, размножающихся половым путем, отдельная особь – слишком крупная и слишком преходящая генетическая единица, чтобы ее можно было назвать значимой единицей естественного отбора. Группа индивидуумов – еще более крупная единица. С генетической точки зрения индивидуумы и группы подобны тучам на небе или пыльным бурям в пустыне. Это временные агрегации или федерации. Они не остаются стабильными в эволюционном масштабе времени. Популяции могут сохраняться довольно долго, но они постоянно смешиваются с другими популяциями, утрачивая при этом свою идентичность. Кроме того, они подвержены эволюционному изменению изнутри. Популяция недостаточно дискретна, чтобы служить единицей естественного отбора, и недостаточно стабильна и однородна, чтобы оказаться “отобранной” в ущерб другой популяции.

Отдельный организм кажется достаточно дискретным, пока он живет, но, боже, как недолго это длится! Каждый индивидуум уникален. Эволюция невозможна, если все, чем вы располагаете, – выбор между организмами, каждый из которых имеется лишь в одном экземпляре! Половое размножение – это не репликация. Точно так же, как данная популяция “загрязнена” другими популяциями, так и потомство данного индивидуума “загрязнено” потомством его полового партнера. В ваших детях от вас лишь половина, в ваших внуках – лишь четверть. По прошествии нескольких поколений вы можете надеяться только

на то, что каждый из ваших многочисленных потомков будет нести в себе маленькую частичку, полученную от вас, всего несколько генов, даже в том случае, если некоторые среди этих потомков будут носить вашу фамилию.

Индивидуумы не вечны – они преходящи. Хромосомы также уходят в небытие, подобно набору карт, розданных каждому из игроков и отыгранных вскоре после сдачи. Но с самими картами при тасовке ничего не происходит. Карты – это гены. Гены не разрушаются при кроссинговере, они просто меняют партнеров и продолжают двигаться дальше. Конечно, они движутся дальше. Это их работа. Они – репликаторы, а мы – машины, необходимые им для того, чтобы выжить. После того как мы выполнили свою задачу, нас отбрасывают. Но гены – выходцы из геологического времени, они здесь навеки.

Я уверился в истинности этой мысли десятилетием ранее, еще в 1966 году, сформулировав ее почти слово в слово в той лекции для студентов колледжа, о которой рассказывал в одной из предыдущих глав. На с. 235 я уже вспоминал, как упражнялся в красноречии, пытаясь убедить студентов, что бессмертие генов неизбежно следует из логики естественного отбора. Вот мои слова из той лекции. Можете убедиться, насколько похожи они на соответствующий, но более витиеватый отрывок из “Эгоистичного гена”.

В каком-то смысле гены бессмертны. Они передаются из поколения в поколение, перетасовываясь при каждой передаче от родителей потомкам. Организм всякого животного – лишь временное пристанище его генов, дальнейшее выживание которых зависит от выживания этого организма по крайней мере до тех пор, пока он не оставит потомства, передав их другому организму. ‹…› гены строят себе временное жилище, которое само по себе недолговечно, но служит им ровно столько, сколько нужно ‹…›. Итак, если использовать термины “эгоистичный” и “альтруистичный”, то один из базовых выводов, вытекающих из положений ортодоксального неодарвинизма, будет состоять в том, что *гены должны быть “эгоистичны”*.

Недавно я нашел текст этой своей лекции 1966 года (с той самой ободряющей пометкой Майка Каллена на полях) и с удивлением осознал, что, готовясь к лекции, я еще не читал книгу Джорджа Уильямса “Адаптация и естественный отбор”, опубликованную в том же году[105]:

Когда умер Сократ, перестал существовать не только его фенотип, но и его генотип. ‹…› Значение этой утраты не умаляется тем, что Сократ мог оставить многочисленное потомство. Даже если его гены по-прежнему с нами, его генотипа

больше нет, потому что мейоз и рекомбинация разрушают генотипы так же неумолимо, как смерть.

При половом размножении потомкам передаются лишь разрозненные фрагменты генотипа, которые снова дробятся на фрагменты при мейозе в следующем поколении. Если в них и можно выделить какую-либо далее неделимую единицу, то это (по определению) *ген*, как его понимают в отвлеченных терминах популяционной генетики.

Когда я наконец прочитал замечательную книгу Уильямса (стыдно признаться, лишь несколько лет спустя), строки о Сократе произвели на меня сильное впечатление, и, работая над своей книгой, я всячески воздавал должное значимости Уильямса, наряду с Гамильтоном, для развития представлений об эгоистичных генах.

Уильямс и Гамильтон обладали довольно схожими характерами: они оба были тихими, замкнутыми, скромными, глубокомысленными. Уильямс отличался достоинством и осанкой, многим людям напоминавшими Авраама Линкольна (возможно, также благодаря высокому лбу и характерной бородке). Гамильтон скорее вызывал в памяти милновского Иа-Иа. Но, когда я писал “Эгоистичный ген”, я еще не был знаком ни с Уильямсом, ни с Гамильтоном: я знал их лишь по публикациям, но уже сознавал огромную роль этих публикаций в развитии наших представлений об эволюции.

Поскольку гены потенциально бессмертны, если считать бессмертием сохранение точных копий, то разница между успешными и неуспешными генами принципиальна: именно она имеет значение в долгосрочной перспективе. Мир наполняется теми генами, которые хорошо приспособлены к тому, чтобы существовать и передаваться из поколения в поколение. На практике это означает хорошую способность сотрудничать с другими генами в деле строительства организмов, обладающих всем необходимым для выживания достаточно долгого, чтобы оставить потомство. При этом сами организмы представляют собой недолговечные машины, которые передают дальше сидящие в них гены. В “Эгоистичном гене” я постоянно использовал для обозначения организма свой термин “машина выживания”. Организм – это то, что реально действует: передвигается, демонстрирует то или иное поведение, занимается поисками, охотится, плавает, бегает, летает, выкармливает детенышей. И самое лучшее объяснение всех действий организма исходит из представления, что он запрограммирован катающимися в нем генами на то, чтобы сохранять их и передавать дальше до того, как сам этот организм умрет.

В своей книге я называл организмы “машинами выживания” и просто “машинами”. В связи с этим мне вспоминается один забавный случай, когда ко мне приехала команда телевизионщиков из Японии, чтобы взять интервью об “Эгоистичном гене”. Все они прибыли в Оксфорд из Лондона, набившись в одно черное такси, из каждого окна которого торчали треножники, прожектора и чуть ли не руки и ноги. Режиссер сообщил мне на ломаном английском (прибывшего с ним переводчика я вообще понять не мог, и он был с позором изгнан), что хочет снять меня разъезжающим по Оксфорду на такси. Это меня озадачило, и я спросил почему. “Хо! – ответил озадаченный, в свою очередь, режиссер. – Разве вы не автор *таксомоторной теории эволюции*?” Впоследствии мне пришло в голову, что японские переводчики моих книг, вероятно, перевели слово “машина” (*vehicle*) как “таксомотор”.

Само интервью тоже вышло довольно забавным. Я разъезжал на такси в одиночестве, если не считать оператора и звукооператора. За неимением официального переводчика не было и интервьюера, и меня попросили просто рассказывать что угодно об “Эгоистичном гене”, пока машина ехала по живописным улицам Оксфорда. Можно не сомневаться, что карта Лондона была надежно сохранена в памяти таксиста его внушительным гиппокампом, но Оксфорда он не знал. Поэтому мне пришлось выступать также в роли навигатора, и мой в остальном размеренный рассказ об эгоистичных генах то и дело прерывался моими же отчаянными возгласами “Здесь налево!” или “За светофором направо, а там во второй ряд!” Надеюсь, что незадачливого переводчика удалось отыскать до того, как вся команда вернулась в Лондон.

Я раскритиковал в “Эгоистичном гене” такой панглоссизм как идею о том, что у животных есть своего рода дар предвидения, позволяющий им преследовать долгосрочные интересы своего вида или группы. Проблема здесь не в том, что животные не могут сознательно “преследовать долгосрочные интересы”. Никто и не считает, что они делают это сознательно. Проблема в том, что многие ошибочно полагают, будто единицей, на максимальный успех которой работают эволюционные механизмы, может оказаться вид или группа. Биологи нередко с полным на то основанием пользуются метафорами вроде “преследования интересов”, подразумевая результаты действия дарвиновских механизмов. Но не всем удается правильно выделить тот уровень в иерархии жизни, на котором подобные метафоры применимы. Дарвиновские механизмы, как мы их теперь понимаем, предполагают возможность мысленно

поставить себя на место отдельной особи и задаться вопросом: “Что нужно сделать в интересах распространения моих генов в следующих поколениях?”

В “Эгоистичном гене” полно воображаемых монологов, в которых то или иное гипотетическое животное “рассуждает”: “Следует ли мне поступить *так* или *эдак*?” Это “следует ли мне” означает не что иное, как “будет ли лучше для моих генов”. И так вполне можно говорить, но только оттого, что подобный вопрос можно переформулировать следующим образом: “Станет ли ген, заставляющий особь поступить *так* (в данной ситуации), чаще встречаться в генофонде?” Подобные монологи оправданны именно потому, что их можно переформулировать в терминах выживания генов.

Кто-то может понять вопрос “Следует ли мне поступить *так* или *эдак*?” как “Следует ли мне поступить *так* или *эдак*, чтобы продлить свою собственную жизнь?”. Но если долгая жизнь будет достигаться в ущерб размножению, то есть если долгожительство особи будет противопоставлено выживанию ее генов, естественный отбор не поддержит его. Размножение бывает опасным делом. Самцы фазанов обладают великолепной окраской для привлечения самок, но эта окраска привлекает и хищников. Тускло окрашенный, малозаметный самец, вероятно, проживет дольше, чем ярко окрашенный и неотразимо привлекательный. Но первый с большей вероятностью умрет, не оставив потомства, поэтому гены, делающие фазанов мужского пола безопасно тусклыми, с меньшей вероятностью передадутся следующим поколениям. При естественном отборе принципиальное значение имеет именно выживание генов.

Вот какие слова можно было бы с полным основанием вложить в клюв самца фазана: “Если я отращу себе тусклое оперение, я, вероятно, долго проживу, но не найду себе пары. Если же я отращу себе яркое оперение, то, вероятно, погибну молодым, но успею передать своим потомкам множество генов, в том числе гены яркого оперения. Следовательно, я должен «принять решение» отрастить яркое оперение”. Стоит ли говорить, что слова “принять решение” здесь означают не то, что обычно понимают под этими словами люди, когда имеют в виду себя? Осознанный выбор здесь не задействован. Подобные метафоры, относящиеся к уровню организма, могут сбивать с толку, но их позволительно использовать, если всегда помнить, как их можно переформулировать в терминах выживания генов. Ни один фазан на самом деле не решает, яркое или тусклое оперение ему отращивать. Но гены, делающие оперение ярким или тусклым, имеют разную вероятность выживания и передачи

следующим поколениям фазанов.

Когда мы пытаемся разобраться в действиях животных, исходя из современных представлений о дарвиновских механизмах, бывает весьма удобно рассматривать самих животных как роботов, “думающих”, какие шаги им предпринять для передачи своих генов следующим поколениям. Такие шаги могут включать определенные формы поведения или отращивание органов определенного строения. Кроме того, бывает удобно метафорически представлять себе *гены*, “думающие”, какие шаги им предпринять для собственной передачи следующим поколениям. Такие шаги обычно включают воздействие на отдельные организмы путем изменения процессов эмбрионального развития.

Но у нас нет никаких оснований даже *метафорически* представлять себе животных, думающих о том, какие шаги им предпринять для сохранения своего вида или своей группы. Естественный отбор не предполагает избирательного выживания групп или видов. Он включает в себя лишь избирательное выживание генов. Поэтому уместны такие метафоры, как: “Если бы я был неким геном, что бы я сделал для собственного сохранения?” – или (в идеале означающие в точности то же самое): “Если бы я был неким организмом, что бы я сделал для сохранения своих генов?” Но совсем неуместны метафоры, подобные следующей: “Если бы я был неким организмом, что бы я сделал для сохранения своего вида?” Аналогичным образом неуместны (хотя и по другой причине) такие метафоры: “Если бы я был видом, то что бы я сделал для собственного сохранения?” Последняя метафора не годится потому, что виды, в отличие от отдельных организмов, даже в метафорическом смысле не ведут себя как деятельные существа, делающие что-либо, исходя из принятых решений. У видов нет ни мозгов, ни мышц, они представляют собой лишь наборы отдельных организмов, у которых мозги и мышцы имеются. Виды и группы – это не “машины”, в которых ездят гены. А вот организмы – “машины”.

Стоит отметить, что ни в своих лекциях, которые я читал в шестидесятых годах, ни в “Эгоистичном гене” я не подавал идею о гене – фундаментальной единице естественного отбора как что-то особенно новое. Я считал ее (прямым текстом говоря об этом) одним из положений, подразумеваемых ортодоксальным неодарвинизмом, то есть теорией эволюции, как она была впервые сформулирована в тридцатых годах Фишером, Холдейном, Райтом и другими отцами-основателями так называемой синтетической теории эволюции, в числе которых были также Эрнст Майр, Феодосий Добржанский, Джордж

Гейлорд Симпсон и Джулиан Хаксли. Лишь позже, уже после публикации “Эгоистичного гена”, как критики, так и поклонники этой идеи стали считать ее революционной. В то время она не казалась мне таковой.

При этом, однако, следует добавить, что не все отцы-основатели синтетической теории эволюции сами четко представляли себе это важное положение, подразумеваемое совместно разработанной ими теорией. Такой влиятельный ученый-систематик, как Эрнст Майр, немец, работавший в Америке, прожил больше ста лет, но до последнего продолжал враждебно отзываться об идее гена как единицы отбора. Из его возражений у меня создавалось ощущение, что он превратно ее понимал. А Джулиан Хаксли, предложивший для неодарвинизма название “современный синтез”[106], был, сам того до конца не осознавая, закоренелым приверженцем идеи группового отбора. Еще в студенческие годы, едва познакомившись с великим Питером Медаваром, я был поражен, услышав прелестное святотатство, высказанное в характерной для него манере, исполненной достоинства и одновременно проказливой: “Беда Джулиана в том, что на самом деле он не *понимает*, в чем суть эволюции”. Сказать такое – об одном из Хаксли! Я не поверил своим ушам и, как вы можете убедиться, до сих пор не забыл этот случай. Впоследствии я услышал подобное мнение (хотя и не о Хаксли) от еще одного нобелевского лауреата, французского специалиста по молекулярной биологии Жака Моно, который сказал: “Беда с естественным отбором в том, что все *думают*, будто понимают, что это такое”.

Я уже упоминал, что начал работать над “Эгоистичным геном” во время вынужденного перерыва в своих опытах со сверчками из-за отключений электричества. У меня была завершена только первая глава, когда я случайно познакомился с одним из редакторов издательства “Аллен энд Ануин”. Он прибыл на оксфордское отделение зоологии с регулярным визитом для переговоров о возможных публикациях книг, и я рассказал ему о своем находящемся в зачаточной стадии проекте. Он сел и тут же прочитал мою первую главу, которая ему понравилась, после чего посоветовал мне непременно продолжать. Но вскоре (в каком-то узком смысле – к сожалению, а в других смыслах – к счастью) забастовки прекратились, и электричество снова включили. Я засунул написанную главу в ящик и забыл о ней, вернувшись к своим исследованиям сверчков.

В течение следующих двух лет я время от времени думал, не вернуться ли мне к работе над книгой. Особенно сильно мне этого хотелось, когда я читал и освещал в своих лекциях новые

публикации, которые начали появляться в начале семидесятых и оказались замечательно созвучными замыслу моей зарождавшейся книги. Наиболее примечательными были статьи молодого американского биолога Роберта Триверса и заслуженного британского профессора Джона Мейнарда Смита. Оба автора успешно использовали упоминавшийся парой страниц выше мысленный прием (философ Дэниэл Деннет теперь назвал бы это интуитивным насосом)[107]: представлять себе, что отдельный организм ведет себя так, будто сознательно вычисляет наилучшую тактику для сохранения и умножения своих генов.

Триверс рассматривал каждое животное так, *как будто* оно намеренно рассчитывает применительно к своим действиям то, что экономисты называют альтернативными издержками. Каждый детеныш требует определенных издержек, таких как пища (учитывая время и усилия, затраченные на ее добывание) или защита от хищников и связанный с нею риск. Триверс объединил все эти издержки в один параметр, который назвал родительским вкладом (*parental investment*), или РВ. Важнейшее наблюдение Триверса состояло в том, что РВ неизбежно подразумевает *альтернативные издержки*, то есть вклад в каждого детеныша следует оценивать через *упущенные* в ходе его выращивания *вложения в других детенышей*. На основе этих представлений Триверс разработал остроумную теорию конфликта родителей и потомства. В соответствии с этой теорией, например, решение о том, когда матери перестать кормить детеныша молоком, должно быть предметом “разногласий” между матерью и детенышем, которые будут вести себя как последовательные экономисты, чья “функция выгоды” есть долгосрочное выживание собственных генов. Мать “хочет” перестать кормить детеныша молоком раньше, чем этого “хочет” детеныш, потому что для нее бóльшую, чем для него, “ценность” имеют его будущие братья и сестры, которым будет выгодно, чтобы его раньше перестали кормить. Для самого детеныша будущие братья и сестры тоже имеют “ценность”, но вдвое меньшую, чем для его матери, – в соответствии с правилом Гамильтона. Поэтому ближе к концу кормления детеныша молоком наступает конфликтный период – непростой этап перехода от фазы, когда обе стороны “согласны”, что кормление должно продолжаться, к фазе, когда обе стороны “согласны”, что его пора прекратить. В течение конфликтного периода, когда мать “хочет” перестать кормить детеныша молоком, а детеныш “не хочет” этого, мы должны наблюдать в поведении животных признаки скрытой битвы. Кстати, замечу, что через много лет после публикации “Эгоистичного гена” австралийский биолог Дэвид Хейг остроумно

продемонстрировал, что многие нарушения беременности можно объяснить подобным триверсовским конфликтом, происходящим в утробе матери, только в данном случае касающимся не прекращения кормления молоком, а другими аспектами распределения ресурсов, которых всегда не хватает.

Тема конфликта родителей и потомства подходила для моей книги как нельзя лучше, и уже упомянутая блистательная статья Триверса стала одним из стимулов, побудивших меня достать рукопись первой главы из ящика, где она томилась со времен окончания последней забастовки. Теперь этой теме посвящена восьмая глава “Эгоистичного гена” (“Битва поколений”). Девятая глава (“Битва полов”) тоже содержит идеи Триверса, в данном случае касающиеся разницы в воображаемых вычислениях самцами и самками своих альтернативных издержек. Например, в какой ситуации самец может бросить свою спутницу с ребенком “на произвол судьбы” ради поиска другой самки? Триверс также повлиял на десятую главу (“Почеши мне спину, а я тебя оседлаю”). Его статья по теме этой главы – взаимном альтруизме – была одной из первых, в которых было показано, что родственный отбор не единственный эволюционный фактор, способствующий альтруизму. Огромную роль в возникновении альтруизма может также играть взаимность (плата добром за добро), работающая, в отличие от родственного отбора, и в межвидовых взаимодействиях. Так Триверс, наряду с Гамильтоном и Уильямсом, оказался в числе четырех авторов, более всех повлиявших на “Эгоистичный ген”. Кроме того, я попросил Триверса написать предисловие к моей книге, что он любезно согласился сделать, хотя к тому времени мы с ним еще ни разу не встречались.

Четвертым был Джон Мейнард Смит, впоследствии ставший одним из моих любимых наставников. Еще в детстве мне попала в руки его книга, которую он называл “мой маленький пингвин”[108], и на меня произвела большое впечатление фотография улыбающегося автора: настоящий чокнутый профессор с гривой волос, так же косо сидящей у него на голове, как и трубка, сидящая у него во рту, и в толстых круглых очках, которые не худо было бы протереть. Этот типаж сразу вызвал у меня симпатию. Еще мне понравилась биографическая справка, сообщавшая, что когда-то он работал авиаинженером, но бросил это дело и снова поступил в университет, чтобы получить биологическое образование, поскольку заметил, что “авиация – это шумно и старомодно”. Много лет спустя издательство Кембриджского университета подготовило новое издание той книги (“Теория эволюции”), и мне оказали высокую честь,

доверив написать к ней предисловие[109]. В нем я рассказал об этом светлом человеке следующее:

Читатели “университетских романов” знают, что конференции – это мероприятия, где ученые показывают себя с наихудшей стороны, особенно когда собираются в баре, который демонстрирует нам научное сообщество в миниатюре. Они разбиваются на группки, распределяются по потайным углам и ведут задушевные беседы не о науке, а о “бессрочных контрактах” (так они называют работу) и “финансировании” (так они называют деньги). Если же им все-таки случается говорить на профессиональные темы, очень часто они делают это не для того, чтобы поделиться знаниями, а лишь для того, чтобы произвести впечатление. Джон Мейнард Смит представляет собой замечательное, блестящее, великолепное исключение из этого правила. Он ценит яркие идеи больше денег, а понятный язык – больше наукообразного жаргона. Вокруг него всегда собирается толпа активных, смеющихся студентов и молодых ученых обоих полов. Выбросьте из головы доклады и семинары, к черту автобусные экскурсии к местным достопримечательностям, забудьте о проекторах и радиомикрофонах: если вы организуете конференцию, по-настоящему нужно совсем немногое – чтобы там был Джон Мейнард Смит и чтобы нашелся добротный просторный бар. Если окажется, что намеченные вами даты ему неудобны, необходимо перенести конференцию на другие дни. Не обязательно, чтобы он официально выступил с докладом (хотя он делает это потрясающе), и не обязательно, чтобы он председательствовал на одной из сессий (хотя и это он делает замечательно, да к тому же ведет сессии вдумчиво и доброжелательно, украшая их остроумными замечаниями). Чтобы ваша конференция удалась, достаточно, чтобы он в ней участвовал. Он очарует и развлечет молодых ученых, выслушает их, вдохновит, поддует угасающий интерес, и они отправятся по своим лабораториям или по своим грязным полям, исполненные живого энтузиазма, и увлеченно будут проверять новые идеи, которыми он с ними щедро поделился.

Однако в самом начале мои отношения с Джоном были не такими уж радужными. Я познакомился с ним в 1966 году, когда проходил у него собеседование в Сассекском университете. Он был там деканом биологического отделения, на которое у меня был шанс устроиться на работу. В то время я уже более или менее решил, что поеду в Беркли. Но в Сассексе освободилось место, и работавший там Ричард Эндрю, тоже занимавшийся поведением животных, всячески уговаривал меня подать заявку на вакантную должность. Мне это было лестно, и, хотя я сказал Ричарду, что,

скорее всего, поеду в Беркли, он заверил меня, что ничего плохого не будет, если я все-таки съезжу в Сассекс на собеседование. И я подумал: “Черт возьми, почему бы и нет?” Боюсь, что такое отношение к работе, на которую я пытался устроиться, произвело плохое впечатление на Мейнарда Смита. В ходе собеседования я заявил, что не буду читать лекции по систематике животных. Он ответил, что это одна из обязанностей того, кто получит обсуждаемую должность, на что я довольно нахально сообщил, что мне уже предложили работу в Беркли и я вообще не знаю, зачем прохожу это собеседование. Он не обиделся и доброжелательно общался со мной позже за обедом, на который они с Ричардом Эндрю меня пригласили, но все же, как я уже сказал, это было не самое хорошее начало отношений, впоследствии, впрочем, переросших в искреннюю дружбу.

В начале семидесятых Мейнард Смит начал работу над большой серией статей, в которой он и его соавторы, в частности Джеффри Паркер и Джордж Прайс, разработали для решения ряда эволюционных проблем новую версию математической теории игр. Их идеи великолепно сочетались с представлениями об эгоистичных генах, и статьи Мейнарда Смита тоже послужили для меня одним из главных стимулов, заставивших смахнуть пыль с заброшенной рукописи первой главы и написать целую книгу.

Главным вкладом Мейнарда Смита в мою книгу стала концепция эволюционно стабильной стратегии (ЭСС). Под стратегией здесь понимается запрограммированное правило. Мейнард Смит разработал математические модели, в которых подобные стратегии, получившие такие названия, как (для конкретного случая соперничества между животными) Ястреб, Голубь, Отпорщик или Задира, испытываются в виртуальном мире, где они взаимодействуют друг с другом. Опять же, здесь важно понимать, что при этом отнюдь не предполагается, будто животные, следующие подобным стратегиям, делают это сознательно или понимают, зачем это нужно. Но каждая стратегия встречается в популяции с некоторой *частотой* (как гены в генофонде, хотя в подобных моделях связь стратегий с ДНК в явном виде не задействована). Эти частоты меняются в зависимости от выигрышей и штрафов. В социологии и экономике, для которых первоначально и была разработана теория игр, выигрыш можно рассматривать в денежном эквиваленте. В эволюционной теории игр выигрыш имеет особое значение: он предполагает репродуктивный успех, то есть высокий выигрыш той или иной стратегии приводит к повышению ее частоты в популяции.

Но вот что главное – успешной стратегией совсем не обязательно оказывается та, которая побеждает в тех или иных конкретных состязаниях с другими стратегиями. Успешной становится та, что в итоге начинает преобладать в популяции. А поскольку численно преобладающая стратегия по определению будет чаще всего сталкиваться с представителями *ее самой*, она останется преобладающей лишь в том случае, если окажется успешной во взаимодействиях с представителями ее же самой. Именно в этом и состоит эволюционная стабильность, предполагаемая эволюционно стабильной стратегией Мейнарда Смита. ЭСС должны быть широко распространены в природе, потому что, если стратегия эволюционно *не*стабильна, она будет постепенно вытесняться из популяции более успешными стратегиями, размножающимися быстрее.

Я не стану подробно рассказывать здесь об эволюционной теории игр, потому что уже сделал это в “Эгоистичном гене”, это же касается и идей Триверса о родительском вкладе. Здесь достаточно просто упомянуть, что работы Триверса и Мейнарда Смита, опубликованные в начале семидесятых, оживили мой интерес к идеям Гамильтона, вдохновившим меня в шестидесятых, и заставили вернуться к работе над книгой, первая глава которой провалялась в ящике стола с тех пор, как закончились забастовки и отключения света. Эволюционная теория игр Мейнарда Смита стала главной темой главы об агрессии и источником моего вдохновения при обсуждении многих других тем в последующих главах.

И вот наконец в 1975 году, завершив статью об иерархической организации, я взял полагавшийся мне годичный отпуск и каждое утро садился дома за пишущую машинку, погружаясь в работу над “Эгоистичным геном”. Надо сказать, что я так углубился в эту работу, что пропустил заседание сотрудников Нового колледжа, на котором состоялись выборы нового директора. Один из моих коллег ненадолго покинул заседание, чтобы по телефону сообщить мне, что голоса должны разделиться почти поровну, и умолять меня поскорее прийти. Теперь мне представляется, что, хотя отпуск и позволял мне отсутствовать на том заседании, с моей стороны это было самонадеянно и безответственно. Я потратил бы всего несколько часов, а последствия моего никому не отданного голоса могли бы ощущаться многие годы. По счастью, в итоге избран был все же именно тот человек, за которого я стал бы голосовать (причем он оказался замечательным директором), так что моя совесть свободна от груза вины за измененный ход истории колледжа. На самом деле его соперник тоже был бы отличным директором, а

кроме того, сделал бы последующие заседания весьма забавными, потому что по праву считался самым остроумным человеком во всем Оксфорде.

Я писал “Эгоистичный ген” в состоянии творческой горячки. Завершив три или четыре главы, я обратился к своему другу Десмонду Моррису с просьбой помочь мне с изданием книги. Будучи сам феерически успешным автором, Моррис без труда устроил мне свидание с заслуженным лондонским издателем Томом Машлером. Я встретился с ним в его заставленном книгами кабинете с высоким потолком в здании издательства “Джонатан Кейп” в Лондоне. Машлер прочитал написанные мною главы, и они ему понравились, но он стал уговаривать меня изменить название, объясняя, что слово “эгоистичный” имеет “негативную окраску”. Не лучше ли было бы назвать мою книгу “Бессмертный ген”? Теперь мне кажется, что он, возможно, был прав. Не могу вспомнить, почему я не последовал его совету. Мне, наверное, стоило это сделать.

Как бы там ни было, в итоге я не стал обращаться к нему со своей книгой, потому что проблема ее издания вскоре вышла из-под моего контроля. Однажды за обедом в Новом колледже профессор теоретической физики Роджер Эллиотт (теперь сэр Роджер) сказал мне, что слыхал о моей работе над книгой, и расспросил меня о ней. Я немного рассказал ему о своем замысле, и было похоже, что он заинтересовался. Эллиотт был членом совета представителей при издательстве Оксфордского университета, и он сообщил о моей книге Майклу Роджерсу, превосходному редактору, поистине достойному этого древнего издательства. Майкл написал мне и попросил прислать ему уже написанные главы. Я так и сделал.

Дальнейшее было подобно урагану. Все началось с характерного громкого голоса по телефону: “Я прочитал ваши главы. С тех пор не могу спать. Я ДОЛЖЕН ИЗДАТЬ ЭТУ КНИГУ!” Может быть, кого-то и оттолкнул бы подобный способ убеждать, но только не меня. Майкл явно был издателем в моем вкусе. Я подписал договор и с удвоенным усердием продолжил работу над книгой.

Ныне мне трудно понять, как нам удавалось нести груз литературного труда в докомпьютерную эпоху. Едва ли не каждое предложение, которое я пишу, я затем переписываю, играя словами, меняя их порядок, вычеркивая и перерабатывая. Я перечитываю свои тексты как одержимый, подвергая их чему-то вроде дарвиновского отбора, который, как я полагаю и надеюсь, улучшает их с каждым разом. Даже набирая новое предложение, я удаляю и меняю не меньше половины слов еще до того, как

довожу его до конца. Я всегда так делал. Но если компьютер подходит для такого стиля работы как нельзя лучше и сам текст после каждого редактирования остается чистым и красивым, при использовании пишущей машинки из него получалась ужасная мешанина. Ножницы и скотч шли в ход не реже, чем сама машинка. Разрастающийся машинописный текст моей книги был испещрен зачеркиваниями в виде “xxxxxxx”, рукописными вставками, кружками и стрелочками, переносящими фрагменты в другое место, и полосками бумаги, неизящно подклеенными на полях и внизу страниц. В наши дни можно подумать, будто одно из необходимых условий сочинительства состоит в том, чтобы у автора была возможность легко читать свой собственный текст. Пока мы работали на бумаге, это казалось невозможным. Но самое загадочное, что с тех пор, как появились компьютеры и текстовые процессоры, литературный стиль в целом как будто нисколько не улучшился. Как же так?

“Эгоистичный ген” был дважды начисто перепечатан на машинке руками Пэт Серл, заботливой секретарши, работавшей у нас в группе исследований поведения животных. Оба чистовых варианта направлялись Майклу Роджерсу и возвращались от него с полезными рукописными замечаниями. В частности, он вычеркнул некоторые напыщенные фрагменты, в которых мне по молодости и от избытка энтузиазма совершенно не удалось соблюсти меру. Питер Медавар, сравнивая ученого с органистом, писал, что “пальцы представителя естественных наук, в отличие от пальцев историка, никогда не должны соскальзывать в сторону восьмифутового регистра”. Заключение второй главы “Эгоистичного гена” осталось одним из самых витиеватых пассажей в научно-популярной литературе, и мне стыдно вспоминать (к счастью, не сохранившийся) абзац, который следовал за ним. Вот тот умеренно напыщенный фрагмент, который устоял против редакторского карандаша Майкла, прошедшегося по крайностям моего текста. Вторая глава посвящена возникновению жизни и самозарождению в первичном бульоне “репликаторов”, которые затем переселились в мир “машин выживания” – живых организмов.

Должен ли был иметься какой-то предел постепенному совершенствованию способов и материальных средств, использовавшихся репликаторами для продолжения собственного существования на свете? Времени для совершенствования, очевидно, было предостаточно. А какие фантастические механизмы самосохранения принесут грядущие тысячелетия? Какова судьба древних репликаторов теперь, спустя четыре миллиарда лет? Они не вымерли, ибо они – непревзойденные

мастера в искусстве выживания. Но не надо искать их в океане, они давно перестали свободно и непринужденно парить в его водах. Теперь они собраны в огромные колонии и обитают в полной безопасности в гигантских неуклюжих роботах, отгороженные от внешнего мира, общаясь с ним извилистыми непрямыми путями и воздействуя на него с помощью дистанционного управления. Они присутствуют в вас и во мне. Они создали нас, наши души и тела, и единственный смысл нашего существования – их сохранение. Они прошли длинный путь, эти репликаторы. Теперь они существуют под названием генов, а мы служим для них машинами выживания.

Этот абзац кратко описывает главную метафору, которая легла в основу всей книги, а кроме того, передает ее научно-фантастический дух. Я даже начал свое предисловие со слов о научной фантастике:

Эту книгу следует читать почти так, как если бы это была научная фантастика. Она задумана с целью поразить воображение. Но это не научная фантастика, это наука. Мое отношение к правде точно выражает избитая фраза “превосходит самую смелую фантазию”. Мы всего лишь машины для выживания, самоходные транспортные средства, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных под названием генов. Это истина, которая все еще продолжает изумлять меня. Несмотря на то что она известна мне уже не один год, я никак не могу к ней привыкнуть. Хочется надеяться, что мне хотя бы удастся привести в изумление других.

Похожим настроением проникнуто и начало первой главы:

Разумная жизнь на той или иной планете достигает зрелости, когда ее носители впервые постигают смысл собственного существования. Если высшие существа из космоса когда-либо посетят Землю, первым вопросом, которым они зададутся с целью установить уровень нашей цивилизации, будет: “Удалось ли им уже открыть эволюцию?” Живые организмы существовали на Земле, не зная для чего, более трех миллиардов лет, прежде чем истина осенила наконец одного из них. Это был Чарльз Дарвин.

Нико Тинбергену, когда моя книга вышла и он прочитал ее, очень не понравились эти строки. Ему была противна сама мысль о человечестве как о разумном виде – так тяжело ему было осознавать, какое чудовищное воздействие мы оказали и продолжаем оказывать на окружающий мир. Но я же писал не об этом.

Мне следует кое-что сказать и о последней главе (“Мемы – новые репликаторы”). Учитывая, что во всех остальных главах основная роль отводилась генам, этим ведущим актерам театра

эволюции, важно было, чтобы у читателя не создалось ощущения, будто репликатор непременно должен состоять из ДНК. Продолжая научно-фантастическую тему, которой открывалась моя книга, я обратил внимание на то, что на других планетах жизнь может эволюционировать за счет совсем иной системы самовоспроизведения, но эта система, какой бы она ни была, должна обладать определенным рядом свойств, таких как высокая точность копирования.

Если бы в 1975 году уже были изобретены компьютерные вирусы, я мог бы привести в качестве примера именно их. Но их еще не было, и в поисках аналога я обратил внимание на такой новый первичный бульон, как человеческая культура:

Но надо ли нам отправляться в далекие миры в поисках репликаторов иного типа и, следовательно, иных типов эволюции? Мне думается, что репликатор нового типа недавно возник именно на нашей планете. Пока он находится в детском возрасте, еще неуклюже барахтается в своем первичном бульоне, но эволюционирует с такой скоростью, что оставляет старый добрый ген далеко позади.

Новый бульон – это бульон человеческой культуры. Нам необходимо имя для нового репликатора, существительное, которое отражало бы идею о единице передачи культурного наследия, или о единице *имитации*. От подходящего греческого корня получается слово “мимема”, но мне хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои получившие классическое образование друзья простят мне, если я сокращу слово “мимема” до “мем”. Можно также связать его с “мемориалом”, “меморандумом” или с французским словом même [124]. Его следует произносить в рифму со словом “крем”.

Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать *имитацией*.

Далее я обсудил различные способы применения идеи мемов, например распространение религии и ее передачу из поколения в поколение. При этом я видел свою главную задачу вовсе не в том, чтобы внести вклад в культурологию, а лишь в том, чтобы развенчать возможное ложное впечатление о генах как о единственных мыслимых репликаторах, которые могут лежать в основе работы дарвиновского механизма эволюции. Таким образом я пытался продвигать идею “вселенского дарвинизма”

(так была озаглавлена моя более поздняя статья, основанная на лекции, которую я прочитал в 1982 году на конференции, приуроченной к столетию со дня смерти Дарвина). Тем не менее мне приятно, что философ Дэниэл Деннет, психолог Сьюзан Блэкмор и другие исследователи столь плодотворно продолжили разработку концепции мема. Издано уже более 30 книг, в названиях которых фигурирует слово “мем”, включенное ныне и в “Оксфордский словарь английского языка” (где применяют в качестве критерия факт использования слова в значительном числе публикаций без ссылок на автора и без определения).

Подготовка к публикации первой книги – головокружительная пора в жизни молодого автора. Много раз мне приходилось заходить в величественное здание издательства в стиле неоклассицизма на Уолтон-стрит, а иногда я ездил и в его лондонскую контору на Довер-стрит, где встречался с разными сотрудниками, задействованными в непростом деле производства книги, дизайна, рекламы и так далее. Когда дошло до обложки, научно-фантастический дух моей книги снова привел меня к дверям изящного дома с портиком Десмонда Морриса в северном пригороде Оксфорда. Десмонд – не только биолог, телеведущий, собиратель антропологических реликвий, непревзойденный рассказчик (неправдоподобных) историй[110] и автор бестселлеров, но и признанный художник-сюрреалист. Его картины создают безошибочное ощущение биологического взгляда на мир. Созданный им сюрреалистический ландшафт населен потусторонними существами, которые живут, передвигаются и эволюционируют – правда эволюционируют, ведь они меняются от картины к картине. Это было именно то что нужно для “Эгоистичного гена”. Десмонду было приятно, что я предложил ему стать дизайнером обложки моей книги, и мы с Майклом Роджерсом принялись рассматривать работы, висевшие у него на стенах и стоявшие в мастерской. Выбор картины “Долина Зарождения” был предопределен – не только ее яркими красками и образом рождения новой жизни, но и более приземленными соображениями: на ней как раз имелось удобное место для заголовка. Мы были рады выбрать эту картину, которая, по-моему, способствовала высоким продажам книги.

Так случилось, что у Десмонда именно в то время проходила выставка в небольшой галерее на Уолтон-стрит, неподалеку от здания издательства, и “Долина Зарождения” была одной из работ, которые продавались на этой выставке. Ее цена, 750 фунтов, в точности совпала с суммой аванса, выплаченного мне за книгу. Это совпадение невозможно было так оставить, поэтому после неоднократных визитов в галерею, в результате которых

мне полюбились многие картины Десмонда, я купил “Долину Зарождения”. Мне кажется, Десмонда это несколько смутило, и он любезно подарил мне еще одну, немного похожую картину – “Возбуждатель”. Они неплохо сочетаются друг с другом.

“Эгоистичный ген” опубликовали осенью 1976 года. Мне было 35 лет. На книгу поступило множество рецензий, что было удивительно для первой работы неизвестного автора, и я по-прежнему плохо понимаю, чем она привлекла к себе столько внимания. Издательство не устраивало никаких торжеств по поводу ее выхода и никак о ней особенно не трубило. Через несколько месяцев после публикации на “Эгоистичный ген” обратил внимание Питер Джонс – один из продюсеров сериала “Горизонт”, этого флагмана научно-популярных программ Би-би-си. Питер предложил мне выступить в роли ведущего в документальном фильме, посвященном предмету моей книги, но в те времена я был слишком робок, чтобы рискнуть появиться на телевидении, и поэтому посоветовал обратиться к Джону Мейнарду Смиту. Смит хорошо справился с задачей (в характерной для него дружелюбной и увлекательной манере), и сделанный при его участии фильм, который так и назвали – “Эгоистичный ген”, – должно быть, существенно повысил продажи моей книги, по крайней мере на британском рынке. Но фильм вышел слишком поздно, чтобы повлиять на появившиеся в печати многочисленные рецензии на мою книгу.

Я больше так не делаю, но после выхода моей первой книги я завел себе альбом для рецензий и только что в очередной раз его пролистал. Рецензий появилось больше сотни, и, когда их перечитываешь, в целом не возникает ощущения, что речь идет о какой-то спорной книге, какой она многим кажется. Почти все рецензии были положительными. В числе первых рецензентов были психиатр Энтони Сторр, антропологи Лайонел Тайгер и Фрэнсис Хаксли (сын Джулиана), натуралист Брюс Кэмпбелл, а также философ Бернард Уильямс – один из самых остроумных и интересных собеседников, как я узнал через многие годы, разговор с которым любого может “поднять на новый уровень”. Недоброжелательные рецензии написали двое биологов, придерживающихся левых политических взглядов, Стивен Роуз и Ричард Левонтин, а также представитель противоположного края политического спектра Сирил Дарлингтон, чьи выпады оказались несколько более тонкими. Но подобные отзывы были редки. Большинство рецензентов поняли главный тезис книги, верно его интерпретировали и в целом очень работу хвалили. Меня особенно порадовали крайне доброжелательные рецензии Питера Медавара и Уильяма Гамильтона. Гамильтон даже обратил

внимание на то самое заблуждение, против которого был направлен мой давний ответ Лоренцу, Ардри и последователям Панглосса шестидесятых годов, а также приверженцам “теоремы Би-би-си”[111]:

Эту книгу должен прочесть – и может прочесть – едва ли не каждый. В ней весьма искусно описан новый лик теории эволюции. Стиль книги в значительной степени легкий, необременительный, и хотя в последнее время в таком же стиле широкой публике подаются новые и порой сомнительные биологические факты, по моему мнению, она представляет собой более серьезное достижение. Автору удалось сделать почти невозможное: простым, ненаукообразным языком изложить некоторые довольно заумные и математизированные эволюционные идеи последнего времени. Через призму этой книги они наконец предстанут в широком контексте, удивляя и освежая взгляд даже многих профессиональных биологов, которым, возможно, кажется, что все это им уже известно. По крайней мере, так случилось с автором данной рецензии. И все же, еще раз повторю, эту книгу без труда сможет прочесть любой, кто обладает минимальными естественно-научными знаниями.

Никого на свете мне так не хотелось именно в этом смысле удивить, как “автора данной рецензии”. Кроме того, меня тронули приведенные им в конце стихи Вордсворта и Хаусмана, чей шропширский парень мне самому часто напоминал многогранную натуру Билла Гамильтона:

Издалека, с вечерних
И утренних небес
Звенящий ветер жизни
Принес меня, я здесь.
‹…›
Скажи, и я отвечу,
Ну как тебе помочь?
Пока звенящий ветер
Меня не сдует прочь.

Неплохая эпитафия для ученого-эволюциониста, а Билл Гамильтон был, наверное, величайшим эволюционистом второй половины XX века. Когда этот том автобиографии уже готовился к печати, я выудил из кипы старых бумаг настоящее сокровище: листок, на котором было что-то написано рукой Гамильтона. Это оказалась последняя страница конспекта одной из его лекций, где

цитировалось еще одно стихотворение Хаусмана, “Бессмертная часть”, – как иллюстрация к идее бессмертного гена. Я не помню ни что это была за лекция, ни когда этот листок попал мне в руки, да и даты на нем нет. Его можно увидеть в онлайновом приложении к этой книге.

Через многие годы после выхода “Эгоистичного гена” я близко познакомился с Биллом, работая бок о бок с ним в Оксфорде и почти каждый день встречаясь за обедом в Новом колледже. Мне лестно, и я горд, что моя книга помогла донести некоторые из его блестящих идей до широкой аудитории. Но мне хочется надеяться, что она полезна еще и тем, что помогла многим из моих коллег-биологов научиться по-новому смотреть на предмет своих исследований. Если приехать на биостанцию где-нибудь в Серенгети, или в Антарктиде, или на Амазонке, или в Калахари и послушать, о чем исследователи беседуют вечером за кружкой пива, можно услышать, что в их разговор постоянно вплетается тема генов, – и мне приятно думать, что это неслучайно. Причем говорят они вовсе не о молекулярных выкрутасах ДНК (хотя это тоже интересно) – основополагающим допущением в их разговорах является то, что поведение изучаемых ими животных и растений направлено на сохранение генов и их умножение в будущих поколениях.

Оглядываясь на пройденный путь

Публикация “Эгоистичного гена” стала заключительной вехой первой половины моей жизни, и здесь самое время оглянуться назад и обдумать пройденный путь. Меня часто спрашивают, оттого ли я стал биологом, что в детстве жил в Африке. Мне хотелось бы ответить утвердительно, но я совсем в этом не уверен. Да и разве можно знать, как повлияло бы на нашу дальнейшую жизнь какое-либо изменение, случись оно на ранних ее этапах? У моего отца было ботаническое образование, а мать знала названия всех полевых цветов, какие только могут попасться вам на глаза, и оба они всегда спешили удовлетворить любопытство ребенка по поводу чего бы то ни было в окружающем мире. Сыграло ли это важную роль в моей жизни? Да, разумеется.

Моя семья перебралась в Англию, когда мне было восемь лет. Что, если бы этого не случилось? Меня в последний момент решили отправить в Аундл, а не в Мальборо. Определила ли эта произвольная перемена мое будущее? Обе школы были только для мальчиков. Психолог, возможно, предположил бы, что я стал бы более социализованным человеком, если бы учился в школах совместного обучения. Я почти чудом поступил в Оксфорд. Что, если бы я провалил экзамены (по-видимому, это чуть было не произошло)? Что, если бы у меня не вел консультаций Нико Тинберген и в итоге я стал бы работать над диссертацией по биохимии, как первоначально и собирался, а не по поведению животных? Ведь это, разумеется, изменило бы весь ход моей жизни. Вполне вероятно, что я не написал бы ни одной книги.

Но не исключено, что все дороги в жизни призваны вести к какой-то одной стезе, притягивающей нас к себе как магнит, даже если мы временно отклоняемся в сторону. Если бы я стал биохимиком, не смог ли бы я вернуться на путь, который привел меня к “Эгоистичному гену”, пусть даже с некоторым молекулярным уклоном? Быть может, притяжение моей стези заставило бы меня написать (опять же, пусть с биохимическим уклоном) и все остальные из дюжины моих книг. Я в этом сомневаюсь, но сама возможность “вернуться на стезю” довольно любопытна, и мы к ней… э-э-э… еще вернемся.

Все это требует довольно серьезных допущений. Возьмем нечто предельно банальное, но, как будет показано, исключительно важное. Я уже писал, что мы, млекопитающие, можем быть обязаны своим существованием тому, что какой-то динозавр однажды чихнул. Что, если бы именно в некий

определенный момент, а не в какой-нибудь другой чихнул Алоис Шикльгрубер и это случилось бы еще до середины 1888 года, когда был зачат его сын Адольф Гитлер? Я, конечно, понятия не имею о точной последовательности событий, которая привела к его зачатию, и о чихании герра Шикльгрубера нет, разумеется, никаких исторических данных, но я не сомневаюсь, что даже такого банального события, как чихание, случись оно, скажем, в 1858 году, было бы более чем достаточно, чтобы изменить ход истории. Роковой сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку, из которой вырос Адольф Гитлер, был одним из многих миллиардов сперматозоидов, произведенных в течение жизни его отцом, и то же самое можно сказать о двух его дедушках, четырех прадедушках и так далее. Не только возможно, но, думаю, несомненно, что одно чихание, случившееся за много лет до того, как Гитлер был зачат, могло непосредственно привести к тому, что тот самый сперматозоид банально не достиг бы той самой яйцеклетки, тем самым изменив весь ход истории XX века, в том числе и мое существование. Я, конечно, отнюдь не отрицаю, что нечто вроде Второй мировой войны вполне могло произойти и без Гитлера, и вовсе не утверждаю, будто злое безумие Гитлера было с неизбежностью предопределено его генами. Если бы Гитлер получил другое воспитание, он вполне мог бы вырасти хорошим человеком или, по крайней мере, не стать влиятельным. Но несомненно, что само его существование и развязанная им война, как мы ее знаем, были результатом счастливого (точнее, несчастного) случая, позволившего одному сперматозоиду достичь своей цели.

Сперматозоидов сказочный рой
Мчался в забег.
Только один из них, маленький Ной,
Успел на ковчег.

Выжить один на один миллион
Мог бы вполне
Новый Шекспир, и Ньютон, и Джон Донн –
А выпало мне.

Всякий судьбы мог избегнуть печальной,
Но лишь ничтожнейший смог.
Всем было б лучше, гомункул нахальный,
Если б ты тихо издох!

Олдос Хаксли

Допустим, что в определенный момент отец Адольфа Гитлера чихнул бы и тот никогда не появился бы на свет. Не появился бы и я, обязанный своим невероятным зачатием Второй мировой войне – а также многим другим, не столь значительным событиям. И мы, конечно, можем рассуждать подобным образом и о событиях из жизни бесчисленных поколений наших предков, вплоть до того гипотетического динозавра, предопределившего судьбу млекопитающих, о котором мы уже говорили.

Принимая во внимание всю зыбкость той последовательности случайных событий, которая привела к нашему существованию, мы все же можем задаться вопросом (как я только что и делал), притягивается ли жизнь конкретного человека к некой определенной стезе, несмотря на броуновское движение чиханий и других банальных и не столь банальных происшествий. Что, если бы шутка моей мамы о том, что меня перепутали в роддоме с сыном преподобного Катберта Докинза, оказалась правдой и меня воспитали бы как сына в семье миссионера? Не стал ли бы я и сам тогда миссионером? По-моему, исходя из того, что теперь известно генетикам, на этот вопрос нужно ответить “нет, скорее всего, нет”.

Что, если бы моя семья осталась в Африке и я продолжил учиться в школе Орла, а не перевелся бы в Чейфин-Гроув и если бы затем меня отправили в Мальборо, а не в Аундл? Поступил ли бы я тогда в Оксфорд и познакомился ли с Нико Тинбергеном? Это не исключено, потому что мой отец чертовски хотел, чтобы я учился в Баллиол-колледже, как и дюжина других Докинзов из нашего рода. Несмотря на подобные развилки, жизнь может разными путями выходить на одну и ту же стезю. Вероятность этого зависит от факторов, в которых вполне можно разобраться научным путем, – к примеру, относительного вклада генов и образования в способности и наклонности взрослого человека.

Но давайте оставим философские рассуждения о чихающих предках и жизненных стезях и вернемся на территорию, которая лучше освоена. Оглядываясь на свою жизнь, задаешься вопросом, в какой степени твои достижения, а также твои неудачи можно было предсказать еще в детстве. В какой степени они

определяются качествами, доступными измерению? В какой – интересами и увлечениями твоих родителей? В какой – генами? Учителем, с которым тебе повезло, или летним лагерем, в который ты попал? Можно ли перечислить свои сильные и слабые стороны, плюсы и минусы и с их помощью разобраться в своих удачах и неудачах? Вот о какой территории я говорю. Освоением ее занимался, в числе прочих исследователей, и Дарвин в конце автобиографии.

Чарльз Дарвин – мой главный научный кумир. Философы любят говорить, что вся философия – лишь ряд примечаний к Платону. Я искренне надеюсь, что это не так, потому что подобное высказывание – весьма сомнительная похвала философии. Но у нас есть намного больше оснований считать, что вся современная биология – это ряд примечаний к Дарвину, что очень неплохо характеризует биологическую науку. Все биологи идут по стопам Дарвина, и нам подобает скромно брать с него пример, хотя едва ли кто-то сумеет его превзойти. На последних страницах автобиографии, оглядываясь на свою жизнь, он попытался перечислить личные качества, свойственные и несвойственные ему. В этом я тоже попытаюсь скромно последовать его примеру, взяв его метод самооценки за образец.

Я не отличаюсь ни большой быстротой соображения, ни остроумием – качествами, которыми столь замечательны многие умные люди, например Гексли[125].

По крайней мере, в этом я могу похвастаться родством характера с Дарвином, хотя в данном случае он сильно поскромничал.

Способность следить за длинной цепью чисто отвлеченных идей очень ограниченна у меня, и поэтому я никогда не достиг бы успехов в философии и математике.

Опять же, это можно сказать и обо мне, несмотря на смехотворно безосновательную репутацию человека с хорошими математическими способностями, которой я пользовался (или с которой вынужден был мириться) в годы работы на Бевингтон-роуд. Биолог-математик Джон Мейнард Смит обворожительно удивлялся тому, как можно “думать прозой”. Он писал об этом в “Лондонском книжном обозрении” в конце своей рецензии на две мои книги: “Эгоистичный ген” и его продолжение (адресованное профессиональным биологам) – “Расширенный фенотип”:

Я оставил напоследок то, что кажется мне самой странной особенностью обеих книг, потому как подозреваю, что многим другим это не покажется странным. Особенность эта состоит в том, что ни в одной из них нет ни строчки математики, и тем не менее я безо всякого труда следую за ходом рассуждений автора,

и в них, насколько я могу судить, нет логических ошибок. Более того, едва ли можно сказать, что Докинз вначале формулирует свои идеи в математических терминах и лишь затем излагает их прозой: судя по всему, он и думает прозой (хотя, быть может, немаловажно, что, когда он писал “Эгоистичный ген”, он приходил в себя после тяжелой зависимости от программирования – занятия, которое требует ясности мысли и абсолютной точности выражения). Жаль, что большинство авторов, пишущих о связи эволюции с генетикой, не опираясь на сложные математические выкладки, или трудны для понимания, или заблуждаются, а нередко и то и другое. Докинз – счастливое исключение из этого правила.

Но вернемся к автобиографическому монологу Дарвина:

В одном отношении память моя крайне слаба: я никогда не в состоянии был помнить какую-либо отдельную дату или стихотворную строку дольше, чем в течение нескольких дней.

Вполне возможно, что это и правда было так, но непохоже, чтобы данная особенность сильно помешала Дарвину в его работе. Моя же способность запоминать стихи слово в слово не сослужила мне особой службы в занятиях наукой, хотя и обогатила мою жизнь, и я ни за что не хотел бы этой способности лишиться. Кроме того, не исключено, что чувство поэтического ритма оказывает некоторое влияние на литературный стиль.

В своих привычках я методичен, и это принесло мне немалую пользу при моем своеобразном способе работы. Наконец, благодаря тому, что я не должен был зарабатывать себе на хлеб, у меня было достаточно досуга. Даже плохое здоровье, хотя и отняло у меня несколько лет жизни, пошло мне на пользу, так как уберегло меня от рассеянной жизни в светском обществе и от развлечений.

Я далеко не методичен в своих привычках, и в моем случае именно это (а не плохое здоровье), вероятно, отняло у меня несколько лет жизни, которая могла бы быть более продуктивной. То же самое можно, к сожалению, сказать о рассеянной жизни в обществе и развлечениях (а также, в моем случае, об увлечении программированием), но ведь жизнь нужна, чтобы жить, а не только чтобы быть продуктивной. К тому же я должен был зарабатывать себе на хлеб. Но, хотя я без малейших угрызений совести игнорирую упреки в свой адрес (да, такие случаи бывали!) за то, что я белый, что я мужчина и что я получил достойное образование, я не могу отрицать, что пользовался некоторыми незаслуженными привилегиями, если сравнивать мое детство, отрочество и юность с детством, отрочеством и юностью тех, кому повезло меньше. По-моему, за подобные привилегии

следует извиняться не больше, чем за гены или черты лица, но я вполне осознаю, что действительно пользовался ими. И я благодарен родителям за свое детство, которое многие назвали бы очень счастливым. Кто-то, пожалуй, усомнится в том, что мне так уж повезло в семилетнем возрасте быть отосланным из дома в спартанские условия школы-интерната, но даже за это я имею основания благодарить своих родителей, от которых возможность дать мне такое образование потребовала немалых расходов и ощутимых жертв.

Дарвин в свое время чуть-чуть изменил своей всегдашней скромности, обсуждая собственные (по любым критериям огромные) умственные способности:

Некоторые из моих критиков говорили: “О, наблюдатель он хороший, но способности рассуждать у него нет!” Не думаю, чтобы это было верно, потому что “Происхождение видов” от начала до конца представляет собою одно длинное доказательство, и оно убедило немало способных мыслить людей. Эту книгу нельзя было бы написать, не обладая известной способностью к рассуждению.

Ах, мистер Дарвин! (Вы так никогда и не стали сэром Чарльзом, хотя это и позор для нашей системы почестей.) За последнее предложение вам следовало бы получить приз на всемирном конкурсе скромных преуменьшений. Ваша способность рассуждать ставит вас в ряд величайших гениев мысли и убеждения всех времен!

Я не отличаюсь хорошими способностями к наблюдению. Я этим нисколько не горжусь и изо всех сил пытаюсь преодолеть данный недостаток, но я не оправдал надежд своих отца и деда по отцу, что тоже сделаюсь натуралистом. Мне не хватает терпения, и я не разбираюсь по-настоящему хорошо ни в одной группе животных и ни в одной группе растений (хотя мне и повезло родиться в семье двух знатоков ботаники). Я могу узнать по песне всего полдюжины обычных в Британии певчих птиц, умею находить на нашем ночном небе примерно столько же созвездий и знаю примерно столько же семейств полевых цветов. Намного лучше я разбираюсь в типах, классах и отрядах царства животных, что неудивительно, ведь я учился зоологии в Оксфорде, где на классический подход к этому предмету делают такой упор, как ни в одном другом университете.

Судя по всему, я довольно неплохо умею убеждать. Стоит ли говорить, что идеи, в справедливости которых я пытаюсь убеждать людей, – чепуха по сравнению с идеями Дарвина, не считая того, что дело убеждения людей в правоте самого Дарвина еще далеко не завершено и я один из тех, кто возделывает

посаженный им виноградник? Но рассказ об этом относится ко второй половине моей жизни, в течение которой я написал бóльшую часть своих книг. Этот рассказ должен появиться во втором томе автобиографии, который выйдет через пару лет – если непредсказуемое событие, эквивалентное чиханию, не унесет меня раньше.

Благодарности

Я хотел бы поблагодарить многих людей за советы, помощь и поддержку. Это Лалла Уорд-Докинз, Джин Докинз, Сара и Майкл Кеттлуэлл, Мэриан Стэмп-Докинз, Джон Смитис, Салли Гаминара, Хилари Редмон, Шейла Ли, Джиллиан Сомерскейлс, Николас Джонс, Джон Брокман, Дэвид Глинн, Росс и Кристин Хилдебранд, Билл Ньютон Данн, Р. Элизабет Корнуэлл, Ричард Румари, Алан Хисом, Иэн Макэлпайн, Майкл Оттуэй, Говард Стрингер, Анна Сэндер, Пола Кирби, Стивен Фрир, Барт Воорзангер, Дженнифер Джекет, Люси Уэйнрайт, Бьёрн Меландер, Кристер Стурмарк, Грег Стайклезер, Анн-Катрин Элерс, Ян и Ричард Джендалл и Рэнд Расселл.

Источники цитат

Every effort has been made to trace the copyright holders, but any who have been overlooked are invited to get in touch with the publishers.

'To the Balliol Men Still in Africa' by Hilaire Belloc reprinted by permission of Peters Fraser & Dunlop (www.petersfraserdunlop.com) on behalf of the Estate of Hilaire Belloc.

Extract from *Iris Murdoch: A Life* by Peter J. Conradi © Peter J. Conradi, 2001, reprinted by permission of A. M. Heath & Co Ltd and W. W. Norton.

Extract from *The Autobiography of Bertrand Russell* by Bertrand Russell © 2009 The Bertrand Russell Peace Foundation, reprinted by permission of Taylor & Francis Books UK and The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd.

Lyrics from 'A Song of Reproduction' reprinted by permission of the Estates of Michael Flanders & Donald Swann 2013. Any use of Flanders & Swann material, large or small, should be referred to the Estates at leonberger@donaldswann.co.uk.

Extract from 'Summoned by Bells' from *Collected Poems* by John Betjeman © 1955, 1958, 1962, 1964, 1968, 1970, 1979, 1981, 1982, 2001 reprinted by permission of John Murray (Publishers) and The Estate of John Betjeman.

Extract from 'A Hike on the Downs' from *Collected Poems* by John Betjeman © 1955, 1958, 1962, 1964, 1968, 1970, 1979, 1981, 1982, 2001 reprinted by permission of John Murray (Publishers) and The Estate of John Betjeman.

Extract from *The Loom of Years* by Alfred Noyes © 1902 reprinted by permission of The Society of Authors as the Literary Representative of the Estate of Alfred Noyes.

'Blue Suede Shoes' by Carl Lee Perkins © 1955, 1956 Hi Lo Music, Inc. © Renewed 1983, 1984 Carl Perkins Music, Inc. Administered by Wren Music Co., Division of MPL Music Publishing, Inc. All rights reserved. International copyright secured. Used by permission of Music Sales Limited.

Extract from *The Silent Traveller in Oxford* by Chiang Yee © 1944 Signal Books Ltd.

Extract from W. D. Hamilton, 'The Play by Nature', *Science* 196: 757 (1977), reprinted with permission from AAAS.

Extract from Leda by Aldous Huxley. Copyright © 1929 by Aldous Huxley. Reprinted by permission of Georges Borchardt, Inc., on behalf of the Aldous and Laura Huxley Trust. All rights reserved.

Extract from 'Genes and Memes' by John Maynard Smith, first

published in *London Review of Books,* 4 February 1982.

Extract from ‘Selective Neurone Death as a Possible Memory Mechanism’ by Richard Dawkins, first published in Nature (Nature Publishing Group), 8 January 1971.

Extract from Richard Dawkins’ Foreword to John Maynard Smith, *The Theory of Evolution* (Cambridge University Press, 1993).

Extracts from Preface, chapter 1 and chapter 13 of *The Selfish Gene* by Richard Dawkins (1976). Reprinted by permission of Oxford University Press.

Источники иллюстраций

All photos come from the Dawkins family collection (thanks to Sarah Kettlewell) except where otherwise acknowledged. Every effort has been made to trace copyright holders, but any who have been overlooked are invited to get in touch with the publishers.

рисунки в тексте

Cerura vinula: photo courtesy of N. Tinbergen.

Цветные вклейки

Вклейкапервая

St. Mary's Church, Chipping Norton: photo courtesy Nicholas Kettlewell.

Clinton Edward Dawkins (1880), Clinton George Evelyn Dawkins (1902), Clinton John Dawkins (1934), Arthur Francis 'Bill' Dawkins (1935/6): photos courtesy Balliol College, Oxford.

Вклейкавторая

Emperor Swallowtail (*Papilio ophidicephalus*): © Ingo Arendt/ Minden Pictures/Corbis.

Вклейкатретья

The Great Hall, Oundle School, Northamptonshire: © Graham Oliver/Alamy; Ioan Thormas, 1968: Oundle School Archive.

Niko Tinbergen painting hens' eggs to resemble gulls' eggs, *c.*1964: Time & Lift Pictures/Getty Images; Mike Cullen, 1979: Monash University Archives, photo Hervé Alleaume; the Surrey Puma hunt: photo courtesy Virginia Hopkinson; People's Park demonstrators and the National Guard, Berkely, 19 May 1969: © Bettmann/Corbis; punting in Oxford: photo courtesy Lary Shaffer; Peter Medawar at University College, 26 November 1960: Getty Images.

RD and Ted Burk, November 1976: Time & Life Pictures/Getty Images; Danny Lehrman and Niko Tinbergen: photo courtesy Professor Colin Beer; Niko Tinbergen filming: courtesy Larry Shaffer.

William D. Hamilton and Robert Trivers, Harvard, 1978: photo courtesy Sarah B. Hrdy; Michael Rodgers: photo courtesy Nigel Parry; RD and George C. Williams: photo by Rae Silver courtesy John Brockman; John Maynard Smith: Corbin O'Grady Studio/Science Photo Library; *The Selfish Gene*: courtesy Keith Cullen.

Вкладка

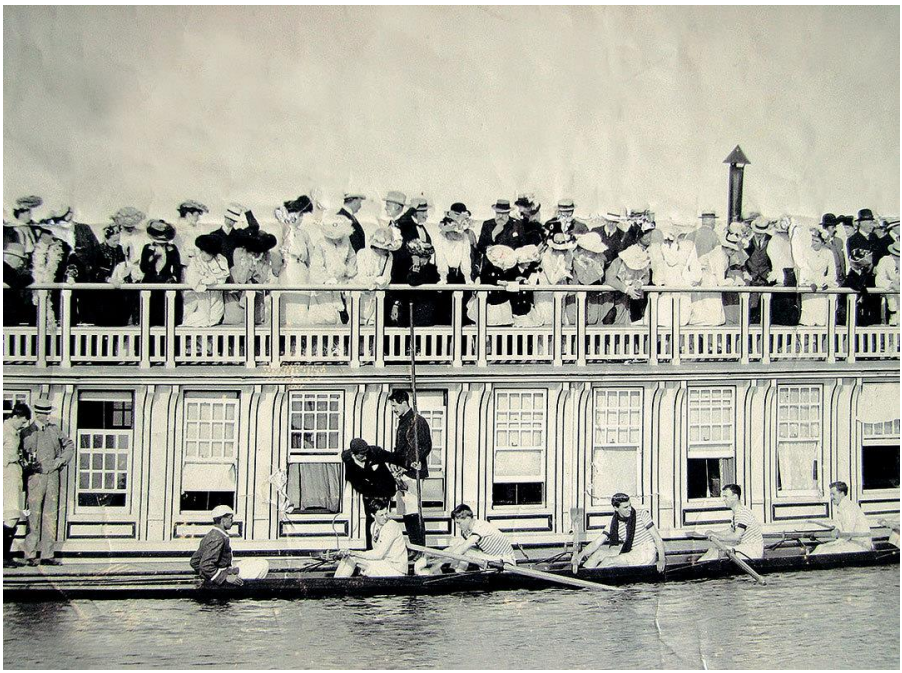


Семья Докинз была связана с окрестностями городка Чиппинг-Нортон с начала XVIII века, когда мой прапрапрапрапрадед член парламента Генри Докинз соорудил семейный мавзолей для “себя и своих наследников” (как гласит надпись на мемориальной табличке) в церкви Св. Марии.



На фоне написанного в 1774 году портрета его семьи кисти

Бромптона в 1958 году в усадьбе Овер-Нортон-Хаус была сделана фотография нашей семьи (вверху). Мой дедушка Докинз, в розовом галстуке гребного клуба “Леандр”, сидит между своей женой Энид и невесткой Дианой. Перед ним сидит моя сестра Сара, а за ним, между мной и дядей Кольером, стоит дядя Билл. Мой отец стоит крайним слева. Моя мать сидит между Энид и женой Кольера Барбарой.



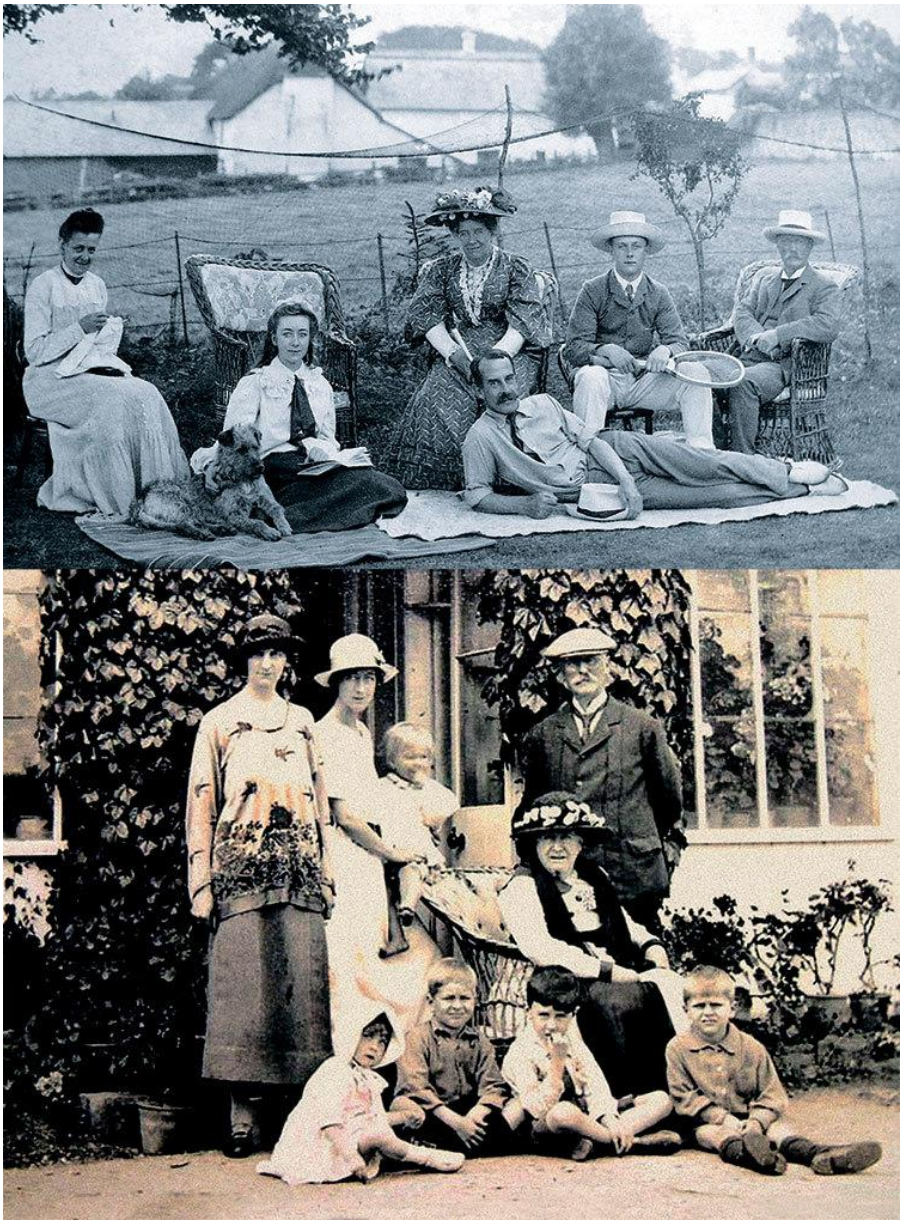
Не стоит ли Зулейка Добсон среди зрителей на барже, принадлежащей Баллиол-колледжу, перед которой мой дедушка Клинтон Докинз (он наклонился вперед) и другие члены команды колледжа готовятся участвовать в соревновании по гребле?



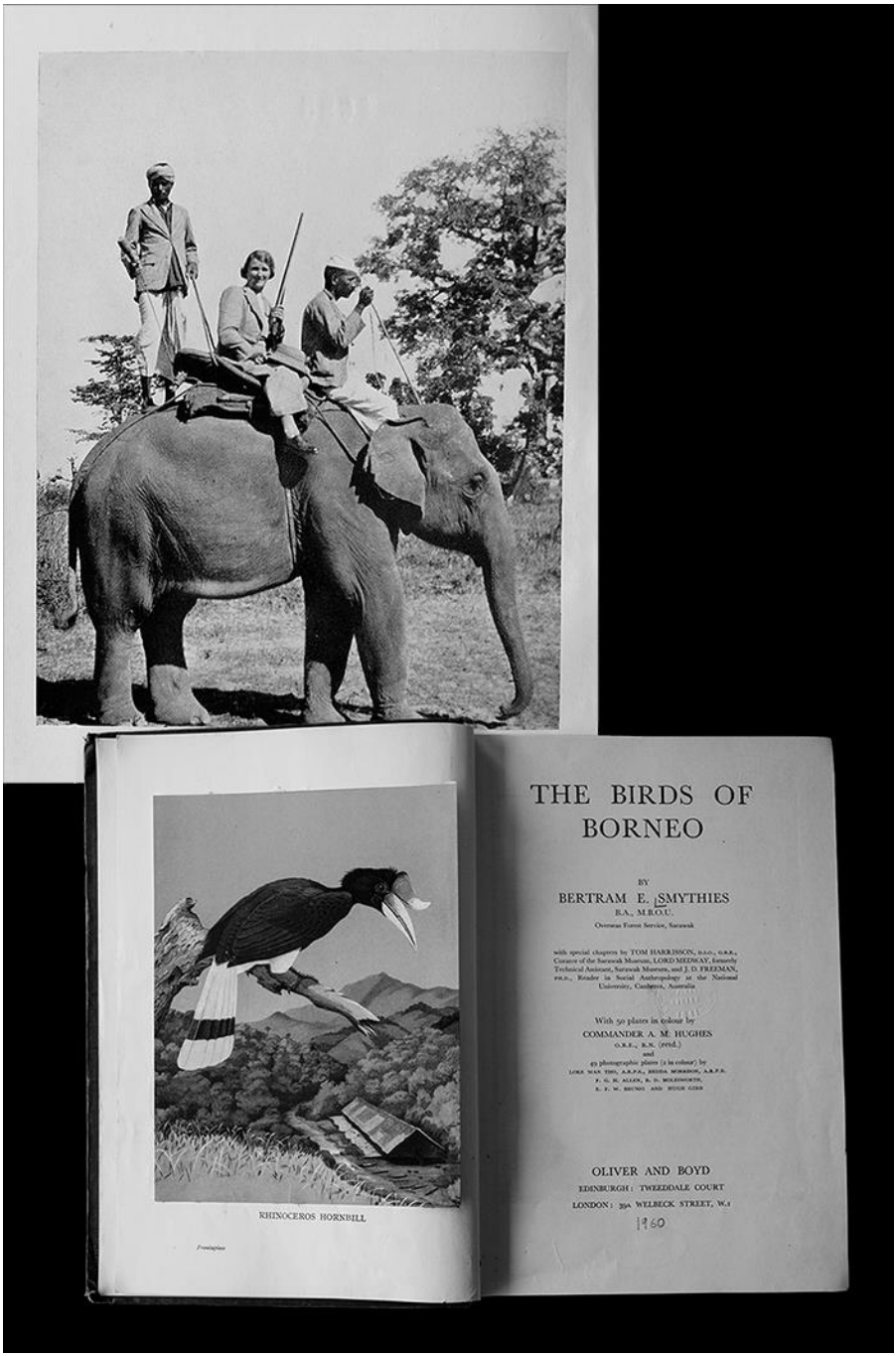
Когда мой дедушка был студентом Баллиол-колледжа **(справа)**, за его обучение платил его дядя Клинтон Эдвард Докинз **(слева)**, вольнодумец, увековеченный в одной из эпиграмм, посвященных преподавателям и студентам этого колледжа.



Детство моего отца **(слева)** и его брата Билла, игравшего в регби **(справа)**, прошло под сенью бирманских лесов **(вверху)**. Впоследствии они пошли по стопам своего отца и нескольких других Докинзов и тоже учились в Баллиол-колледже.

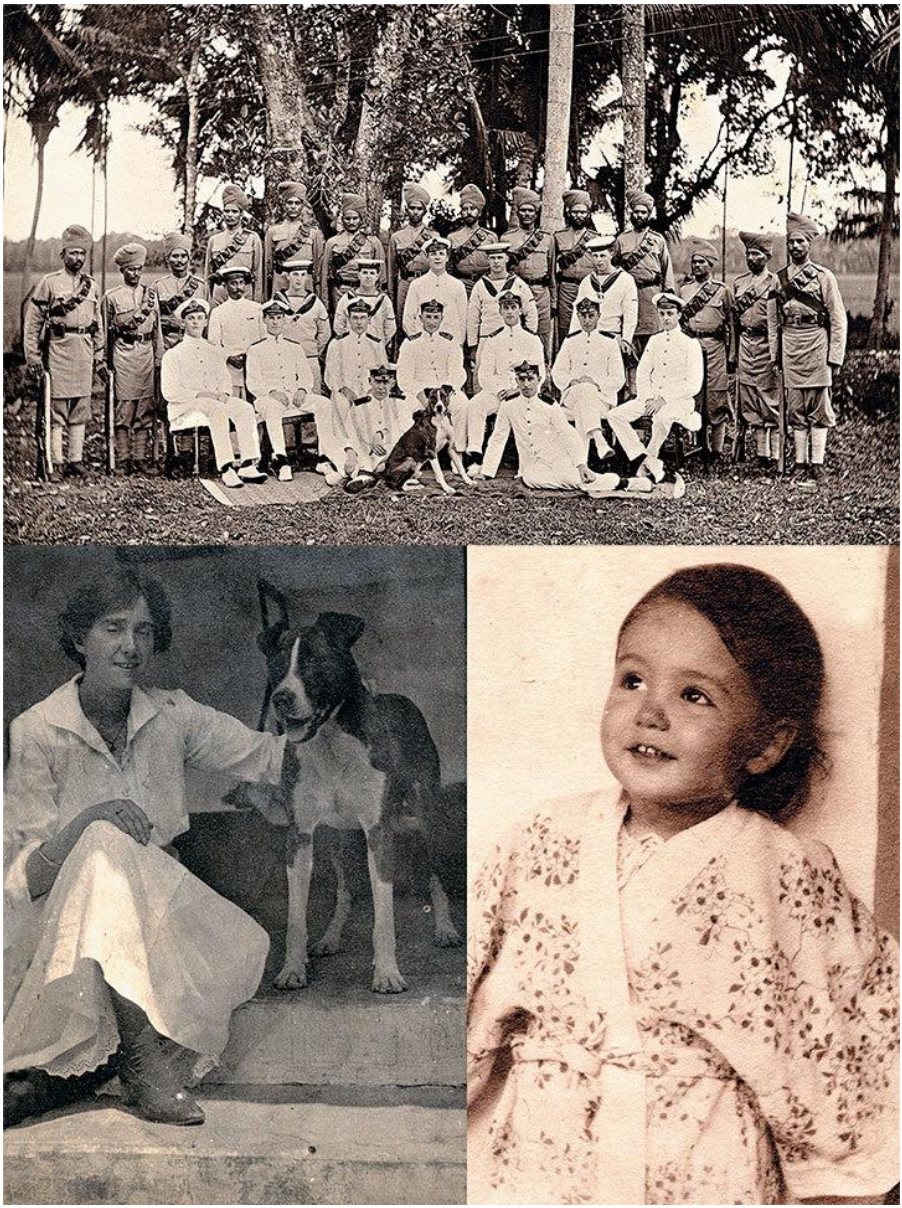


Семья Смитис в Долтоне (графство Девон). **Вверху:** Моя бабушка по отцу, Энид (с собакой и книгой), сидит в компании своей матери (в очень изящной шляпке), брата Ивлина (с теннисной ракеткой) и отца (в кресле), а также двух неопознанных гостей. **Внизу:** Двоюродные братья Смитисы и их родня примерно в 1923 году. На земле сидят (справа налево): Билл, Йорик, Джон и сестра Йорика Белинда. На руках у матери Кольер.



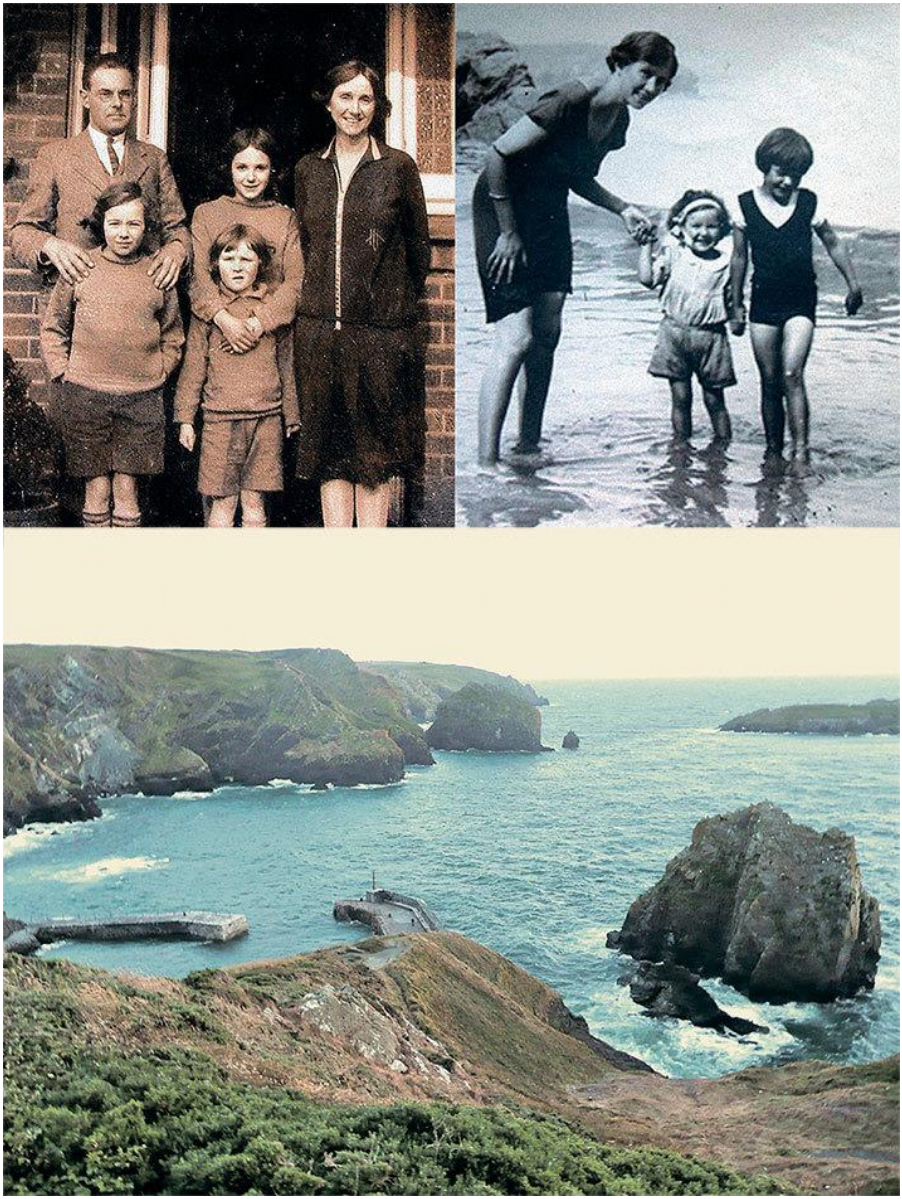
Вверху: Жена Ивлина Смитиса Олив была известна как “Тигриная леди” за свое сомнительное хобби – охоту на тигров. Интерес к природе ее сына, двоюродного брата моего отца

Бертрама Смитиса, был менее разрушительным и более научным **(внизу)**.

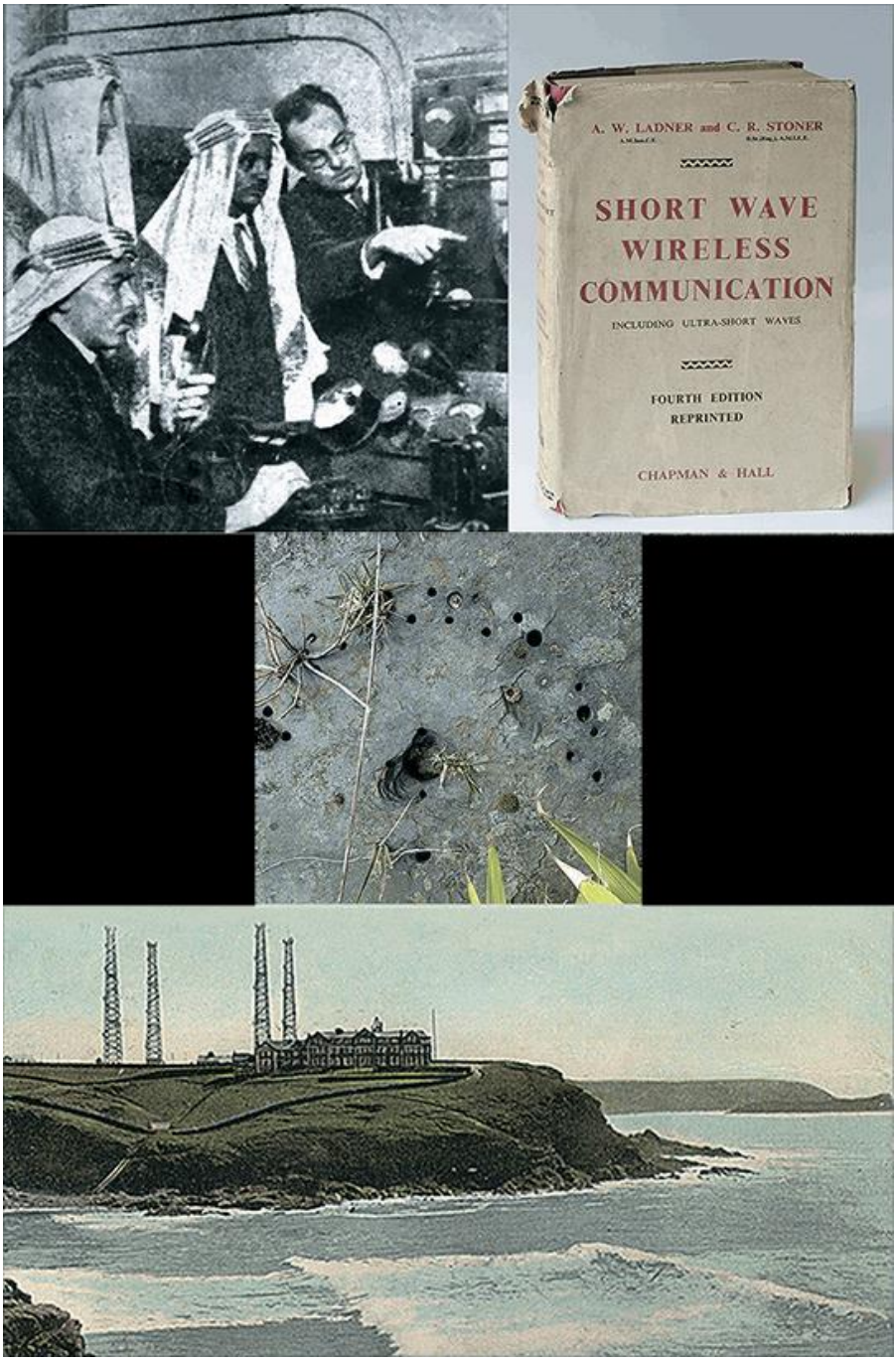


Вверху: Мой дед по матери Билл Лэднер (сидит третьим слева) был в числе офицеров военно-морских сил, направленных во время Первой мировой войны на Цейлон для строительства радиостанции. **Внизу слева:** Не была ли эта собака талисманом радиостанции? Кажется, именно ее же гладит моя бабушка Конни. Их семья вернулась в Англию, когда моей матери, Джин

(внизу справа), было три года.

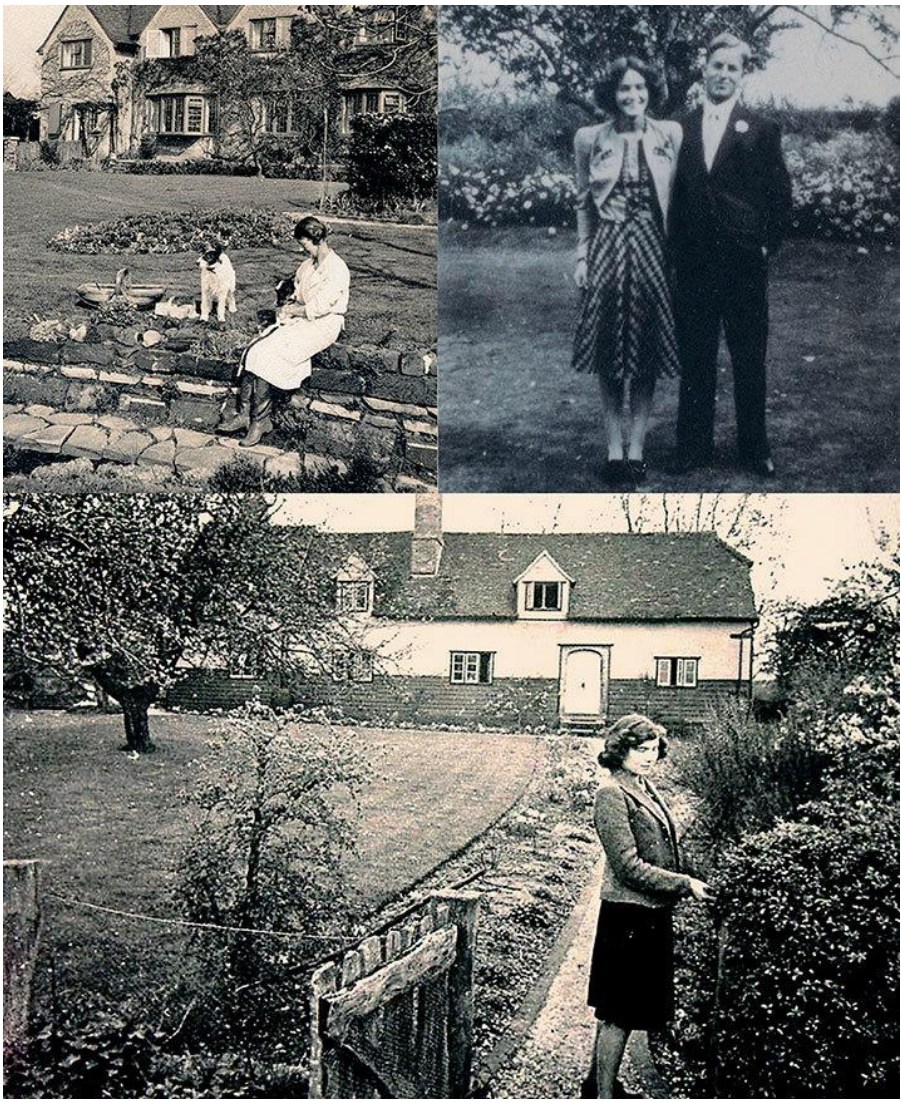


Семья жила в Эссексе. **Вверху слева:** Моя мать обнимает своего юного друга. Отпуск они проводили в Маллионе в Корнуолле **(внизу)**. **Вверху справа:** мою тетю Диану на пляже держат за руки ее мать и сестра.

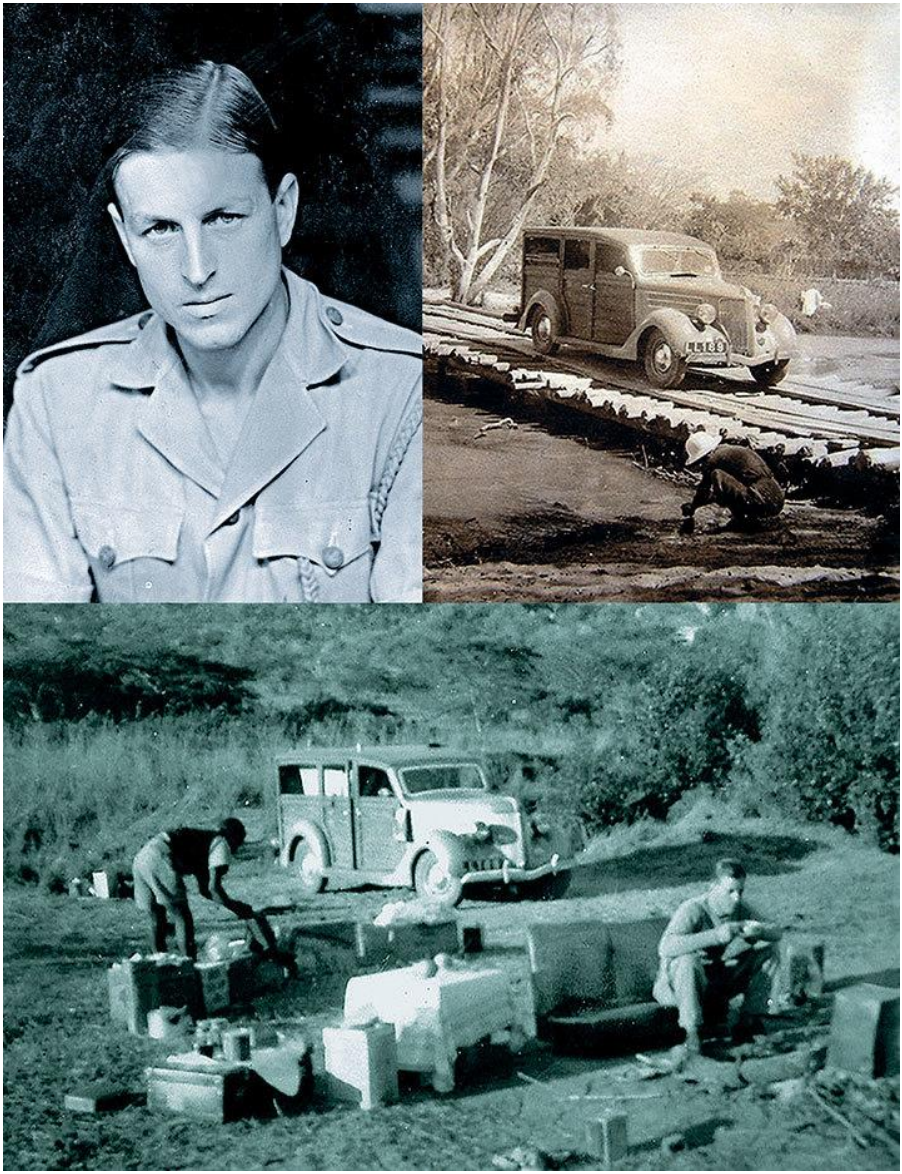


Мой дедушка Лэднер **(вверху)**, радиоинженер, работавший на фирму Маркони, автор классического учебника по коротковолновой радиосвязи **(вверху справа)**, демонстрирует какое-то оборудование членам арабской королевской семьи. Он познакомился с моей бабушкой в Корнуолле, где работал на

радиостанции на мысе Полдью **(внизу)**, неподалеку от Маллиона. Некоторыми из сланцевых плит, использовавшихся на этой радиостанции в качестве основы для диэлектрических приборных панелей, были впоследствии вымощены дорожки перед домом нашей семьи в Маллионе **(в центре)**.



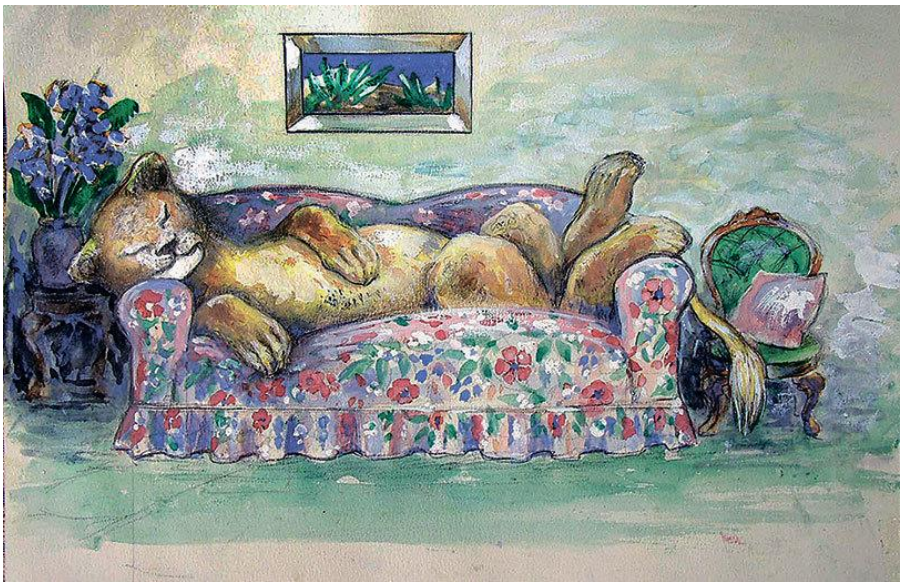
Слева: Моя бабушка Энид и ее собака Сьюзан в саду, где познакомились мои родители, перед домом Хоппет в селе Литтл-Бэддоу. В самом начале войны они поженились **(вверху)** в той же деревне, где дедушка и бабушка по материнской линии владели домом Уотер-Холл **(внизу)**. На переднем плане – младшая сестра моей матери Диана.



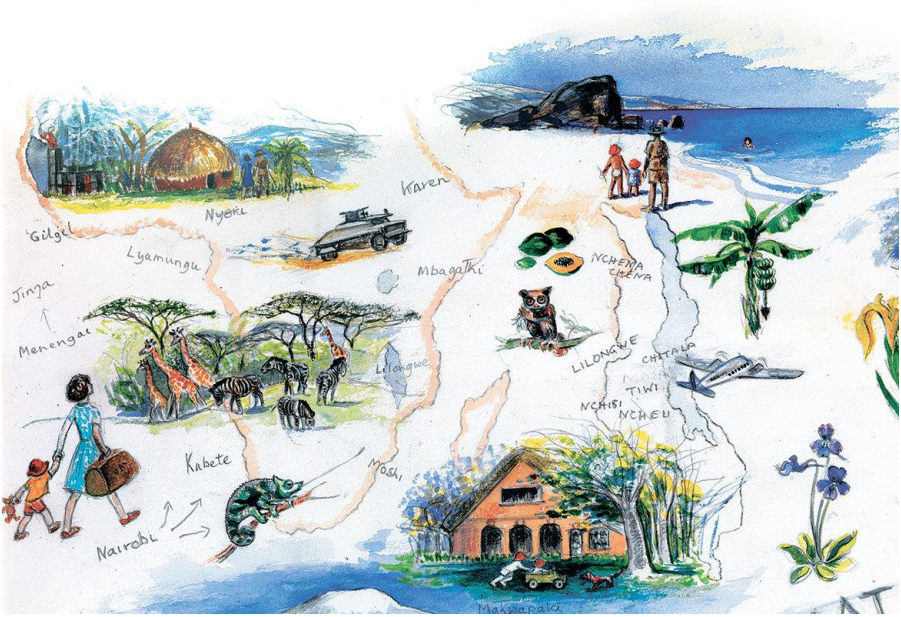
По прибытии в Африку в мае 1942 года моя мать узнала, что мой отец **(вверху слева)** призван в армию, и вместе с ним (незаконно) поехала в Кению на “форде-универсале” “Люси Локетт”, запечатленном здесь **(вверху справа)** на примитивном мосту, перед которым мама умывается в реке, а также во время завтрака на одной из многих стоянок по пути **(внизу)**.



В одном из мест, где мой отец проходил подготовку, он попал на похороны лорда Баден-Пауэлла и – как бывший скаут – стал участником похоронной процессии. По-моему, он смотрится очень браво в униформе Королевских африканских стрелков, маршируя (не в ногу) рядом с лордом Эрроллом, который вскоре был убит.



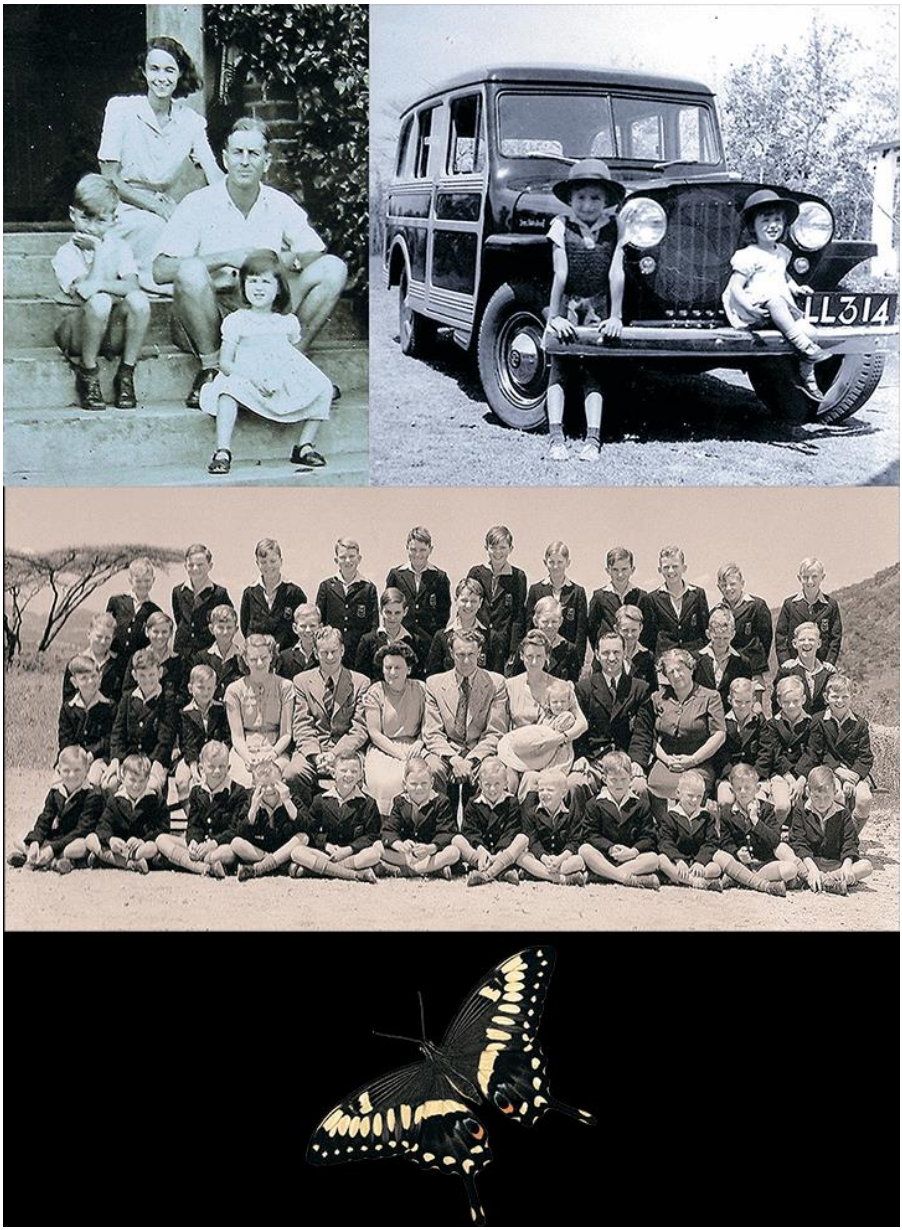
Для мамы повседневная жизнь в Кении во время войны была полна сюрпризов: на ее рисунке изображен эпизод со львицей.



У мамы была традиция запечатлевать важнейшие сцены и события из жизни нашей семьи на больших рисунках. Вот небольшая часть одного из них, озаглавленного “Дороги нашей жизни” и посвященного золотой свадьбе моих родителей в 1989 году. Помимо жанровых сценок и броневика моего отца в Сомалиленде здесь изображены мы с мамой, ведущей меня за руку, песчаный пляж на озере Ньяса, мой ручной хамелеон Хукарайя, наш ручной галаго Перси и наш дом в Маквапале, перед которым я толкаю машинку с сестрой Сарой навстречу таксе Туи.



Я с малых лет восхищался своим отцом **(вверху слева)** и вместе с ним поднимался в предгорья Килиманджаро **(вверху в центре)**. Бараза терпеливо мирился с моими настойчивыми попытками помогать ему толкать мою коляску **(внизу слева)**. Позже мы переехали в Ньясаленд и жили в поселке Маквапала **(внизу справа)**, где мне, судя по всему, наскучило смотреть на то, как моя мама вела на лужайке перед домом урок шитья. В 1946 году мой отец взял небольшой отпуск, который мы провели в Англии у дедушек и бабушек. Как раз в это время в Маллионе поженились мои дядя Билл и тетя Диана (**вверху справа** сидят рядом с моими родителями), и мы всей семьей ездили на пикник в бухту Кайнанс-Коув.



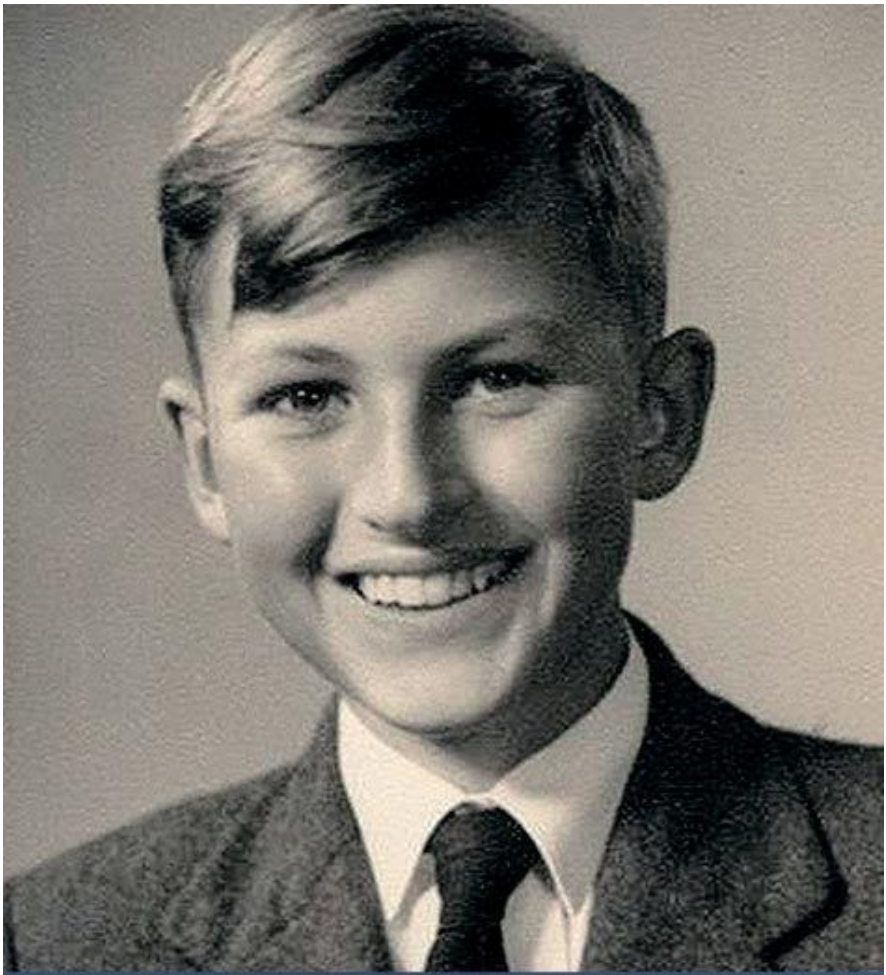
Вернувшись из Англии в Ньясаленд, мы жили в Лилонгве **(вверху слева)**, где мои родители купили нашу первую новую машину – “Ползучую Дженни” **(вверху справа)**. Родители отдали меня в школу-интернат – школу Орла в Южной Родезии. **В центре:** На этой фотографии Танк (директор) сидит в центре рядом с Копперс (заведующей хозяйством), по правую руку от которой сидит Дик (еще один учитель). Я – совсем маленький мальчик, сидящий третьим слева в том же ряду, а Дэвид Глинн,

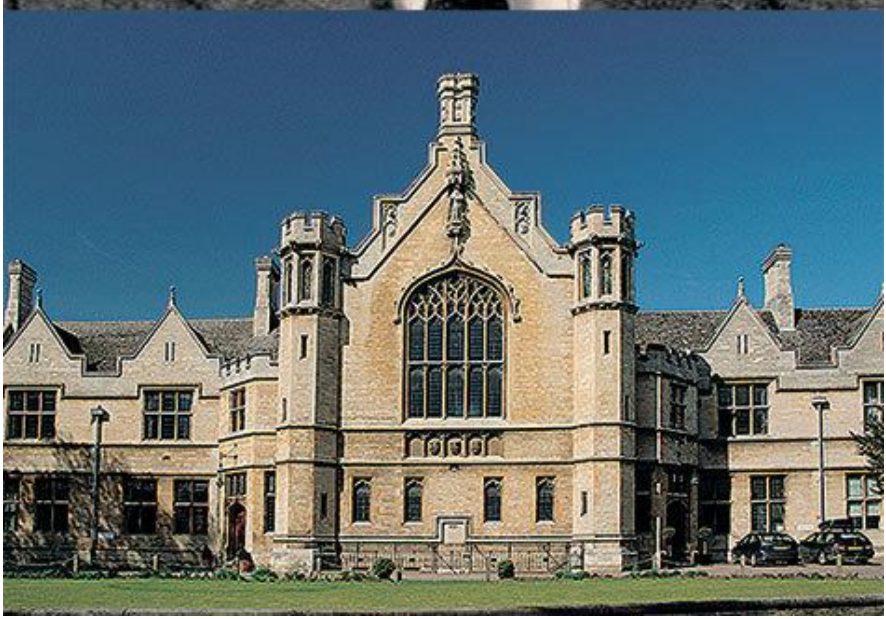
тоже маленький, сидит “зеркально” – третьим справа. Рядом с Дэвидом сидит Уотти, а рядом с ней – Пол. Мы с Дэвидом собирали прекрасных бабочек-парусников, которых он почему-то называл “рождественский папа” **(внизу)**.



Я и мои родители на свадьбе родственников (моя сестра Сара

играла роль подружки невесты – до наших собственных свадеб было еще далеко). К сожалению, на этой фотографии не видно, какого ярко-красного цвета был головной убор, который я носил, когда учился в Чейфин-Гроув.

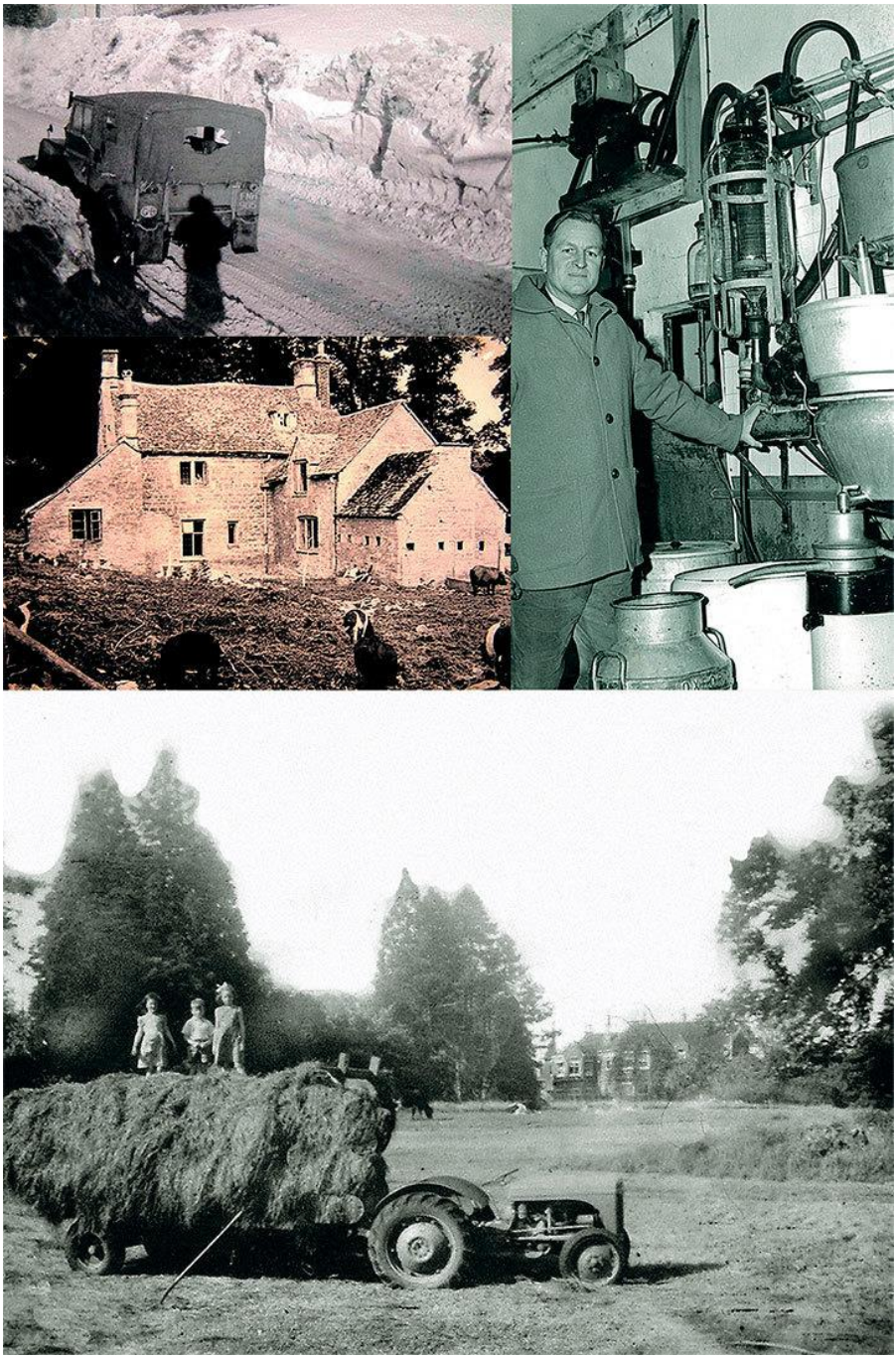




На этой фотографии, для которой я позировал во время своего первого семестра в Аундле (ниже), я выгляжу намного счастливее, чем был в ту пору.



Одним из лучших учителей в этой школе был Йоан Томас, запечатленный здесь прививающим своим ученикам интерес к живой природе и неутолимую любознательность.



Жизнь в Овер-Нортон-Парке. **Вверху слева:** Потрепанный “лендровер”, на котором мы ломились по бездорожью. **В центре слева:** Свиньи уэссекской породы, украшающие собой пейзаж, служивший нам садом при коттедже, где мы тогда (примерно в 1951 году) жили. **Вверху справа:** Мой изобретательный отец, гордо стоящий перед своим фирменным пастеризатором.

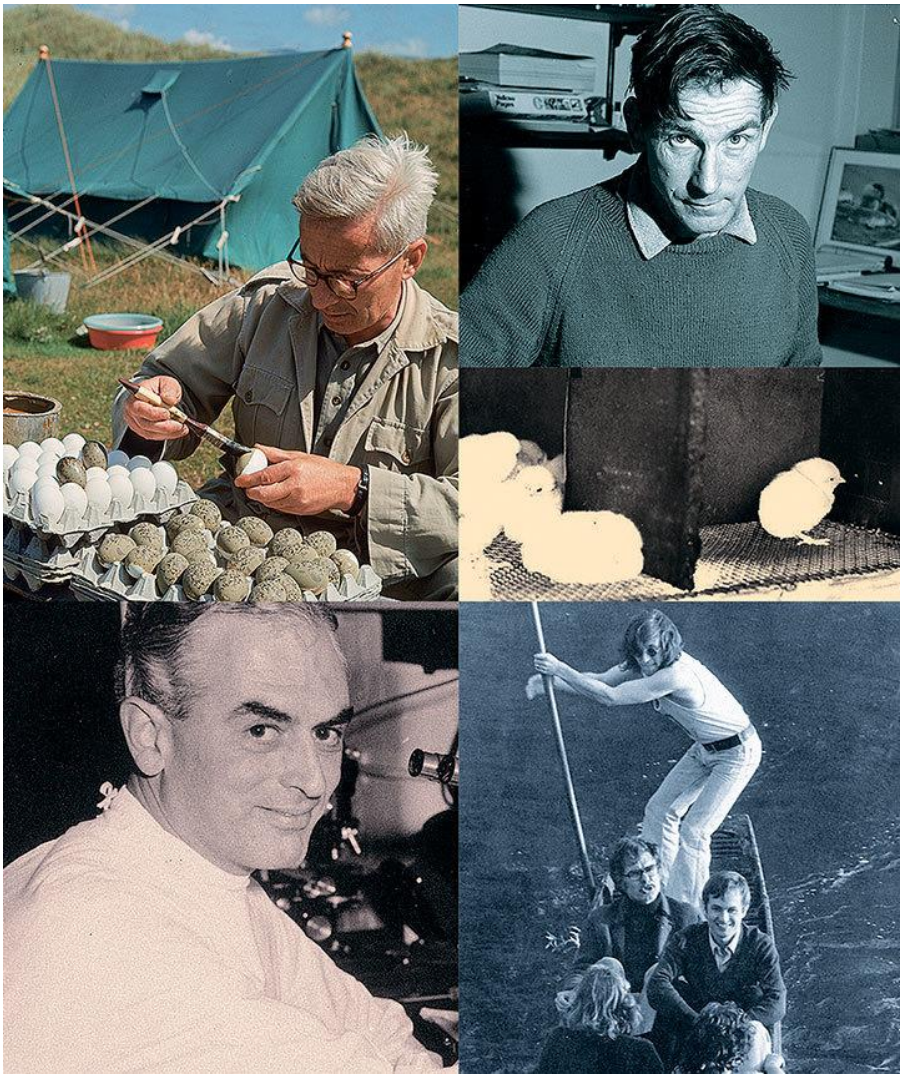
Внизу: заготовка сена с помощью нашего маленького серого “фергюсона”.



На каникулах я работал на родительской ферме, помогая собирать солому.



По стопам отца: переноска какой-то семейной реликвии.



Вверху слева: Нико в своей стихии, в окрестностях деревушки Рейвенгласс, за раскрашиванием поддельных яиц чаек, которые он подкладывал им в гнезда. **Вверху справа:** “Проницательный взгляд человека, который понимает, чт ты хочешь сказать, еще до того, как ты успеешь вымолвить хоть слово ‹…› скептический, насмешливый наклон бровей под взъерошенными волосами”. Майк Каллен, незабвенный учитель для меня и многих моих коллег. **Ниже:** Какую мишень клюнуть? Цыплята, которые никогда в жизни не видели света, падающего сверху. **Внизу слева:** Питер Медавар, еще до инсульта, изменившего его жизнь. **Внизу справа:** Джордж Барлоу, мой друг и наставник в Беркли, позднее приехал в Оксфорд, и мы как-то отправились поплавать на плоскодонке по реке Червелл. (С

шестом не Джон Леннон, а специалист по тритонам Тим Холлидей.)



Охота на “суррейскую пуму”. Отважный исследователь осматривает пейзаж в поисках диких зверей.



Дикие звери или испуганные мальчишки? Калифорнийская национальная гвардия нестройно пытается противостоять борцам за мир.



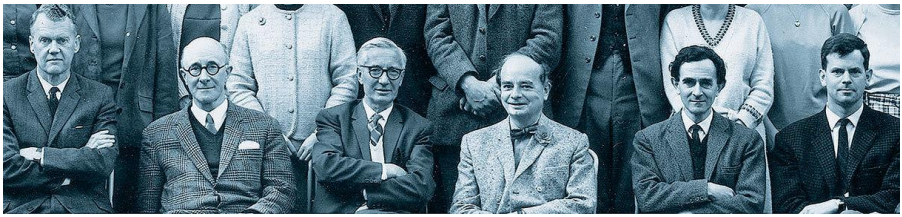
Мы с Тедом Берком регистрируем поведение сверчков с помощью микрофона и орг на Докинза.



Группа исследований поведения животных после переезда с Бевингтон-роуд. Мэриан крайняя слева. Я немного справа от центра.



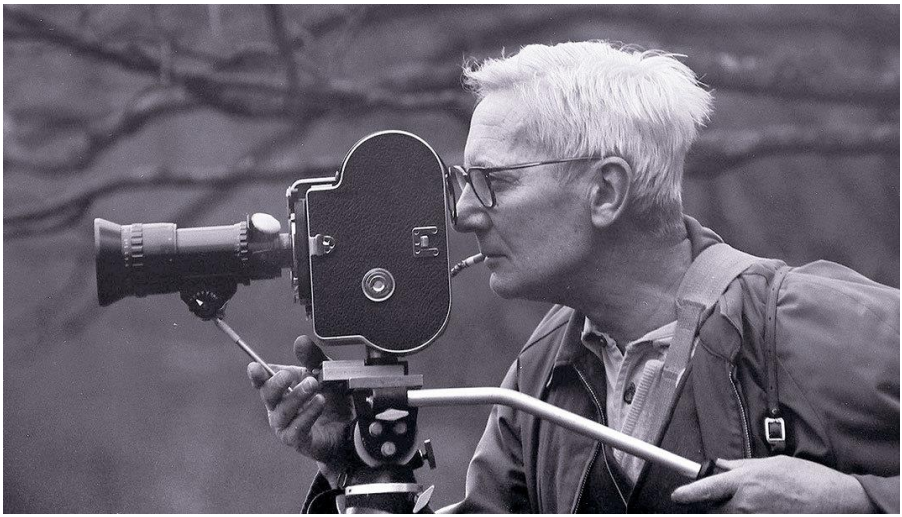
Компьютер PDP-8, такой же, как тот, от которого у меня выработалась зависимость на Бевингтон-роуд.



Профессор Прингл и его коллеги Эдмунд Бриско Форд, Нико Тинберген, Уильям Холмс, Питер Брунет, Дэвид Николс.



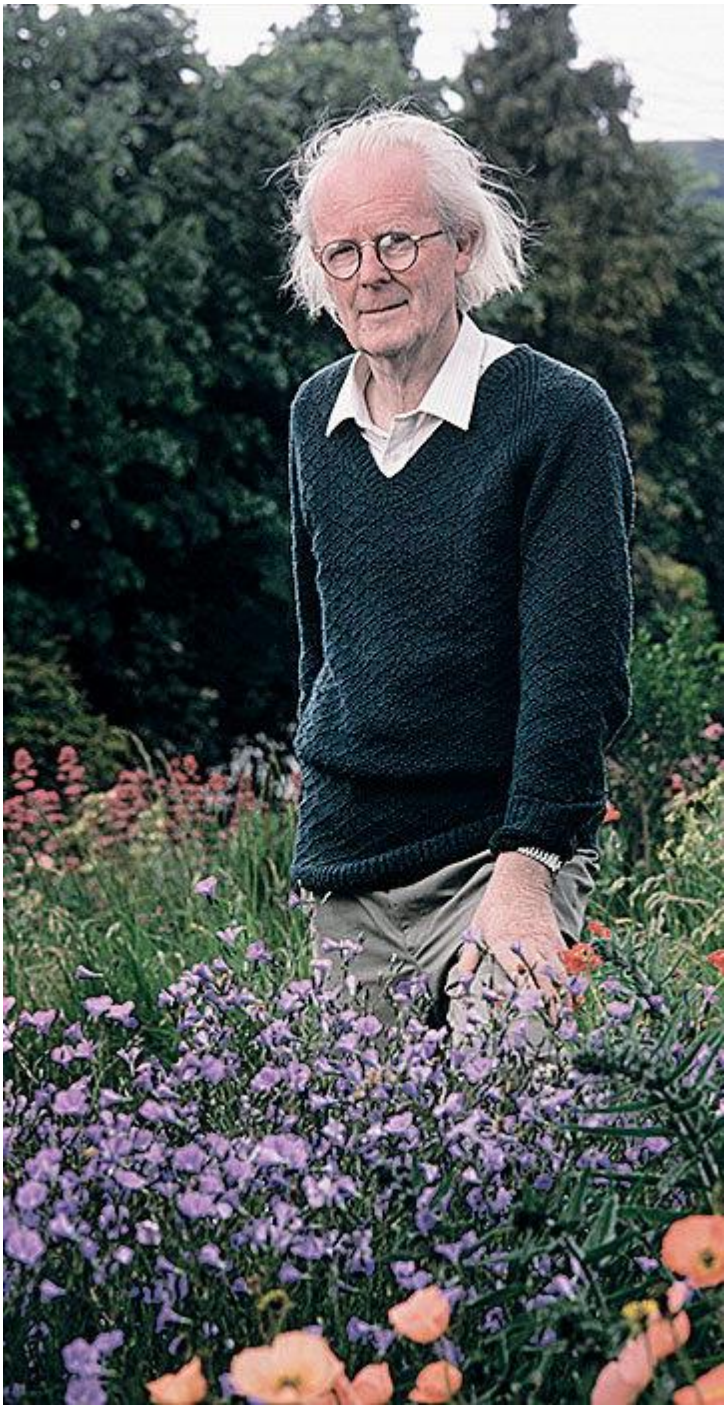
Дэнни Лерман (стоит) и Нико Тинберген (сидит справа) пытаются уладить свои разногласия.



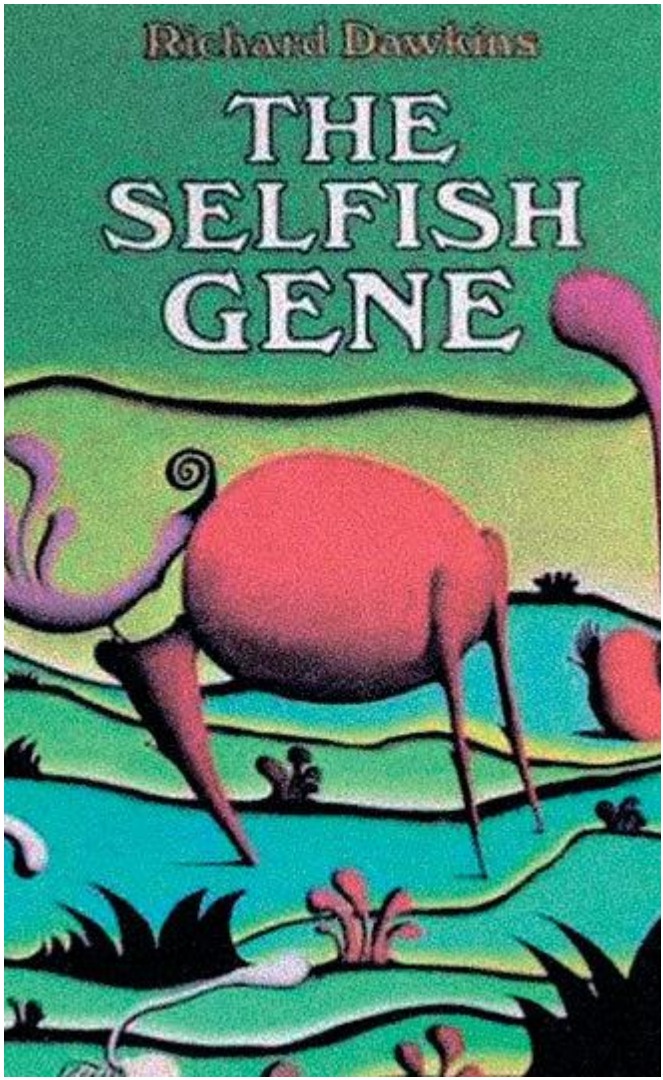
Снова Нико в своей стихии: успеет ли он сделать снимок до того, как пепел упадет с сигареты?



Глубокие мысли. Билл Гамильтон и Роберт Триверс бьются над какой-то теоретической проблемой во время визита Билла в Гарвард.



Бесконечно воодушевляющий Джон Мейнард Смит в своем любимом саду.



Первое издание “Эгоистичного гена” с картиной Десмонда Морриса на обложке.



Высокий, похожий на Линкольна Джордж Уильямс и я.



“Я должен заполучить эту книгу во что бы то ни стало!” Майкл Роджерс, плод К-отбора среди издателей научной литературы.

notes

Сноски

1

C. R. D.: Clinton Richard Dawkins и Charles Robert Darwin. – *Здесь и далее, если не указано иное, звездочками отмечены примечания переводчика.*

2

H. B. Wheatley, P. Cunningham. *London Past and Present* (London: Murray, 1891), vol. 1, p. 109. *Здесь и далее цифрами отмечены примечания автора.*

3

Стивен Ликок. *Гувернантка Гертруда, или Простодушие семнадцатилетней*. Пер. с англ. А. Вышемирского.

4

Год выхода английского издания этой книги.

5

Слова Фальстафа из второй части “Генриха IV”: “…а когда он раздевался, он напоминал двухвостую редьку-раскоряку с пририсованной сверху головой” (пер. Б. Пастернака).

6

Мастер (*master*) – глава некоторых колледжей в Оксфорде и ряде других университетов.

7

Перевод стихотворений выполнен Петром Петровым, если не указано иное. – *Прим. ред.*

8

Спунеризм – оговорка или игра слов, при которой слова “обмениваются” соответствующими звуками или частями (“нельзя ли у трамвала вокзай остановить” и т. п.).

9

См. онлайновое приложение к этой книге: https://richarddawkins.net/afw/.

10

И о котором я написал некролог (см. то же онлайновое приложение).

http://wittgensteinrepository.org/agora-alws/article/view/2448/2620.

12

Growing up in ethology, chapter 8 // L. Drickamer, D. Dewsbury, eds. *Leaders in Animal Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

13

Из книги: *Randigal Rhymes,* ed. Joseph Thomas. Penzance: F. Rodda, 1895.

14

Слово bully на корнуолльском диалекте означает гальку, но бабушка говорила, что имеется в виду сливовая косточка, – и это логичнее.

15

Местная поговорка.

16

Я проконсультировался по этому поводу с профессором Бьёрном Меландером, специалистом по скандинавским языкам, и он согласился с моей теорией “оскорбления или лести”, но добавил, что ситуация неизбежно осложняется особенностями контекста.

17

Престижная лондонская школа, где учились многие знаменитости.

Sparrowhawk (*англ.*) – ястреб-перепелятник.

19

Термином “аскари” назывались рядовые африканцы, служившие в Королевских африканских стрелках.

20

“Счастливая долина” (*Happy Valley*) – поселение британских аристократов в Кении, в окрестностях города Ньери, скандально известное декадентским образом жизни поселенцев.

сына миссис Уолтер

традиционных круглых строений

23

Одно из значений слова *trim* (*англ.*) – “подрезка”.

24

“Дандридж” (*dundridge*) – слово, которое мы с женой используем между собой для обозначения бессердечных бюрократов, любителей строгих правил. Оно заимствовано из сатирического романа Тома Шарпа, где фамилию Дандридж носит типичный представитель данной породы. Это слово так подходяще звучит! Для включения нового слова в “Оксфордский словарь английского языка” требуется, чтобы его достаточно часто употребляли в письменной речи, не разъясняя его значения и не ссылаясь на первоисточник. У меня уже есть опыт успешного внедрения в язык нового слова, и я рад, что мой предыдущий неологизм “мем” (meme) стал удовлетворять этим критериям и прочно занял место в словарях среди других слов на букву М. Пожалуйста, используйте слово “дандридж”, чтобы оно тоже вошло в оборот.

У нас такие самолеты называют кукурузниками. – *Прим. ред.*

26

“В тот день, когда хлынул дождь” (*The Day That the Rains Came*) – песня Жильбера Беко, ставшая хитом в исполнении Джейн Морган (1958).

27

темнота под диваном

28

Англо-индийское словечко *garrimotor*, по-видимому, вошло в речь нашей семьи через дедушек и прадедушек, работавших в колониях, хотя не исключено, что оно просто распространилось из Индии по всей империи.

29

Стихотворение Эзры Паунда “Старинная музыка” (*Ancient Music*), пародия на старинную английскую песню “Лето пришло” (*Summer Is Icumen In*), содержит рефрен: “Пойте: «Черт возьми!»”

30

Прозвище одного из студентов Тринити-колледжа.

31

Роберт Джонсон, выпускник Нового колледжа Оксфордского университета, впоследствии много лет возглавлявший Королевский монетный двор.

32

В романе Марселя Пруста “По направлению к Свану” (1913) есть фрагмент, посвященный воздействию печений “Мадлен” (мадленок) на воспоминания главного героя. – *Прим. ред.*

понятия не имею, что это означало

34

Из поэмы Томаса Стернза Элиота “Бесплодная земля” (*The Waste Land,* 1922), перевод Я. Пробштейна.

35

“Коричневый кувшинчик” (*Little Brown Jug*) – песня американского композитора Джозефа Уиннера (1869).

в Южной Танганьике

мой дедушка: так сокращали его имя Клинтон

38

Our God, Our Help in Ages Past – гимн начала XVIII века на стихи Исаака Уоттса.

39

Fight the Good Fight with All Thy Might – церковный гимн на стихи ирландского поэта XIX века Джона Монселла, исполняется на несколько разных мотивов.

40

Уильям Тиндейл (около 1494–1536) – переводчик Библии на английский (“Библия Тиндейла”). Томас Кранмер (1489–1556) – архиепископ Кентерберийский, автор предисловия к другому известному переводу Библии на английский (“Большая Библия”, также известная как “Библия Кранмера”, хотя он и не участвовал в работе над переводом), отчасти основанному на переводе Тиндейла. “Большая Библия” была первым официальным изданием Библии на английском языке.

41

Специесизмом (*англ. speciesism*) или видовым шовинизмом называют, по аналогии с расизмом и шовинизмом соответственно, представление о превосходстве одного вида (прежде всего, человека разумного) над другими.

Роман Уильяма Голдинга (1954). – *Прим. ред.*

43

Camptown Races – американская песня середины XIX века, написанная для менестрель-шоу (народного театра, в котором белые актеры изображали чернокожих).

44

В американском английском, в отличие от британского, есть тенденция озвучивать букву R после гласных, где британцы ее обычно не произносят. Слово *birds* звучит примерно как “бёрррдз”.

45

Аналог казаков-разбойников.

То есть слишком короткие.

Harp (*англ.*) – “арфа”.

Sweet Lass of Richmond Hills – английская баллада конца XVIII века. *New Every Morning Is the Love* – английский церковный гимн начала XIX века.

49

Перевод В. Лунина.

50

Во время Английской революции XVII века “круглоголовыми” (*Rounheads*) прозвали сторонников парламента, а “кавалерами” (*Cavaliers*) – роялистов. На сленге же “круглоголовыми” называют мужчин, подвергшихся обрезанию, а “кавалерами” – не подвергшихся.

51

Мистер Чипс – герой романа Джеймса Хилтона “До свиданья, мистер Чипс” (1934).

Steven Pinker. *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined.* New York: Viking, 2011.

“Краткость всей жизни…” (*лат.*).

Pretty sure (“почти уверен”) звучит очень похоже на *pretty Shaw* (“красотка Шоу”)

55

Речь идет об игре в крикет.

56

Ивовый узор – созданный в конце XVIII века популярный узор английских фарфоровых тарелок, имитирующий узоры китайского фарфора.

57

Слово *blue* (“синий, голубой”) означает по-английски не только цвет, но и грустное настроение.

58

Камера пыток в романе Джорджа Оруэлла “1984” (1949)

59

Уильям Вордсворт. “Займется сердце, чуть замечу…” (пер. А. Ларина).

Derek Parfit. *Reasons and Persons*. Oxford: Oxford University Press, 1984.

61

Цитата из стихотворения Роберта Браунинга “Андреа дель Сарто”.

62

Переиначенная английская поговорка “как пес с двумя хвостами” (*like a dog with two tails*), означающая “вне себя от радости”.

63

Здесь непереводимая игра слов. Дело в том, что в английском языке выражение “*To put somebody/somebody's name down* (*for something*)*”* можно прочитать и как “Записать кого-то куда-то”, и как “Усыпить кого-то”. То есть фразу перед ремаркой в скобках можно без контекста понять, как “Надо было усыпить меня сразу после рождения”.

64

Устойчивое словосочетание (*gentleman farmer*), означающее в английском языке состоятельного человека, который может себе позволить заниматься сельским хозяйством ради собственного удовольствия

65

Устойчивое словосочетание (*gentleman farmer*), означающее в английском языке состоятельного человека, который может себе позволить заниматься сельским хозяйством ради собственного удовольствия

66

“Да хранит вас Бог до новых встреч…” (*God Be with You Till We Meet Again*) – американский церковный гимн конца XIX века.

67

“Держите форт” (*Hold the Fort*) – американский церковный гимн второй половины XIX века, воспевающий одно из сражений Гражданской войны в США.

68

Аллюзии на Исход 2:12 и на песню “Рай и пери” (в пер. В. Жуковского – “Пери и ангел”) из повести Томаса Мура “Лалла-Рук” соответственно.

69

Предназначенное для общественных мероприятий отдельно стоящее здание на территории школы Аундл.

Пер. Б. Пастернака.

71

Цитата из английского гимна “Благодарные, придем…” (*Come, Ye Thankful People, Come*) середины XIX века.

Пер. А. Шараповой.

“Ода к осени”, пер. Б. Пастернака.

74

“Называть лопату лопатой” (*call a spade a spade*) – английская поговорка, означающая “называть вещи своими именами”.

75

Псевдоним журналиста Уильяма Коннора (1909–1967).

76

Прозвища вражеских пропагандистов, которые вели из Германии и Японии передачи на английском языке.

77

“Наука – это поэзия реальности” – слова Докинза из снятого в 2007 году при его участии двухсерийного документального фильма “Враги разума”.

78

Отрывки из английских рождественских песенок “В царском городе Давида…” (*Once in Royal David's City*) и “Падуб и плющ…” (*The Holly and the Ivy*).

79

“Как-то, сидя за органом…” – начало песни Артура Салливана “Потерянный аккорд” (*The Lost Chord*).

80

“Книга общих молитв 1662 года” (*The Book of Common Prayer*) – основная богослужебная книга в Англиканской церкви вплоть до настоящего времени.

81

“Путешествие Пилигрима в Небесную Страну” (*The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come*, 1678–1688) – произведение английского писателя и проповедника Джона Баньяна.

Chiang Yee. *The Silent Traveller in Oxford.* London: Methuen, 1944.

83

“Эволюция в консультациях по биологии?” // David Palfreyman, ed. *The Oxford Tutorial: “Thanks, you taught me how to think”*. Oxford Centre for Higher Education Policy Studies, 2001; 2nd edn 2008. При первой публикации (*The Oxford Magazine*, No. 112, Eighth Week, Michaelmas Term 1994) этот очерк получил “нарочно некрасивое” название “Основанное на консультациях наставников”. Это была аллюзия на “преподавание, основанное на лекциях”, которое я критиковал.

84

“Слава… победа… история… и… стиль… моей тетушки”

Hans Kruuk. *Niko's Nature: The Life of Niko Tinbergen and his Science of Animal Behaviour.* Oxford: Oxford University Press, 2003.

Robert Mash. *How to Keep Dinosaurs.* London: Orion, 2005.

87

Акт IV, сцена 1; пер. М. Кузмина.

Niko Tinbergen. *The Study of Instinct.* Oxford: Clarendon Press, 1951.

а Лерман и правда был человеком внушительных размеров

R. Dawkins. The ontogeny of a pecking preference in domestic chicks // *Zeitschnft für Tierpsychologie*, 25 (1968), 170–186.

91

Докторская степень в Великобритании, США и многих других странах приблизительно соответствует кандидатской степени в СССР и современной России.

Peter Medawar. *The Art of the Soluble: Creativity and Originality in Science.* London: Methuen, 1967; *Pluto's Republic: Incorporating The Art of the Soluble and Induction and Intuition in Scientific Thought.* Oxford: Oxford University Press, 1982.

R. Dawkins. A threshold model of choice behaviour // *Animal Behaviour,* 17 (1969), 120–133.

R. Dawkins and M. Impekoven. The peck/no-peck decision-maker in the black-headed gull chick // *Animal Behaviour,* 17 (1969), pp. 243–251

R. Dawkins. The attention threshold model // *Animal Behaviour,* 17 (1969), pp. 134–141.

96

Хит Робинсон (1872–1944) и Руб Голдберг (1883–1970) – английский и американский карикатуристы, прославившиеся изображением замысловатых механизмов.

97

Лучшее объяснение привел мой оксфордский коллега и бывший аспирант профессор Алан Грейфен: A. Grafen. A geometric view of relatedness // R. Dawkins, M. Ridley, eds. *Oxford Surveys in Evolutionary Biology,* vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1985, pp. 28–89.

98

Уильям Вордсворт. *Прелюдия*, книга 10, строки 108–109.

99

Британский лектор (*lecturer*) соответствует чему-то среднему между американским старшим преподавателем (*assistant professor*) и адъюнкт-профессором (*associate professor*). – *Прим. авт.* (Близкие по рангу российские должности – старший преподаватель и доцент.

100

2/6 означает 2 шиллинга 6 пенсов (до 15 февраля 1971 г. фунт стерлингов был равен 20 шиллингам, а шиллинг – 12 пенсам).

101

R. Dawkins. A cheap method of recording behavioural events for direct computer access // *Behaviour,* 40 (1971), pp. 162–173.

R. Dawkins. Selective neurone death as a possible memory mechanism // *Nature,* 229 (1971), pp. 118–119.

103

Апоптозом называют запрограммированную гибель клеток.

R. Dawkins, M. Dawkins / Decisions and the uncertainty of behaviour // *Behaviour,* 45 (1973), pp. 83–103.

105

С помощью особого танца рабочая пчела, вернувшаяся в гнездо, сообщает другим рабочим пчелам, в каком направлении и на каком расстоянии от гнезда расположен обнаруженный ею источник пищи.

не предложение

107

незавершенное предложение

незавершенное предложение

109

незавершенное предложение

вот теперь мы получили завершенное предложение

111

Tempus (*лат.*) – “время”, ὡρα (*греч.*) – “час”

R. Dawkins. Hierarchical organization: a candidate principle for ethology // P. P. G. Bateson, R. A. Hinde, eds. *Growing Points in Ethology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, pp. 7–54.

113

Слова тети Джобиски из стихотворения Эдварда Лира “Поббл, у которого нет на ногах пальцев” (в переводе С. Маршака эти слова выпали).

“Охота на Снарка” (пер. Г. Кружкова).

115

Konrad Lorenz. *On Aggression,* translated by Marjorie Latzke. London: Methuen, 1964; впервые эта книга была опубликована в 1963 году на немецком под названием *Das sogenannte Böse* (“Так называемое зло”). Robert Ardrey. *The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations.* London: Collins, 1967; Robert Ardrey. *The Social Contract: A Personal Inquiry into the Evolutionary Sources or Order and Disorder.* London: Collins, 1970.

George C. Williams. *Adaptation and Natural Selection.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966.

117

В русскоязычной литературе неодарвинизм часто называют “синтетической теорией эволюции”, хотя в англоязычной литературе принят термин “современный синтез” (Modern Synthesis), введенный Джулианом Хаксли.

Daniel C. Dennett. *Intuition Pumps and Other Tools for Thinking* (New York: Norton, 2013).

119

Книга была опубликована издательством “Пингвин” (Penguin).

120

John Maynard Smith. *The Theory of Evolution.* Cambridge: Cambridge University Press, 1993; первое издание – London: Penguin, 1958.

121

тот же, такой же, одинаковый

122

Я подозреваю, что именно от него пошел широко известный анекдот якобы из жизни кинозвезды Дианы Дорс. Она выросла в том же городке в Уилтшире, что и Десмонд, и дружила с ним с детства. Ее настоящая фамилия была не Дорс, а Флак. Рассказывают, что однажды ее пригласили на открытие какого-то праздника в родном городе и приходской священник, который хотел представить ее под именем, известным местным жителям, в простоте душевной попросил их поприветствовать очаровательную “Диану… Клант”. – *Прим. авт.* (Фамилия Fluck, если произнести ее без второй буквы, превращается в крайне неприличное слово, а слово Clunt получается, если добавить ту же букву на второе место в другом слове, тоже крайне неприличном. – *Прим. перев.*)

123

Докинз назвал “теоремой Би-би-си” наивную концепцию устройства живой природы, сторонниками которой выступают авторы многих научно-популярных передач Би-би-си. См. Докинз Р. *Расширенный фенотип.* М.: Астрель: CORPUS, 2011. 512 с.

тот же, такой же, одинаковый

125

Здесь и далее пер. С. Л. Соболя под ред. акад. В. Н. Сукачёва.